

КОПОСОВ Н. Е.
КАК ДУМАЮТ ИСТОРИКИ. – М.: НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ, 2001. – 326 С.

В книге содержится анализ конфликта и взаимодействия лингвистических дескриптивных механизмов и внелингвистического пространственного воображения в мышлении современных историков. Прослеживается связь между формами пространственного воображения и эволюцией проекта «глобальной истории» в историографии XIX–XX вв. Исследуется формирование и развитие понятия «социальное» в европейской мысли XVII–XX вв. и его влияние на свойственные социальным наукам фигуры мысли. Книга адресована научным работникам, преподавателям и студентам исторических, философских, психологических, социологических и филологических специальностей, а также всем интересующимся историей и внутренними противоречиями современной мысли.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие	1
Введение	4
Глава 1. Герменевтика и классификация	30
Глава 2 Семантика социальных категорий.	55
Глава 3. Рождение общества из логики пространства	83
Глава 4. Невроз рубрикации	103
Глава 5. Три критики исторического разума	140
1. Критическая философия истории	143
2. Школа «Анналов»	175
3. Лингвистический поворот	187
Вместо заключения. От культуры к субъекту	194

Предисловие

Для начала расскажем историю.

Однажды, знакомясь с коллегой-антропологом, автор этих строк спросил его, о чем он сейчас пишет. «О себе, мой дорогой, – был ответ. – Я всегда пишу только о себе. Ничего больше меня не интересует». На самом деле он пишет о румынских крестьянах, о наркоманах, о культуре ритуала. Что ж тут такого? Мы все пишем о других. Но другим мы приписываем собственные поступки и состояния души – пусть вымышленные. И разве бывают исключения из правила, согласно которому личность автора выступает обобщенным смыслом его произведения? Верно, впрочем, и обратное: *Nos opera sumus*¹.

Когда историк пишет о том, как думают историки, он неизбежно описывает собственную мысль. Эта книга, посвященная французской социальной истории 1960-х гг., была бы невозможна, не имея автор аналогичного интеллектуального опыта: его работа «Высшая бюрократия во Франции XVII века», опубликованная в 1990 г., оставалась в круге тех проблем,

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 5.

которые занимали французских коллег двумя десятилетиями ранее. **Собственный опыт несвободы мысли, и, прежде всего – её пространственных принуждений**, автор «вчитывает» теперь в их исследования. Нуждается ли это в оправданиях? Едва ли¹.

Наш приятный долг – выразить признательность коллегам и учреждениям, чья поддержка позволила написать эту книгу. Её центральные главы восходят к **семинару «Пространственное воображение и социальная история»**, который автор вёл в Высшей школе социальных исследований в Париже в 1993–1995 гг. Администрации школы, её Центру исторических исследований и участникам семинара адресована наша искренняя благодарность. Автор признателен Дому наук о человеке и Морису Эмару за неизменную поддержку и полезную критику его проектов. Благодаря Рею Палу, Кентерберийскому университету и его библиотеке автор получил представление о работе социолога, равно как и возможность, читая порой наугад (это, вероятно, лучший способ чтения, но только в систематически подобранной библиотеке), обнаружить в трудах социологов, психологов и лингвистов до странности созвучные историку размышления. Благодаря Герхарду Оксле и сотрудникам Института истории Общества Макса Планка в Геттингене автор смог лучше представить себе критическую философию истории. Оптимальные условия работы, предоставляемые Будапештским Коллегиумом, позволили в основном завершить работу над текстом книги. Сотрудничество с Бард Колледжем (штат Нью-Йорк) и знакомство с принципами либерального образования стали для нас источником оптимизма, особенно важного, если учесть скептические импликации нашей работы. Автор благодарен также руководству филологического факультета Петербургского университета, с редким долготерпением сносившему его многочисленные разъезды. Без многолетней дружеской поддержки Сергея Богданова и Валерия Монахова у нас не было бы возможности работать над этой книгой.

Сам профессиональный историк (плохой или хороший – не ему судить), автор не без труда превратил историков в предмет своих исследований. Этому способствовало как интеллектуальное раскрепощение, пережитое нашим поколением на грани 1980–1990-х гг., так и доброжелательная поддержка коллег. Предать бумаге размышления о ментальности историков автор сначала решился по просьбе Герхарда Ярица. Марк Ферро и Робер Десимон, одоблив первые опыты автора на эту тему, заставили его поверить в свои силы – возможно, преждевременно. Книгу, её отдельные главы и предварительные наброски к ней в разные годы читали Франсуа Артог, Люк Болтански, Эрик Бриан, Ален Буро, Люсет Валенси, Ален Гери, Жан-Ив Гренье, Ален Дерозьер,

¹ Впрочем, вот одно из возможных оправданий: «Какая разница? Ведь если главная цель антропологии – способствовать лучшему пониманию объективированной мысли и её механизмов, то в конечном итоге неважно, принимает ли мысль южноамериканских аборигенов свою форму под воздействием моей мысли или моя – под воздействием их. Важно то, что человеческий дух, безразличный к идентичности своих случайных проявлений, демонстрирует в них свою все более внятную нам структуру» Парадоксально, но за две страницы до той, откуда заимствована эта цитата, Леви-Строс охотно принимает на свой счёт формулу Поля Рикера – «кантианство без трансцендентального субъекта». Но парадоксально это только на первый взгляд: слишком многие мыслители последнего столетия, заявляя о приверженности к критической философии, немедленно затем воспроизводили свойственные гегельянству фигуры мысли. Почему – одна из главных тем этой книги.

Кристиан Жуо, Клаудио Ингерфлом, Клод Карну, Тамара Кондратьева, Бернар Конен, Дени Крузе, Бернар Лепти, Борис Марков, Пьер Нора, Жак Рансьер, Моник де Сен-Мартен, Моник Слэдэян, Лоран Тевено, Симона Черутти, Роже Шартье, Мари-Карин Шоб, Габриель Шпигель, Павел Уваров и Натали Эник. Автор признателен им за ценные советы и конструктивную критику. Помощь Сьюзан Гиллеспи позволила существенно улучшить английское резюме книги. Индекс имен составлен Алексеем Рыковым.

Более всего автор благодарен Дине Хапаевой, чья помощь была *conditio sine qua non* этой книги. Книга посвящена памяти Юрия Львовича Бессмертного – исследователя, в котором педантичность профессионала почти неправдоподобно сочеталась с интеллектуальной открытостью, позволившей ему – одному из немногих в том блестящем поколении, к которому он принадлежал – отозваться на интеллектуальные перемены 1990-х и отправиться вместе с младшими коллегами на поиск новых путей в исторической науке. И хотя автор не полностью разделяет веру в существование таких путей, исследования Ю. Л. Бессмертного, его неизменно доброжелательная и деятельная поддержка сделали возможным – среди многих других – и наше исследование¹.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 7.

Введение

«История пишется по источникам»¹ – это, конечно, гораздо больше, чем банальная констатация. Это, как сказал бы Ницше, – «задушевное *ceterum senso*»² профессиональных историков, их формула совершенства, идеальный образ себя.

История пишется историками – таков исходный пункт нижеследующих размышлений. Историк же не есть вместилище абсолютного разума, и он не настолько возвышен над человеческим несовершенством, чтобы судить о пребывающем во времени с точки зрения вечности. Он – такое же «существо из плоти и костей»³, как и те, кто действует в истории. И он тоже погружен в поток времени. Его образ мира основан на опыте собственного тела и формах перцепции, на осознании самого себя как протяженности во времени, как жизни, на со-бытии в мире с другими людьми, на структурах языка, которые он принимает за формы бытия. В жизненном мире укоренены базовые уверенности его разума, из которых через множество опосредований развиваются сложные формы интеллектуальной деятельности. Понять, как думают историки, значит изучить эту систему опосредований и установить связь между формами и уверенностями разума, с одной стороны, и конкретными историческими построениями, с другой.

Подобно миру, история существует лишь в нашем воображении. Это не значит, что ничего из того, о чем рассказывают историки, не происходило в действительности. Это значит, что происходившее в действительности становится историей лишь в той мере, в какой попадает в область разума и преобразуется в ней. Разум определённым образом полагает эмпирическую действительность, превращая её в свое собственное произведение – в историю.

Теорию, согласно которой объекты научного познания являются конструктами сознания исследователей, мы будем называть **конструктивизмом**⁴. Эта теория восходит к Канту. На грани XIX и XX вв. такие разные мыслители, как Дильтей, Вебер, Зиммель, Дюркгейм и Кроне использовали её для эпистемологического обоснования наук о человеке. С тех пор любой мало-мальски образованный историк знает, что «чистых» фактов не существует и что изображать прошлое таким, «каким оно было на самом деле», – не более чем иллюзия «наивного реализма»⁵. «Исторические факты, как и

¹ Seignobos Ch. Introduction aux études historiques. Paris: Hachette, 1897. P. 1.

² Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 159.

³ Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1973. С. 83.

⁴ Конструктивистская гипотеза имеет несколько вариантов (см. гл. 5). В частности, конструирование истории историком иногда понимается как контролируемый разумом процесс выдвижения и верификации. Мы понимаем конструктивизм в прямо противоположном смысле – как бессознательное проецирование на историю структур разума. Термин «конструктивизм» применительно к истории введён в употребление Дж. Мейландом.

⁵ «Изгоним наивный реализм в стиле Ранке», – призывал Люсьен Февр (Febvre L. Combats pour l'histoire. P. 58). Его призыв был многократно повторен и – по крайней мере, на уровне риторики – усвоен большинством исторической профессии. «Сегодня трудно найти открытых сторонников наивного реализма в практике историков», – пишет один из лидеров лингвистического поворота в историографии Х. Кельнер Со своей

факты физические, мы воспринимаем сквозь призму форм нашего разума»¹, – писал Люсьен Февр, сыгравший важную роль в аккультурации конструктивистской гипотезы в историографии. Именно с творческим использованием этой гипотезы порой связывают осуществленную школой «Анналов» эпистемологическую революцию, а это значит – и наиболее впечатляющие достижения исторической науки истекшего столетия².

Но что мы знаем о формах разума, сквозь призму которых рассматриваем историю? До странности мало, особенно если учесть, что программа критики исторического разума была впервые сформулирована сто с лишним лет назад. Среди «основоположников» более других размышляли об этом неокантианцы Юго-Западной немецкой школы. Но и они сказали здесь удивительно мало конкретного. Их главная мысль заключалась в том, что в отличие от генерализирующих понятий наук о природе исторические понятия носят индивидуализирующий характер. Однако вопрос о логической структуре индивидуализирующих понятий остался до такой степени не проработанным, что оппоненты сохранили полную возможность утверждать, будто таких понятий вовсе не существует. В итоге теорию индивидуализирующих понятий преследует обвинение в том, что она основана на абсурдном противоречии в определении³. Позднее историки школы «Анналов» (и, прежде всего – Люсьен Февр) сделали немало проницательных наблюдений о том, как происходит конструирование объектов исторического исследования, но так и не перешли, хотя такие призывы раздавались, к систематическому исследованию **«функционирования ментальностей уже не в обществах, но в самих социальных науках»**⁴.

Лишь начиная с 1970-х гг. под влиянием лингвистического поворота в социальных науках появились специальные исследования языковых механизмов, оказывающих воздействие на то, как историки пишут историю. Лингвистический поворот исходит из убеждения, что, **поскольку мир дан нам**

стороны, признанный классик современной историографии Лоренс Стоун утверждает, что историки его поколения никогда не были «позитивистскими троплодитами», какими их изображают, поскольку осознали неизбежную субъективность исследователя. Однако релятивистский флер, ставший сегодня элементарным требованием хорошего тона, вполне уживается с традиционной объективистской установкой, облагораживая, но по сути почти не изменяя ее. Поэтому не лишена оснований ироническая ремарка Жерара Нуарьеля по поводу такой конструктивистской риторики: «Можно, конечно, называть конструированием простую обработку исторических документов» (Noiriel G. Pour une approche subjectiviste du social // Annales: Economies, Societes, Civilisations. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1441). Отметим, что связывать идеал «объективистской» истории с именем Ранке не совсем точно. Об этом подробнее см. гл. 5, прим. 16.

¹ Febvre L. Combats pour l'histoire. P. 58.

² «В основе этого обращения истории к научному методу (речь, естественно, идет о создании школы «Анналов». – Н. К.) лежала идея о том, что историческое знание происходит не из прошлого, но из самого исследователя», – писал А. Бюргер. По словам А. Я. Гуревича, «наиболее смелые и продуктивные прорывы к углубленной исторической эпистемологии были совершены на базе неокантианства» (Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М.: Индрик, 1993. С. 15).

³ Подчеркивая, что «понятия по природе своей всеобщие», Николай Гартман утверждал, что критические философы истории не сумели разработать «позитивную аналитику» и показать «структуру принципов» исторического разума, без которых, как они сами полагали, невозможно историческое познание (Гартман Н. Проблема духовного бытия: Исследования к обоснованию философии истории и наук о духе // Культурология. XX век: Антология. М.: Юристь, 1995. С. 632–634). Со своей стороны, М. де Серто писал в этой связи: «Мыслимо только всеобщее» (Certeau M. de. L'operation historique // Faire de l'histoire / Pub. par J. Le Goff, P. Nora. Vol. 1. Paris: Gallimard, 1974. P. 32).

⁴ Duby G. Le mental et le fonctionnement des sciences humaines // L'Arc. 1990. № 72. P. 92.

только в языке и благодаря языку, наши репрезентации, несмотря на их кажущуюся порой объективность, не репрезентируют ничего, кроме породивших их языковых механизмов¹. Исследованию подверглись весьма разнообразные языковые механизмы – от глубинных тропологических структур исторического дискурса до «регулятивных метафор среднего уровня» и более или менее поверхностных стилистических эффектов. Но главной темой лингвистического поворота стала унаследованная от аналитической философии истории проблема исторического повествования. Именно в качестве повествования история была теперь противопоставлена «законополагающим» наукам. Преемственность с критической философией истории налицо – речь в обоих случаях идет о поиске особого принципа интеллигибельности истории, отличающего её от естественных наук. **Проблема исторического повествования пришла на смену проблеме индивидуализирующих понятий.**

Законченное развитие теория исторического повествования получила в трудах Поля Рикёра. Согласно точке зрения Рикёра, историческое познание возможно лишь постольку, поскольку оно основывается на «нарративном понимании», т. е. на особой когнитивной способности воспринимать серию эпизодов как интригу (каковую операцию Рикёр называет *mise-en-intrigue*). Эта способность, по Рикёру, позволяет поэтически переформулировать – и тем самым преодолевать – апорию прерывности-непрерывности, основополагающую для человеческого опыта времени².

Благодаря лингвистическому повороту был осуществлен переход от теоретического обоснования активной роли познающего субъекта к эмпирическому исследованию исторического разума. Однако как концепция сознания, лежащая в основе лингвистического поворота, так и порожденная ею теория нарративного понимания представляются нам весьма односторонними. Дело даже не столько в том, что история является не просто повествованием, но повествованием, претендующим на истинность³. Дело, прежде всего в том, что история является далеко не только повествованием, так что нарративные механизмы отнюдь не исчерпывают всей совокупности механизмов сознания, оказывающих влияние на конструирование истории. Более того, в самом предположении, что у разума имеется особый «исторический орган», особая способность помыслить историю, обуславливающая интеллектуальную возможность последней, заключено, как нам кажется, изначальное недоразумение. Между тем, именно такое предположение подлежит спорам об истории в философии XX в.

Гипотеза «исторического органа» имеет давнюю традицию. Ещё на заре современной науки Френсис Бэкон, продолжая старую аристотелевскую тему,

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 11.

² Ricoeur P. Temps et récit. Vol. 1-3. Paris: Seuil, 1983-1985. Idem. La memoirs, l'histoire, l'oubli. Paris: Seuil, 2000. Привлекательность предложенного Рикёром подхода состоит, прежде всего, в том, что он устанавливает связь между историей как дискурсивной формой и проявляющимся в ней внутренним опытом. Установление подобных связей – один из путей преодоления «изнутри» ограниченности лингвистического поворота. Однако, как мы увидим, Рикёр в этом недостаточно последователен.

³ По поводу этих претензий можно возразить, что лежащий в их основе «эффект реальности» есть не более чем лингвистический эффект. С этого предположения, собственно, и начался лингвистический поворот в историографии

различал историю как дело памяти, философию как дело разума и поэзию как дело воображения¹. Воспроизведённая в «Энциклопедии», эта классификация получила самое широкое распространение². В сущности, и теория индивидуализирующего метода, и теория нарративного понимания апеллируют к той же логической модели. В основе этой модели лежит допущение, что у истории есть сущность³.

Задумаемся, однако, что означает и к чему обязывает подобное допущение. По-видимому, предположить, что у истории есть сущность, означает постулировать наличие основополагающей «историографической операции» (подобной *mise-en-intrigue* у Поля Рикёра), из которой с логической необходимостью вытекают все основные умственные операции, совершаемые историками (если, конечно, исключить предположение, что историки без конца повторяют одну и ту же умственную операцию). В самом деле, если умственная работа историка состоит в основном из операций, случайных по отношению к базовой «историографической операции», то в чем тогда заключается базовый характер последней? Говоря о сущности, мы приписываем явлению определенное внутреннее единство. Станем ли мы утверждать, что интеллектуальная практика истории обладает таким единством? Такое допущение отнюдь не самоочевидно.

Далее, что означает усмотреть в основополагающей «историографической операции» проявление особой способности разума? Это означает постулировать взаимнооднозначное соответствие между академическими дисциплинами и способностями разума (или областями внутреннего опыта). Ведь если история возможна постольку, поскольку опирается на особую способность разума, то непонятно, как другие дисциплины могут существовать, опираясь на что-либо другое. Иначе говоря, наделяя разум исторической способностью, мы должны наделить его социологической, антропологической, географической и другими подобными способностями, которые, вероятно, также проявляются в основополагающих операциях соответствующих наук. Словом, сколько академических дисциплин – столько и способностей разума. Следует ли думать, что у разума не было этих способностей, пока не было академических дисциплин? Если да, то вправе ли мы вообще говорить об основополагающих умственных операциях отдельных наук? Что ещё, кроме способностей разума, могло породить эти операции? Если нет, то мы должны допустить, что эти способности таились в разуме и лишь постепенно развились до масштабов настоящих наук. Но тогда история науки предстанет как внутренне необходимое развертывание некоторой субстанции, как манифестация Логоса, а сознание учёного – как крупница божественного разума. И, чтобы этот разум не показался странно неадекватным

¹ Ф. Бэкон писал: «Наиболее правильным разделением человеческого знания является то, которое исходит из трех способностей разумной души, сосредоточивающей в себе знание. История соответствует памяти, поэзия – воображению, философия – рассудку» (Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1977. С. 148-149).

² Flint R. *Philosophy as Scientia Scientiarum and A History of Classifications of the Sciences*. New York: Arno Press, 1975. P. 142.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 12.

перед лицом хаоса непосредственно данного, будет лучше сделать ещё одно допущение – о структурном соответствии, о предустановленной гармонии мира и сознания¹.

Допущение, что у разума есть «исторический орган», равнозначно допущению, что мир есть иерархия идеальных сущностей. Если мы не склонны принимать эту онтологию, мы не можем позволить себе рассуждать о базовой историографической операции, несмотря на то, что думать в терминах сущностей – умственный обычай, сформировавший нашу интеллектуальную традицию и, следовательно, представляющийся нам «естественным» и «правильным». Мы до сих пор живем в мире, который не так уж не похож на космос древних греков. Однако открыто апеллировать к такому образу мира мы сегодня вряд ли решимся. Аристотелевский космос по-прежнему способен подсказывать нам логические интуиции, но едва ли способен легитимизировать их.

Сегодня, чтобы показаться убедительным, приходится апеллировать к иной онтологии, не к космосу, возникшему из последовательного развертывания разумной субстанции, но к хаосу, из которого в результате не вполне понятного саморазвития и случайного взаимодействия разнородных логик возникают локальные, незавершённые, частично открытые и причудливо пересекающиеся зоны упорядоченности, находящиеся в состоянии сложного динамического равновесия. Вероятно, эта онтология ничуть не лучше предыдущей, но именно такова картина мира современной науки. Не будучи в состоянии уничтожить в нашем сознании образ аристотелевского космоса, она зато не только подсказывает нам логические интуиции, но и обладает монополией на их легитимизацию².

Именно на этих метафизических допущениях основывается **представление о науке как о культурной практике**, которое пришло на смену пониманию её как манифестации абсолютного разума³.

«История – это то, чем занимаются историки». В этой афористичной формуле А. Про точно выразил смысл представления об истории как о культурной практике⁴. Но если мы считаем историю, как и любую другую дисциплину, исторически сложившимся комплексом правил поведения, естественно предположить, что в число интеллектуальных задач, которые ставят перед собой историки, вошли задачи самых различных типов, порождённые разными социокультурными контекстами, интеллектуальными традициями, условиями профессиональной деятельности и т. д., и что для решения этих задач исследователи мобилизуют различные ресурсы сознания.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 13.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 14.

³ Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press, 1970; Foucault M. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966; Idem. L'archéologie du savoir. Paris: Gallimard.

⁴ Prost A. Douze leçons sur l'histoire. Paris: Seuil, 1996. P. 13. **Пионером рассмотрения историографии как культурной практики был М. де Серто** (Certeau M.de. L'Operation historique) но ещё до него принципиально важные соображения на этот счёт были высказаны М. Оукшотом, рассматривавшим историю как конструкт сознания историка, создаваемый им в соответствии с исторически сложившимся комплексом правил: «И хотя мы можем надеяться обнаружить специфические признаки практики историка, мы не станем искать её необходимые и достаточные условия. Практика такова, какой она сложилось»

Уместенная работа историка предстает как разнообразие интеллектуальных процедур, а результат этой работы – история – как гетерогенный ансамбль, включающий неразрывно связанные между собой элементы разного происхождения и, возможно, разного эпистемологического статуса.

Однако университетская метафора разума, в рамках которой единственно и уместен вопрос об интеллектуальной сущности истории, отсылает не только к образу аристотелевского космоса. Другая предпосылка этой метафоры состоит в том, что мир идеальных объектов мы, подобно древним, представляем по образу мира земного, проецируя на него структуру материальных вещей и социальных форм. Предполагая, что разум устроен по образу Университета, мы повторяем ход мысли первобытных людей, в воображении которых вселенная воспроизводила структуры родоплеменной организации¹. На грани XIX–XX вв. осознание социальной укоренённости интеллектуальных форм стало важнейшей предпосылкой возникновения социальных наук. Однако это осознание имело и побочный эффект – возможность распространения подобной логики на социальные науки. С тех пор если и встает вопрос о мышлении самих исследователей, то рассматривается оно исключительно как явление культурного порядка. Так понимали ситуацию все герменевтически ориентированные теории исторического познания².

На этом фоне кажется вполне естественной устойчивая зависимость современных интерпретаций истории от университетской метафоры разума, опирающейся на представление о статусе мышления как социального явления или, в иной терминологии, как явления культуры. Теория разума-культуры восходит к той же неокантианской традиции, от которой философия XX в. унаследовала проблему интеллектуальной самобытности истории. Именно неокантианцы трансформировали идею трансцендентального эго – предшествующую формулу объективного разума – в идею культуры, предложив средний путь между скомпрометированной метафизикой и натурализацией духа и тем самым, устранив (как они считали) угрозу релятивизма, «анархии ценностей». В эпоху порождённого «сумерками богов» культурного пессимизма новое обоснование объективности разума имело импликации, далеко выходящие за рамки теории познания. С точки зрения некоторых исследователей, речь шла об эпистемологической легитимизации проекта демократического общества, осуществление которого стало главным делом XX в.³ Но с момента, когда духу было присвоено имя культуры, а

¹ Durkheim E., Mauss M. De quelques formes primitives de classification // L'Année Sociologique. Vol. 6.1901-1902. Paris, 1903. P. 1-72.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 15.

³ Напротив, К. Х. Конке подчеркивал, что подобная характеристика находится в русле мифологии, созданной неокантианцами о самих себе, и обращал внимание на «антидемократические, антисоциалистические и глубоко монархические» настроения (в особенности баденских) неокантианцев. Точка зрения Конке, в свою очередь, следует мифологии, созданной о неокантианстве его противниками, и заставляет вспомнить Г. Лукача, подчеркивавшего вклад неокантианцев в грехопадение немецкой мысли «от Шеллинга до Гитлера» среди героев книги Лукача – Дильтей, Зиммель, Риккерт, Вебер). Отметим, что такие расхождения в оценках отчасти связаны с традицией споров о неокантианстве, а отчасти – с гетерогенностью самого движения. Уилли в своей характеристике неокантианства как провозвестника современного «государства всеобщего благоденствия»

критика разума обернулась философией культуры¹, стало естественным постулировать существование особой формы сознания, соответствующей каждому культурному явлению. В сущности, показать наличие определённого явления культуры в этой системе понятий и означало показать наличие особой формы сознания.

Конечно, тезис о социальной природе сознания был направлен социальными науками, идеологией нового общества, против религиозного мировоззрения старого мира. Но в образе разума-культуры узнаваемы черты Логоса.

Итак, мы склонны предполагать изоморфность Бытия, Разума и Университета. Это – одна из основных черт традиционного образа науки, важнейший источник её легитимности, её благородства. Едва ли не каждая академическая дисциплина стремится предстать логически последовательной системой знания, совершенной формой, отвечающей канону классической эстетики. Именно поэтому мы ищем основания наук в структурах разума, в нормальном случае не сомневаясь в осмысленности предприятия. Необычность положения истории – не в самом факте претензий на особый эпистемологический режим, но в силе и настойчивости этих претензий, что позволяет ей обосновывать свою идентичность на таком уровне, на который редко осмеливаются претендовать другие дисциплины².

Вернемся к **Полю Рикёру**, для которого **своеобразие истории в «концерте наук о человеке» связано с тем, что в ней находит выражение человеческий опыт времени**. Однако мы наберем не так уж много областей внутреннего опыта, сопоставимых по значению с опытом времени. Их список, по-видимому, будет исчерпан опытом пространства, так что нам придется выбирать: либо допустить, что остальные науки все вместе выражают наш пространственный опыт, что поставит нас перед большими трудностями при объяснении различий между науками, либо счесть опыт пространства интеллектуальной предпосылкой какой-либо одной науки, оставив все прочие без достойного обоснования. Вероятнее всего, мы изберем третий путь и отправимся на поиск исторических причин, сделавших возможными «особые права» истории.

История была едва ли не старейшей из наук, которые мы сегодня причисляем к социальным, и уже в XIX в., в период становления современного Университета и формирования основ дисциплинарной структуры современной науки, сумела завоевать исключительно прочные академические позиции³. К

имел в виду, прежде всего левых марбургских неокантианцев, Конке – более правых баденских, и к тому же после кризиса 1878 г. Применительно же к 1870-м гг. Конке подчеркивает тесную связь неокантианства с либерализмом («неокантианская философия и либеральная политическая мысль представляли собой неразрывное единство») и защитой буржуазных свобод, включая свободу совести и слова Речь, таким образом, идет, прежде всего, об оценке либеральной традиции, без которой едва ли мыслима современная демократия, а причины столь различных оценок либерализма достаточно очевидны.

¹ По словам Э. Кассирера, «критика разума становится критикой культуры» В. Виндельбанд характеризовал неокантианство как «философию культуры *par excellence*» (Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм // Избранное: Дух и история. М.: Юристь, 1995. С. 14).

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 17.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 18.

тому же именно в той стране, которая была лидером университетского развития и моделью для университетов других стран, в Германии, в других науках о человеке, и, прежде всего юриспруденции, политической экономии и филологии, безраздельно господствовали исторические школы¹. Не случайно, что науки о духе, или о культуре, нередко назывались тогда науками историческими. Это создало истории – до известной степени – репутацию парадигматической науки о человеке, которая была поколеблена, но не полностью устранена, в результате развития лингвистики, семиологии, социологии и антропологии. Метод наук о человеке долго называли историческим методом, а философия, стремившаяся дать их эпистемологическое обоснование, формулировала свою задачу как критику исторического разума. История более, чем какая бы то ни было другая дисциплина, могла позволить себе претендовать на то, что эпистемологический режим наук о человеке и есть её собственный эпистемологический режим. Поэтому долгое время обязанность доказывать свою методологическую независимость выпадала на долю других, позднее развившихся и позднее включившихся в «гонку легитимизаций» наук². Иными словами, привычный для рассуждений об интеллектуальной идентичности истории кадр – это её противопоставление естественным наукам или даже науке вообще, но отнюдь не её сравнение с другими науками как равной с равными. Именно в этом исключительном кадре развивались упомянутые выше споры об истории. Только поэтому и можно пытаться установить связь между историей и опытом времени, не задумываясь о том, достанет ли подобных сфер опыта на другие факультеты Университета.

Университетская метафора разума, очевидно абсурдная, если следовать ей систематически или хотя бы эксплицитно сформулировать её, слишком часто остается имплицитным кадром эпистемологических размышлений. В результате срабатывает эффект наслоения интерпретаций: там, где столько интерпретаций, не может не быть и проблемы. Но проблема, на наш взгляд, заключается в выявлении не столько интеллектуальной самобытности истории,

¹ «Философия и методология историзма пронизывали все науки о человеке и о культуре в Германии, так что лингвистика, филология, экономика, искусствознание, право, философия и теология стали исторически ориентированными областями знания». Аналогичным образом во Франции конца XIX в., по словам А. Про, «история служила методологической моделью для других дисциплин. Литературная критика стала историей литературы, а философия – историей философии».

² Классическим был, по-видимому, случай социологии, и именно он изучен особенно тщательно, но даже на долю политэкономии, имевшей к началу XX в. по крайней мере, трехсотлетнюю историю, тоже выпало немало мытарств. Надолго затянулась также институализация антропологии и географии. См.: Karady V. Durkheim, les sciences sociales et l'Université: bilan d'un semi-échech // *Revue française de sociologie*. 1976. Vol. 17. Na 2. P. 267–311; Idem. *Stratégies de réussite et modes de faire-valoir de la sociologie chez les durkheimiens* // *Ibid.* 1979. Vol. 20. Ns 1. P. 49–82; Mucchielli L. *La découverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870–1914)*. Paris: La Découverte, 1998; Karady V. *Naissance de l'ethnologie universitaire* // *L'Arc*. 1972. Vol. 48. P. 33–40; Idem. *Le problème de la légitimité dans l'organisation historique de l'ethnologie française* // *Revue française de sociologie*. 1982. Vol. 23. N° 1. P. 17–35; Idem. *Durkheim et les débuts de l'ethnologie universitaire* // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1988. Ma 74. P. 23–32; Le Van-Lemesle L. *L'économie politique à la conquête d'une légitimité, 1896–1937* // *Ibid.* 1983. KB 47–48. P. 113–117; Blanckaert C. *Fondements disciplinaires de l'anthropologie française au XIXe siècle: Perspectives historiographiques* // *Politix: Travaux de science politique*. 1995. Vol. 29. P. 31–54; Broc N. *L'établissement de la géographie en France: Diffusion, institutions, projets (1870–1970)* // *Annales de géographie*. 1974. N°459. P. 545–568.

сколько причин, которые заставляют нас постулировать эту самобытность. Почему об исторически сложившихся науках с размытыми границами случайного происхождения, которые в принципе не в состоянии объяснить ни одна логически последовательная система критериев, мы продолжаем рассуждать так, как будто интеллектуальное единство дисциплины есть нечто само собой разумеющееся? «**Определимо только то, что не имеет истории**», – писал Ницше¹. Может быть, в случае с историей, как и во многих других, единство имени подсказывает нам идею единства вещи? Наука как культурная практика, по словам М. Фуко, держится своими архивами. Наука как культурный образ, как наслоение интерпретаций держится своим именем.

Все это, естественно, не значит, что у истории нет вообще никакого своеобразия. Но не следует смешивать уровни: вопрос, не легитимный на уровне структур разума, вполне может быть поставлен на уровне культурных практик, того, что Жан-Клод Пассерон называет «дисциплинарными режимами». «**Книгу по истории от книги по социологии мы отличаем так же легко, как бургундское от бордо**», – пишет он². Делаем мы это, по-видимому, столь же интуитивно, как распознаем стили. В этом смысле профессия – прежде всего эстетический феномен. Конечно, у стиля не может не быть логических импликаций (и на некоторые из них нам придется обратить внимание), но в целом он – явление не логического порядка. Поэтому проблема профессионального стиля как культурной практики, вполне заслуживающая специального исследования, остается за рамками данной книги, посвященной, прежде всего формам концептуального мышления. Их же совершенно бессмысленно обсуждать на уровне дисциплин. Для анализа структур мышления дисциплинарный кадр иррелевантен. Чтобы приблизиться к пониманию того, как историк конструирует свои объекты, гораздо целесообразнее отправляться от изучения отдельных интеллектуальных операций³.

По существу, именно так поступает Поль Рикёр. То, что он изучил, – это не «историографическая операция» *par excellence*, определяющая историчность истории, это один из типов интеллектуальных операций, к которым историк, равно как и любой другой исследователь, прибегает по мере необходимости⁴. Сколько всего имеется таких типов? Предположим, несколько тысяч. Этого вполне достаточно, чтобы затруднить их соотнесение с подразделениями Университета. Вместо того чтобы рассуждать, какой из них ближе соответствует сущности исторически сложившегося комплекса культурных практик, объединяемых именем той или иной дисциплины, не естественнее ли посмотреть, как операции разных типов пересекаются в мысли исследователей, предполагая взаимодействие различных когнитивных механизмов?

Пусть опыт времени поэтически преображается операцией *mise-en-*

¹ Ницше Ф. К генеалогии морали // Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 457.

² Passeron J.-C. *Le raisonnement sociologique*. Paris: Nathan, 1991. P. 66.

³ По словам Д. Фишера, «каждый исторический проект представляет собой кластер составляющих его задач, каждая из которых предъявляет (историку. – Н. К.) свои собственные логические требования».

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 20–21.

intrigue. Но разве акт суждения, который, по Рикёру¹, позволяет схватить как единство хронологически упорядоченную серию эпизодов и извлечь из нее интригу, не имеет отношения к другим областям внутреннего опыта, например, к опыту пространства? «Мы мыслим чаще всего в пространстве», – писал Анри Бергсон². Надо ли думать, что это ментальное пространство «отправляется на каникулы», когда историк помещается за письменный стол? Впрочем, и время тоже мы часто концептуализируем в терминах пространства³. Может быть, существуют такие сферы внутреннего опыта, где время и пространство теряют специфичность, растворяются, совпадают между собой или зависят от общих структур? Может быть, опыт времени, рассматриваемый как автономное единство, структурированное вокруг августиновского парадокса прерывности-непрерывности, есть культурный образ совершенно того же типа, что и обсуждаемый образ истории? Но тогда, устанавливая связь между временем и повествованием, Поль Рикер переходит не столько на другой уровень анализа, сколько от одного культурного образа к другому, избегая обращения к собственно интеллектуальным механизмам, к уровню собственно мышления, вопреки своему же методологическому требованию, согласно которому семантическая теория должна включать некоторые элементы психологии. Герменевтика «долгого пути», отстаиваемая Рикером⁴, рискует никогда не привести «к самим вещам», поскольку она остается философией культуры – как, впрочем, и неокантианство. И уж во всяком случае, её совершенно не интересует мышление. Именно поэтому Рикёр столь легко заимствует кадр анализа истории, к которому нас приучила неокантианская эпистемология.

Книга Поля Рикёра представляется нам в высшей степени показательной. Даже самое глубокое исследование исторического разума, пытающееся преодолеть ограничения чисто лингвистического анализа истории, не достигает цели, ибо принимает некоторые базовые установки парадигмы наук о человеке XX в. – концепцию разума-культуры. Эта концепция существенно затрудняет изучение мышления в целом, поскольку подлежащая ей дихотомия природы и культуры, переформулированная как дихотомия естественных и гуманитарных наук, искусственно разделяет то, что нераздельно в человеке. На исследование структур разума, проявляющихся в конструировании объектов познания, она налагает крайне жесткие ограничения, поскольку стремление преодолеть дуализм как эпистемологический принцип затрудняет изучение того, как фактически функционирует дуалистический кадр в мышлении, в частности, научном⁵.

Стремление преодолеть дуалистический кадр, в рамках которого казалось невозможным обосновать объективность познания, было общим движением мысли конца XIX в. Именно в рамках этого движения получил

¹ Характерно, что сам Рикёр чувствует здесь близость своих рассуждений о пространственном кадре мышления к взглядам Канта (Ricoeur P. Temps et recit. Vol. 1. P. 103).

² Bergson H. Essai sur les donnees immediates de la conscience. Paris: Presses Universitaires de France, 1991. P. VII.

³ Ibid.; Guillaume G. Principes de linguistique theorique. Quebec: Les Presses de l'Universit  Laval; Paris: Klincksieck, 1973. P. 11; Jackendoff R. Semantic and Cognition. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 1983. P. 189.

⁴ Ricoeur P. Le conflit des interpretations. Paris: Seuil, 1969. P. 10.

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 22.

завершение проект современных социальных наук. Социальные науки повторили опыт гегелевского преодоления кантовского дуализма. Между тем, **дуалистический кадр размышлений вряд ли устраним**, поскольку позиция трансцендентального наблюдателя – одна из свойственных нашему разуму форм полагания мира. Поэтому реальный эффект концепции разума-культуры состоит в том, что изгоняемый «монистическим» дискурсом о социальной природе мышления дуалистический кадр возвращается в интеллектуальную практику истории в виде имплицитного позитивизма¹. Говоря о том, что в науках о человеке культура познает культуру, мы фактически закрываем возможность сколько-нибудь систематической критики исторического разума. В этом смысле герменевтика выступает как философия интеллектуального всепрощения, естественно дополняющая стихийный позитивизм социальных наук².

Такая ситуация связана с глубоко нормативным характером традиционного эпистемологического дискурса – неизбежным следствием его базовой легитимизационной функции. Иначе и быть не может до тех пор, пока наука остается для нас непререкаемой ценностью. В конечном итоге речь идет о смене установки. Вместо того, чтобы пытаться понять, как возможно объективное познание прошлого, как историки познают, можно спросить себя, как они думают, безотносительно к тому, насколько ценны плоды их размышлений³. При этом, конечно, меняется то, как мы понимаем знание. В традиционной эпистемологии знание есть некоторый идеальный объект, по отношению к которому определяется совершенство или несовершенство той или иной системы представлений. Именно в этом контексте имеет смысл проблема объективности познания, в том числе и исторического. Современная эпистемология склоняется к иной постановке вопроса – как можно описать то, что мы называем знанием⁴. Но тогда вместо того, чтобы спорить, объективно ли наше знание, мы можем спросить себя, почему мы столь озабочены этим вопросом и каковы логические, психологические, культурные условия, сделавшие возможной самую проблему объективности. Хорошо известны, по крайней мере, некоторые элементы ответа на этот вопрос⁵. **Если, следуя этому подходу, мы вынесем за скобки вопрос о соотношении исторических построений с идеальным нормативом, то получим вопрос о том, как думают историки. Иными словами, базовой установкой для нас является безразличие к проблеме объективности. Для последовательного критицизма наука должна перестать быть ценностью⁶.**

По-видимому, сегодня пересмотр концепции разума-культуры поставлен в порядок дня внутренним развитием наук о человеке. На наш взгляд, именно с

¹ Копосов Н. Е. Дюркгейм и кризис социальных наук // Социал. журн. 1998. № 1-2. С. 63.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 22.

³ Ср. противоположную постановку вопроса Р. Дж. Коллингвудом: «Там, где психолог спрашивает себя: "Как историки мыслят?", – философ задает себе вопрос: "Как историки познают?"» (Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 6).

⁴ Gettier E. L. Is Justified True Belief Knowledge? // Analysis. 1963. Vol. 23. № 6. P. 121-123; Edidin A. What Epistemologist Has to Do? // American Philosophical Quarterly. 1994. Vol. 31. № 4. P. 285-287.

⁵ Foucault M. L'archeologie...; Rorty R. Philosophy and the Mirror of Oxford: B. Blackwell, 1980.

⁶ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 23.

тем фактом, что к 1980-м гг. выявились тупики, к которым неизбежно приводит эта теория, в значительной мере связан переживаемый сейчас социальными науками интеллектуальный кризис. Обе основные версии концепции разума-культуры, к которым пришли сегодня науки о человеке, когнитивизм и деконструктивизм, интерпретируют сознание как замкнутую вселенную символов, соотносимость которых с внешним миром остается проблематичной¹. Таким образом, задача доказательства объективности познания в рамках парадигмы социальных наук оказалась не более выполнимой, чем в отвергнутом ею трансцендентальном идеализме. Между тем, именно ввиду доказательства объективности познания была сконструирована эта парадигма. Поэтому сегодняшний кризис социальных наук есть, прежде всего, кризис концепции разума, подлежащей упомянутым наукам.

Угрозу исчезновения мира в результате неразрешимости проблем референциальной семантики чаще всего пытаются отвести с помощью умеренных версий прагматически ориентированного объективистского дискурса. Характерна мода на идею контекстуализации – ведь именно контекст «отвечает» за связь дискурса с миром. Такой подход при всей его очевидной обоснованности упускает из виду логическую сторону дела: мир с необходимостью предполагает субъекта. Именно атаки на концепцию субъекта, в которой отцы-основатели социальных наук видели угрозу для объективности научного познания и, следовательно, угрозу возрождения религии, обрекли мир на исчезновение. Соответственно, возвращение субъекта является фундаментальным условием возвращения мира. Но возвращение субъекта требует такой концепции разума, которая не будет целиком сводить разум к культуре. В свою очередь, такая концепция мыслима только при условии «вынесения за скобки» проблемы объективности познания и перехода от прескриптивной к дескриптивной эпистемологии. А это предполагает необходимость поиска такой социальной системы, которая не будет основываться на отождествлении власти и знания².

Одна из важных современных попыток вырваться из «замкнутой вселенной символов» связана с реабилитацией тела как носителя разума. Речь идет о концепциях «воплощённого разума», распространившихся в 70–80-е гг. XX в. в когнитивных науках и пытающихся найти свое философское пристанище в феноменологии, прежде всего – в наследии М. Мерло-Понти³. Несмотря на то, что это течение разделяет, как мы увидим, некоторые предпосылки лингвистической модели разума, целый ряд положенных в его основу интуиций представляет чрезвычайный интерес в перспективе нашего исследования. И, прежде всего – обнаруживая ограничения концепции разума-

¹ Копосов Н.Е. Замкнутая вселенная символов: К истории лингвистической парадигмы // Социол. журн. 1997. №4. С. 33 – 47.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 24.

³ Согласно традиционной точке зрения, разум абстрактен и бестелесен, согласно новой точке зрения он имеет телесное основание. Традиционный взгляд рассматривает разум как лингвистический, как функционирующий в форме пропозиций, которые могут быть объективно истинными или ложными. Новый взгляд представляет связанные с воображением аспекты разума – метафору, метонимию, ментальное воображение – как центральные для разума, а не как периферийный и не имеющий особого значения придаток лингвистического модуля.

культуры, **теория воплощённого разума резко расширяет территорию, где можно искать новую концепцию разума.**

Подведём итоги сказанному. Между дисциплинарным кадром анализа мышления и интерпретацией его как факта культуры существует несомненная связь. Мы обречены оставаться в мире культурных образов до тех пор, пока будем рассуждать о мышлении на уровне академических дисциплин. **Только избрав отправным пунктом отдельную интеллектуальную операцию, мы окажемся в состоянии от анализа истории как культурного образа перейти к анализу того, как думают историки. Именно таким будет наш демарш в предлагаемой работе¹.**

Конечно, история дана нам, прежде всего (хотя и не исключительно) в лингвистической форме, и для её понимания необходимо пройти через уровень лингвистического анализа. Однако изучение языковых механизмов, как это нередко показывают исследования приверженцев лингвистического поворота, на каждом шагу ведёт нас за пределы языка, обнаруживая взаимодействие лингвистических и нелингвистических механизмов. Поэтому, отправляясь от конкретной интеллектуальной операции, мы сосредоточим внимание на том, как разные типы механизмов взаимодействуют в конструировании исторических объектов.

Интеллектуальная операция, которая будет в центре внимания в предлагаемой работе, – это описание социальной стратификации. Мы сознательно выбрали операцию, в какой-то мере полярную *mise-en-intrigue* как воплощение синхронии – воплощению диахронии. Конечно, можно сказать, что, не повествуя, историк выступает не в качестве историка. Но чему служит подобный формализм? Не правильнее ли считать, что, **занимаясь историей, историк мобилизует, в зависимости от конкретных исследовательских задач, различные механизмы сознания и элементы внутреннего опыта?**

В практике современной историографии социальные группы выступают в качестве важнейших актёров, в качестве «персонажей первого порядка», если воспользоваться словами Поля Рикера, который именно в антропоморфизации таких центральных персонажей видит один из важнейших аспектов повествовательной идентичности истории². Безусловно, логика диахронического развития интриги между антропоморфизированными социальными группами имеет свои механизмы. Но чтобы привести своих героев в действие, историк должен сконструировать их. Конечно, конструируя, он не может не учитывать логику интриги, в которую будут вовлечены его герои, перспективу рассказа о событиях, в которых они будут участвовать. Но и интригу не понять без отсылки к статическому кадру. Всякая интрига предполагает диспозитив. Если он не разъясняется подробно с самого начала (а это – обычная практика), то предполагается, что он известен читателю. Если нет, читатель должен сам восстанавливать его по ходу развертывания интриги. Синхрония и диахрония неразрывно связаны в мышлении – и в его произведениях.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 25.

² Ricoeur P. Temps et récit. Vol. 1. P. 255.

В отличие от теории исторического повествования, теория исторического описания разработана слабо. Даже в тех редких случаях, когда историческое описание привлекает специальный интерес, оно обычно рассматривается как подчиненная повествованию процедура. Примером здесь могут служить размышления Райнхарта Козеллека¹. В отличие от Рикёра, усматривающего суть истории в нашей способности извлекать интригу из хронологически упорядоченной серии эпизодов, Козеллек устанавливает корреляцию между различными историческими темпоральностями и различными дискурсивными режимами, используемыми историками. События, происходящие в краткой протяженности, скорее рассказываются, структуры же, мыслимые в длительной протяженности, скорее описываются. Между описанием и повествованием нет ни абсолютной границы, ни абсолютной проницаемости. Чем более устойчивы структуры, тем более их лингвистическая репрезентация зависит от дескриптивных механизмов и от пространственного референциального кадра (а не от временного, в котором осуществляется повествование), ибо они мыслятся в статической форме. Тем не менее, по Козеллеку, для которого сущностью истории остается время, описание даже самых устойчивых структур в конечном итоге вписывается в дискурсивную форму, зависящую от логики исторического повествования и от временного референциального кадра².

Нам представляется, что предположение о том, будто между описанием и повествованием в истории существуют отношения иерархической включенности, слишком напоминает поиск базовой историографической операции. Гораздо осторожнее исходить из гипотезы об их взаимодополняемости и взаимодействии. Но в остальном анализ Козеллека кажется вполне убедительным. Впрочем, он ещё не объясняет, каковы собственно лингвистические механизмы исторического описания. Козеллек упоминает только об одном механизме, далеко выходящем за границы собственно лингвистической сферы, а именно, о пространственном референциальном кадре. Даже если он прав, в его рассуждениях упущено логическое звено, и параллель с концепцией Рикера позволяет это прояснить. Если опыт времени, поэтически преображаемый повествованием, принадлежит к тому же порядку явлений, что и пространственный референциальный кадр, то в чем состоят описательные механизмы, параллельные операции *mise-en-intrigue*? И повествование, и описание, по-видимому, следует интерпретировать как взаимодействие лингвистических и экстралингвистических механизмов.

Среди внеязыковых механизмов мышления нас, прежде всего, интересует пространственное воображение, на взаимодействие которого с языком в конструировании истории мы уже имели случай обратить внимание.

¹ Kosselleck R. *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. S. 105–115.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 27.

Пространственное воображение – тема столь же классическая, сколь и сомнительная для психологии мыслительных процессов. В период зарождения экспериментальной психологии во второй половине XIX в. опиравшееся на традиции эмпирической философии ассоцианистское течение рассматривало мышление как процесс, основанный на более или менее произвольных ассоциациях ментальных образов (прежде всего визуальных), отражавших вещи и положения вещей во внешнем мире¹. На грани XIX–XX вв. эти представления были отвергнуты целым рядом течений мысли, начиная от феноменологии, символической логики и семиологии и кончая бихевиоризмом. В той или иной форме все они развивали представление о мышлении как о квазилингвистическом явлении, иными словами, как об оперировании с символами, чувственная природа которых безразлична для их значения. Такое совпадение позиций столь различных течений не было случайным: оно свидетельствовало о рождении той **«лингвистической парадигмы», которая стала одной из теоретических основ социальных наук XX в.** Изгнание бихевиористами интроспекции как сугубо ненаучного метода, в котором **«психология как чисто экспериментальная область естественных наук нуждается не больше, чем химия или физика»,** позволило им **отрицать феноменологически, казалось бы, очевидную причастность образов к мышлению.**

На протяжении полувекового периода господства бихевиоризма в психологии **изучение воображения оказалось вытесненным на периферию научных исследований**². Когда же в 1950–1960-е гг. после возрождения ментализма в ходе когнитивной революции «подвергнутое остракизму» воображение было возвращено в психологию, новые концепции воображения (получившие название имагинизма) лишь частично воспринимались как альтернатива бихевиоризму, а частично – как его развитие и усовершенствование³.

Главным неоменталистским течением на многие десятилетия стал когнитивизм или пропозиционизм, приписывавший мышлению форму логических пропозиций (типа пропозиций символической логики). Здесь сказались традиции доминировавшего в англоязычной философии логического позитивизма. **Как и логический позитивизм, когнитивизм отождествлял мышление с познанием,** так что именно идеальный образ позитивной науки подсказывал исследователям гипотезы о том, как функционирует мышление. К тому же важнейшим фактором неоменталистской революции было изобретение компьютера, повлекшее за собой возникновение компьютерной модели разума, которая неизбежно предполагала гипотезу особого уровня символических вычислений. Но в условиях, когда мышление сводилось к оперированию с символами, было естественно рассматривать образы как его эпифеномены, форма которых иррелевантна для его содержания. **В итоге, несмотря на**

¹ Философские аспекты ассоцианизма были разработаны, прежде всего, И. Тэнном (Taine H. De intelligence. Paris: Hachette, 1870).

² Им занимались Ж. Пиаже и Ф. Барлет.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 29.

частичную реабилитацию интроспекции, над ментальными образами продолжало тяготеть подозрение в психологической нереальности. Неудивительно, что сторонники новых концепций ментального воображения прежде всего стремились доказать как психологам-бихевиористам, так и лингвистам-менталистам психологическую реальность образов, пусть хотя бы самых элементарных. Интерес к простейшим образам, прежде всего – к образам вещей, диктовался, с одной стороны, профессиональными канонами экспериментальной психологии, которая отдавала предпочтение изучению элементарных и изолированных актов и поведения, и сознания, а с другой стороны, влиянием логического позитивизма, также обсуждавшего проблему семантических структур имён, прежде всего на примере имён собственных, аналогичных образам конкретных объектов. Однако упрощения такого рода скорее препятствуют изучению мышления. Для того же, чтобы обратиться к анализу более сложных форм воображения, которые ускользают от эксперимента, следовало переосмыслить интеллектуальный проект психологии, стремящейся быть экспериментальной наукой. Не удивительно, что имажинизм с самого начала был обречён на поиск компромисса с когнитивизмом и имел мало шансов выработать такую модель сознания, которая могла бы противостоять когнитивистской парадигме. Имажинисты не осмеливались пойти дальше теории «двойного кодирования» (лингвистического и визуального) перцептов в памяти. Но такой подход оставлял открытым вопрос о том, по каким правилам происходит взаимодействие в мышлении по-разному кодированных перцептов. Ничто не мешало ответить: по правилам символической логики. Именно такой ответ и был предложен с помощью теории модулярности мышления, согласно которой кодирование информации происходит в разных формах (в том числе и образной) на уровне непосредственно связанных с перцепцией «локальных процессов», но функционирование «центральных процессов», имплицитно отождествляемых с собственно мышлением, осуществляется исключительно в символической форме. Концепция модулярности в 1980-е гг. привела к триумфу пропозиционизма и падению интереса к ментальному воображению. Имажинизм не смог поколебать господство лингвистической парадигмы.

Существуют, однако, и другие направления мысли, пусть остающиеся сравнительно маргинальными в рамках современных наук о человеке, но, тем не менее, создающие опору для иного подхода к роли воображения в мышлении, в том числе и в мышлении историческом, и позволяющие представить, какой должна быть концепция разума для того, чтобы можно было считать образы носителями мысли. Такие исследования уже имеют дело с более сложными образами, работающими на глубинных уровнях сознания и ответственными за самое содержание наших репрезентаций и за логику мышления¹.

С одной стороны, гипотеза о многообразии форм мысли находит опору в некоторых оппозиционных когнитивизму направлениях когнитивных наук. В

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 31.

частности, получившие развитие в последние два десятилетия коннекционистские теории, плодом которых является модель мышления как «параллельно распределенных процессов», создают логическую рамку для понимания образов уже не как эпифеномена, но как самостоятельной формы мышления. Коннекционизм опирается на несколько иную конфигурацию дисциплинарных альянсов в рамках когнитивных наук, и, прежде всего на данные биологии (для традиционного когнитивизма такой базовой дисциплиной была наука о компьютерах). В физиологии мозга в последние десятилетия получило распространение представление о мышлении как о взаимодействии различных форм мысли, не оставляющее места для информационно закрытых модулей когнитивистов. Нейрофизиологические данные позволяют приписать различные когнитивные функции разным полушариям головного мозга (левому – логические, аналитические, лингвистические операции, правому – воображение и синтез). При этом предполагается, будто электрические токи, проходящие через мозг и активирующие участок коры мозга, «ответственный» за проведение данной конкретной операции, возбуждают до известной степени и другие участки коры, так что мышление производится параллельно в районах мозга, ответственных за разные когнитивные функции¹. Естественно предположить, что это приводит к отражению одних форм мысли в других.

С другой стороны, центральная роль образов в мышлении подчеркивается в ряде исследований по лингвистике, литературной критике и искусствоведению. Теория метафоры как важнейшего когнитивного инструмента занимает центральное место в этих теориях. Метафора рассматривается здесь как далеко превосходящая чисто декоративную функцию языковая форма, как структурирующий мышление лингвистический механизм, в котором находит выражение внеязыковой опыт. Далее, иногда говорят о структурировании мира в терминах базовых областей опыта, так что метафоричность мышления, позволяющая объяснить проецирование форм одних областей опыта на другие, выглядит фундаментальным свойством сознания. Пространству здесь неизбежно отводится особое место².

Со своей стороны структуралистские литературные критики показали наличие некоторых параллелей между формальной организацией повествования и структурой базовых областей опыта. В частности, они говорили об отражении пространственного опыта в построении текста и подчеркивали тенденцию к «специализации» художественного мышления в литературе модернизма. По-видимому, формальная организация повествования наряду с метафорой выступает механизмом трансляции пространственного опыта в тексты. Более того, опыт пространства многие вообще считают основой языка. В одних и тех же словах эту мысль сформулировали Мишель Фуко и Жерар Женет: «Язык соткан из пространства»³. Но это значит, что сам язык

¹ Иванов В.В. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 32 – 33.

³ Foucault M. Le langage de l'espace // Dits et écrits. Vol. 1. Paris : Gallimard, 1994. P. 411 ; Genette G. Espace et langage. P. 107.

способствует специализации реальности в нашем воображении, что делает совершенно естественным анализ взаимосвязи пространственных паралогик и других лингвистических механизмов.

Наконец, в искусствоведении можно найти аргументы в пользу гипотезы о важной роли пространства для мышления, несмотря на то, что лингвистическая парадигма сказала и здесь. После Э. Панофски, применившего лингвистическую аналогию к анализу произведений искусства, Э. Гомбрих и Н. Гудман рассматривали образ как означающее, таким же образом, как и слово, связанное с означаемым¹. Это повлекло за собой недооценку чисто фигуративного аспекта визуального языка и его роли для конституирования значения произведений искусства и в итоге обрекло на неуспех многие попытки создать семиологию визуальных языков, исходившие из слишком непосредственно понятой лингвистической аналогии и недооценивавшие семиологические ресурсы фигурации. Тем не менее, в искусствоведении сохраняются тенденции к пониманию роли визуального языка как самостоятельного кода, не полностью переводимого в лингвистический. **Есть точка зрения, что глубинные структуры мысли фигуративны, и она неплохо дополняет упомянутые выше исследования о метафорах. Некоторые психологи также считают визуальный язык наиболее фундаментальным кодом внутренних репрезентаций, от которого лишь на позднем этапе эволюции отделился развившийся на его основе звуковой язык².**

В свете указанных исследований выглядит уместной гипотеза о том, что воображение является самостоятельным модулем мышления, сопоставимым по значению со словесной мыслью, но выполняющим другие функции. Эта гипотеза позволяет вернуть воображению, и, прежде всего пространственному, место в «центральных процессах» мышления. Во всяком случае, очевидно, что в языке выражается вне-языковой опыт, и именно он зачастую является конституирующим элементом значения. Некоторые наши понятия до такой степени несут в себе отпечаток пространственного модуля, что для них можно констатировать равноправие разных форм мышления.

Конечно, для того чтобы имело смысл говорить о роли образов в мышлении, следует отказаться от того понимания образа, которое и в когнитивной психологии, и в философии, и в искусствоведении позволяло приравнивать его к знаку, иными словами, от аналогии образа, слова и индивидуального объекта. Для мышления гораздо более значимы образы, в которых фигуративно репрезентируются логические отношения. **Среди образов, репрезентирующих логические отношения, пространственные занимают особое место.** Иногда считают, что именно пространство является идеальным медиумом для репрезентации логических отношений. Образ как сугубо фигуративный способ внутренних репрезентаций часто противопоставляют предикативному логическому мышлению³. Нам, однако,

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 34. Произносимые слова – условные знаки, искусство использует «естественные знаки» для воспроизведения нашего отношения к миру.

² Глубинные структуры языка происходят из организации визуальных форм. Концепция Наума Хомского.

³ Так Мишель Дени пишет: «Образ непредикативен» (Denis M. Image et cognition. Paris: Presses Universitaires de

такое разграничение не кажется основательным, поскольку фигурация в состоянии предопределять предикацию, что можно считать одним из проявлений принципа *predicatum inest subjecto* – не говоря уже о таких образах, которые структурно схватывают интригу, т. е. представляют в виде схемы определенную предикацию. Эта способность и делает воображение одной из базовых форм мышления. Именно выражающие логические отношения образы, о конкретных формах и роли которых в исторических трудах известно так мало, мы предполагаем изучить в данной работе¹.

Наш подход к трактовке воображения историков основан на представлении об экспрессивной сущности трудов человеческих, в том числе и науки, которая гораздо более выражает тотальный человеческий опыт, нежели отражает внешний мир². Наука является одной из символических форм, благодаря которым мир дан нашему разуму, форм, порожденных практической деятельностью в мире и мобилизующих многообразие нашего опыта и ресурсов сознания. Поэтому **никакая наука не может быть только системой логических пропозиций**. Она неизбежно является более сложной ментальной конструкцией, основанной на взаимодействии разных форм мысли. В частности, любая научная теория сопровождается сложной системой воображения, ибо мобилизует метафоры и образы, опирающиеся на разные области внутреннего опыта. Все это многообразие форм мысли сказывается на научных понятиях, которые мобилизуют в нас, наряду с другими элементами коллективной памяти дисциплины, настрой на использование определенных паралогических механизмов. **Между научными парадигмами и системами пространственного воображения существует, по-видимому, достаточно жёсткая связь, так что пространственные образы могут считаться невысказанной – или метафорически высказанной – частью научных теорий и понятий, зачастую настолько важной частью, что без мобилизации определенного типа пространственного воображения эти теории и понятия бесповоротно теряют в убедительности³.**

Задача изучить роль пространственных образов в мышлении важна постольку, поскольку предполагается, что опыт существования в пространстве сказывается на том, как мы конструируем абстрактные идеи и объекты познания⁴. Подобно опыту времени, опыт пространства «переформулируется» и находит выражение в интеллектуальных продуктах. Пространственное воображение выступает как свойственный нам этап объективации мира на основе элементарного опыта деятельности в нём⁵.

Каково же наше ментальное пространство? Чтобы понять его свойства, следует, прежде всего, задуматься о том, как мы представляем себе

France, 1989, P.11).

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 35.

² В творениях человеческих объективируется и на них проецируется вся человеческая природа. (Meyerson I. Les fonctions psychologique et les oeuvres. Paris: Vrin, 1948. P. 69).

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 36. (Рене Том. Концепция топологического пространства. Топологическое пространство – источник плодотворных научных интуиций. С помощью этой теории Рене Том пытался обосновать свою теорию катастроф).

⁴ В сегодняшнем языке пространство – самая навязчивая метафора (Foucault M. Le langage de l'espace // Dits et écrits. Vol. I. Paris : Gallimard, 1994. P. 407).

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 37.

пространство физическое. Свои собственные пространственные репрезентации мы зачастую склонны описывать в терминах галилеевской науки – основы нашей школьной физики¹. Так думать естественно, если считать пространство объективным, а наши представления о нём – научными. При этом наше «научное» восприятие пространства противопоставляется «примитивным» репрезентациям пространства, подчиняющимся совсем другим принципам, но, конечно, не имеющим отношения к «настоящему» пространству. Напротив, если считать пространство продуктом нашего сознания и наших чувств, активно конструирующих мир начиная с самых элементарных стадий перцепции², естественнее допустить исходную множественность нашего пространственного опыта, данного нам с помощью различных чувств, каждое из которых имеет свои разрешающие возможности. Пространство дано нам зрительно, кинетически, тактильно – и даже аудитивно. Поэтому оно не является единой системой координат, но скорее множественной системой, подсказывающей нам разные логические интуиции. Синтетический характер пространственного опыта обуславливает особую роль центральных когнитивных механизмов в формировании идеи пространства, причем синтез оказывает воздействие на восприятие пространства разными чувствами. В таком синтезе, конечно же, огромна роль культурных концептуализации пространства, равно как и различных культурных практик, ставящих нас в контакт с различными типами пространства, и технических средств восприятия пространства, достраивающих и модифицирующих природный опыт человеческого организма. Человеческое пространство – это совместный продукт перцепции и культуры³.

Остановимся вкратце на некоторых формах пространственности. «Школьное» пространство классической механики, доминирующая и единственно легитимная сегодня система пространственных референций, отнюдь не является пространством интуитивным. Это – символическая форма, развивающаяся на основе более примитивных форм пространства. Не является оно и элементарным пространством, поскольку включает более простые элементы, которые в его рамках сохраняют некоторую автономию. Так, огромную роль в упорядочении играют когнитивные точки (которые могут быть организованы и соотнесены между собой отнюдь не обязательно в эвклидовом пространстве) и линия (достаточно вспомнить, например, о принудительной силе линейного упорядочения). Прямая линия является важнейшей логической предпосылкой и доминирующим элементом трёхмерного пространства и в этом смысле его рудиментарной формой, но вместе с тем ей присущи особые формы упорядочения. При этом между эвклидовым пространством и пространством линии сохраняются довольно сложные отношения, поскольку трёхмерная модель, по-видимому, не обладает

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 38.

² Зрительное, слуховое восприятие, равно как и память, являются актами конструирования. Т.з. современной когнитивной психологии. Идею множественности пространства развивал М. Мерло-Понти в работе «Феноменология восприятия».

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 39.

особой прочностью и способна, с одной стороны, «соскальзывать» в образ многомерного линейного пространства, а с другой стороны, сворачиваться в линию, проходя при этом через крайне важную стадию плоскостного, двухмерного пространства.

Для понимания роли плоскостного парафразы трёхмерного пространства следует иметь в виду роль зрения как важнейшего из пространственных чувств. Иногда трёхмерное пространство отождествляют с визуальным. Но оно отнюдь не является естественным пространством зрения, оно есть **пространство определённым образом воспитанного глаза**. Напротив, визуальное пространство организовано плоскостным фоном, и трёхмерным его делают мобилизация опыта других чувств и рационализация. Тем не менее, как культурный конструкт трёхмерное пространство опирается, прежде всего, на рационально истолкованный опыт зрения. Собственно, именно по мере культурной мобилизации опыта зрения для конструирования пространства и происходит, по-видимому, утверждение монопольного положения декартовых координат. Для культурной истории трёхмерного пространства фундаментальным фактом является то, что оно рождается в ходе «изобретения перспективы», т. е. благодаря попыткам его графической репрезентации в двухмерном пространстве, являясь как бы минимальным образом многомерности, образованной пересечением прямых линий и доступной изображению в зрительном плоскостном пространстве. Именно отсюда его способность к сворачиванию-разворачиванию, так что то пространство, которое нам кажется порой единственно реальным, на самом деле является крайне неустойчивой формой, сложным конструктом, в котором сплошь да рядом его более элементарные составляющие берут верх. Очень часто поэтому, апеллируя к эвклидову пространству, мы на деле пользуемся его сокращёнными формулами.

Безусловно, существуют и другие формы пространственного опыта. Для наших целей особенно важна **концепция топологического пространства, иными словами, пространства, из которого изъята мера, а, следовательно, и система координат**, и в котором сохраняются только чисто качественные отношения соседства, включённости-исключённости, прерывности-непрерывности. Ранее всего приобретаемое ребенком, **топологическое пространство на протяжении всей жизни человека остается базой для интуиции реальности**. Открытое математикой в начале XX в., топологическое пространство вскоре стало рассматриваться как исходно данное интуитивное пространство, из которого лишь при определенных культурных условиях в состоянии развиться эвклидово пространство, со временем начавшее осуществлять «культурную репрессию» и вытеснять из культуры топологическое пространство¹.

Как соотносятся между собой перечисленные формы пространства? Многие исследователи, начиная с Ж. Пиаже, исходили из идеи постепенной смены разных типов пространства в нашем внутреннем опыте, о постепенном переходе от топологического пространства к эвклидову.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 42.

Однако нет оснований считать, что сменяющие друг друга формы сознания целиком стирают следы предшествующих стадий. Сосуществование различных форм восприятия пространства кажется более вероятной гипотезой.

Одним из базовых элементов опыта пространства является двойственность пространственной самоидентификации субъекта. Субъект, действующий в пространстве, организует его вокруг самого себя. Это кинетическое эгоцентричное пространство субъекта действия соседствует в нашем воображении с объектоцентричным пространством наблюдателя, зрительным пространством имплицитной трансцендентальной установки, являющейся одной из свойственных нашему разуму форм полагания мира. Такая установка развивается с помощью привнесения в опыт зрения черт рационального эвклидова пространства, служащего постоянным референциальным кадром, постоянной метафорой познания. Именно этот конфликт пространственной самоидентификации породил, по словам А. Леруа-Гурана, «двойственность наших репрезентаций мира»¹.

Итак, наше внутреннее пространство отнюдь не сводится к открытому наукой объективному трехмерному пространству. Скорее, оно выглядит как многообразие форм пространственного опыта, частично природного, частично культурного, в терминах которого конструируется мир, в том числе и «вторичный» мир абстрактных понятий.

Если теперь от физического пространства мы обратимся к пространству ментальному, то увидим, что оно может использоваться для концептуализации других областей опыта. Такое использование является сложным процессом двойного конструирования: пространство, которое само уже является конструктом сознания, используется как материал для конструирования по аналогии других объектов. Среди подобных объектов особое место занимают идеальные абстрактные объекты, иными словами – абстрактные понятия, в их числе и такие, как общество и государство, важнейшие понятия социальной истории. Влияние пространственных паралогик на их возникновение и развитие – одна из главных тем этой работы².

Эмпирический материал, на основе которого написана книга, взят прежде всего из истории французской историографии. Конкретнее, речь идет о социальной истории 1960-х гг. Этот период был своего рода «серебряным веком» исторической мысли (и социальных наук в целом). Именно тогда школа «Анналов» завоевала господствующие позиции во французской и мировой историографии. Программа социальной истории, начертанная на знаменах этой школы, стала символом веры исторической профессии. Центральным эпизодом социальной истории 1960-х гг. был спор о классах и сословиях, в котором историки школы «Анналов» и близкие к ним марксистские историки столкнулись с коллегами более консервативной ориентации. Спор о том,

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 43.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 44.

являлось ли французское общество Старого Порядка обществом классов или обществом сословий, имел очевидные политические импликации. Но за различием идеологических установок скрывалось согласие в отношении базовых логических проблем социальной истории, что, собственно, и сделало спор возможным. Именно не историографическая, но логическая сторона дела интересует нас в этом споре. И чем схоластичнее был спор – а таким он остался в исторической памяти профессии, – тем более он нам интересен, ибо он обнажил в крайности столкнувшихся позиций некоторые обычно скрытые, но, тем не менее, присутствующие в сознании историков логические противоречия.

Историография далеко ушла с тех пор. Социальная история сначала уступила место социокультурной истории, стремившейся изучать уже не столько «объективные» структуры общества, сколько их восприятие и конструирование субъектами, действовавшими на основе собственных представлений¹. Социальных историков 1960-х гг. теперь упрекали в том, что они пытались наложить на живую историческую действительность изобретенные социологами абстрактные схемы, не имеющие ничего общего с реальностью, которая создавалась людьми, мыслящими в совершенно других категориях. Поначалу сознание субъектов понималось, прежде всего, как «коллективное бессознательное», как «ментальность», но чем дальше, тем больше делался акцент на субъективном восприятии социального мира и индивидуальных стратегиях адаптации к нему. Различные техники микроанализа приходили на смену макросоциальным конструкциям историков 1960-х гг. То, что в середине 1990-х гг. стали называть «новой парадигмой» или «прагматическим поворотом» в социальных науках, непосредственно основывается на опыте микроисследований. В центре новой парадигмы находится возвращение субъекта, иными словами, акцент на сознательных, субъективных аспектах социального действия, противоположный характерному для «функционалистских парадигм» (таких, как марксизм, структурализм или психоанализ) поиску надличностных, объективных факторов, детерминирующих развитие общества².

Постепенное смещение интереса от структуры к действию, от объективного к субъективному, от бессознательного к сознательному и от общего к особенному характеризует развитие наук о человеке в период, открытый критикой в адрес функционализма со стороны феноменологической социологии, символического интеракционизма и других подобных течений. В эту общую динамику вписывается и намеченная выше эволюция социальной истории. Впрочем, отмеченная эволюция сопровождалась методологическими колебаниями, побуждавшими говорить о кризисе социальной истории (как и наук о человеке в целом). «Освобождение от догматизмов» старой парадигмы, некоторое время, приветствовавшееся как залог свободного развития

¹ Chartier R. , Roche D. Histoire sociale // La Nouvelle Histoire / Pub. par J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. Paris, 1978 ; Lequin Y. Sociale Histoire // Dictionnaire des sciences historiques / Pub. par A. Burguière. Paris : Presses Universitaires de France, 1986. P. 635 – 642.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 45.

творческой мысли¹, постепенно начало рассматриваться как кризис, проявляющийся в «измельчении истории», как распад истории на несвязанные между собой дискурсы². Чем очевиднее становились достижения микроанализа, тем шире распространялась мысль, что **«невозможно построить дом из фрагментов даже самой красивой мозаики»**. За этим возвращением в исторический дискурс дорогих социальным историкам 1960-х гг. строительных метафор просматривается **тоска по утраченной целостности**, равно как и сохранение традиционных форм исторического воображения, которое Люсьен Февр называл «метафизикой каменщика», а А. Я. Гуревич – «строительно-геометрическим мышлением»³. Более того, 1960-е гг. постепенно обрели в коллективной памяти профессии статус «героической эпохи», эпохи-модели, по отношению к которой идентифицируют себя периодически сменяющие друг друга попытки создания новой парадигмы.

Иными словами, **преодоленность 1960-х гг. для современной историографии во многом иллюзорна**. То, что делает микроисторию уязвимой с логической стороны, – это сохраняющаяся потребность в некоторой общей рамке, которая придавала бы смысл микроисторическим изысканиям. Микроисторики на деле не могут обойтись без имплицитно присутствующих в их построениях макроисторических категорий, укорененных в традиционном историческом словаре. Отсюда и требование, естественно предъявляемое к тому, что можно было бы назвать новой парадигмой: она должна обеспечить новую артикуляцию различных исторических дискурсов, новые формы обобщения и соотнесения микроисторических исследований с макроисторическими категориями. Иными словами, чтобы стать парадигмой, прагматический поворот не мог позволить себе ограничиться возвращением субъекта. Чтобы перейти от логики распада к логике реконструкции, следовало найти способ от анализа индивидуального действия умозаключать к социальному целому, т. е. не просто уточнять, но конструировать макросхемы с помощью микроанализа, иными словами – обобщать от индивидуального. Но это – один из тех вопросов, с размышлений о которых начинались социальные науки. **Распад функционалистской парадигмы вновь привёл, и в крайне острой форме, к постановке проблемы обобщения в науках о человеке**.

Спектр предложенных в последнее время решений этой проблемы достаточно широк. Одни возлагают надежды на волшебную палочку новых статистических методов, позволяющих уменьшить произвольный характер наших классификаций и обеспечить переход от **изучения социальных сетей к эмпирической реконструкции социальных структур**⁴, другие – на понятие исключительного-нормального⁵, третьи – на заимствованную у немецкого историзма идею индивидуальной тотальности⁶, четвертые – на разработанную

¹ Revel J. Une oeuvre inimitable // Espaces Temps. 1986. №34– 35. P. 14.

² Dosse F. L'Histoire en miettes: Des «Annales» a la «nouvelle histoire». Paris: La Découvert, 1987.

³ Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». С. 249.

⁴ Gribaudi M., Blum A. Des catégories aux liens individuels : l'analyse statistique de l'espace sociale // Annales : Economies. Sociétés. Civilisations. 1990. Vol. 45. №6. P. 1365– 1402.

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 47.

⁶ См. выступление в дискуссии А. Дерозьера: Histoire sociale ... / Pub. par C. Charle. P. 71.

Пьером Нора концепцию мест памяти¹, по аналогии с которой можно, по-видимому, создать более или менее разнообразный инвентарь мест наблюдения/конструирования социального², пятое – на укрепление солидарности профессионального сообщества, основанное на более ясном самосознании социальных наук как культурной практики³. Особой популярностью в последние годы пользуется предложенная Л. Болтански и Л. Тевено «социология градов» (*sociologie des cités*), исследующая то, как субъекты социальной жизни легитимизируют свои притязания в конфликтах с помощью апелляции к различным моделям общественного устройства и как они приходят к компромиссу, основанному на том или ином балансе этих принципов⁴. Привлекает внимание и возрождающая традиции Дюркгейма «социальная история когнитивных форм» (например, классификаций), показывающая происхождение ментального аппарата, занятого в конструировании социального пространства, и тем самым набрасывающая для микроисториков хотя бы какие-то контуры того здания, которое они пытаются сложить из кусочков мозаики собственного производства⁵. Эти подходы представляют несомненный интерес и в ряде случаев уже привели к появлению первоклассных исследований. Правоммерно, однако, усомниться, что искомый результат – создание общепринятой модели генерализации, которая позволила бы преодолеть измельчение истории, – уже достигнут.

Во всех этих попытках найти новые способы обобщения просматривается стремление избежать того главного недостатка, который традиционно ставят в упрек социальной истории 1960-х гг., а именно, реификации проецируемых на историю форм нашего разума. Но знаем ли мы, каковы эти формы? Может быть, отвергаемые сегодня формы обобщения есть вообще единственно данный нам способ помыслить историю в целом и общество в целом? Или, напротив, можно преодолеть – но для этого их надо сначала идентифицировать – логические трудности, которые заложены в макроисторических построениях? Осознаем ли мы «разрешающие возможности» нашего собственного ментального аппарата? С этой точки зрения сегодня представляется насущным изучение интеллектуального опыта социальной истории 1960-х гг., тем более что у историографических перемен, происшедших с тех пор, имелись, по-видимому, не только те внешние причины, которые были связаны с социальными процессами 70–80-х гг. XX в., сделавшими наши общества «менее прозрачными» для самих себя⁶. Отчасти, по-видимому, за распад социальной истории 1960-х гг. ответственна и неспособность совладать с логическими противоречиями, выявившимися в ходе спора о классах и сословиях. Это «наследие неспособности» остается с нами до

¹ Нора П. и др. Франция-память / Пер. Д. Р. Хапаевой. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999.

² Caron F. Introduction générale // Histoire sociale ... / Pub. par C. Charle. P. 19 – 20.

³ Une crise de l'histoire ? Debat avec Gerard Noiriel. // Cahiers d'histoire.-P., 1996. - №65. - P.131 - 138. / Беседа с директором Школы высших социальных наук Ж.Нуариелем о путях развития исторической науки во Франции, 90-е гг.

⁴ Boltanski L., Thévenot L. De la justification. Paris : Gallimard, 1992.

⁵ Desrosières A. La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique. Paris : La Decouverte, 1993.

⁶ Revel J. Histoire et sciences sociales: une confrontation instable // Autrenet. 1995. №150 – 151. P. 80.

сих пор. Одна из целей нашей работы как раз и состоит в попытке проанализировать внутренние, логические причины кризиса макроисторической парадигмы¹.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 48.

Глава 1. Герменевтика и классификация

Попробуем, прежде всего, с помощью мелких формально-логических придинок «остраннить» привычную практику исторического описания социальных структур. Мы сделаем это на примере книги А. Д. Люблинской «Франция в начале XVII века», в которой содержится одно из самых подробных, систематических и компетентных описаний французского общества Старого Порядка, данных до начала массовых количественных исследований социальных структур¹.

Во французском обществе начала XVII в. А. Д. Люблинская выделяет следующие социальные группы: высшая знать, родовитое дворянство, новое дворянство, чиновничество, буржуазия, городские низы и крестьянство². Поскольку автор не дает никаких формальных определений этим терминам, мы попытаемся восстановить их значение – и понять критерии, на основании которых выделены соответствующие группы, – с помощью анализа данных этим группам характеристик.

Возьмём сначала высшую знать. Являясь частью дворянства, она, тем не менее, выступает в качестве самостоятельной категории. Аналогичный статус приписывается также родовитому и новому дворянству. Логически последовательным здесь было бы одно из двух решений: либо вообще отказаться от общей характеристики дворянства (а в идеале – и от самого термина, всегда способного ввести в такой соблазн) и рассматривать три группы дворянства как независимые категории, либо на основании «сильных» критериев объединить все дворянство в одну категорию более высокого таксономического уровня, разделив её на под группы на основании сравнительно более «слабых» критериев. Но оба эти решения были для Люблинской неприемлемы. Объединить все дворянство в одну категорию означало приблизиться к модели общества классов, жёсткости, которой позволяла избежать более дробная классификация. Но и вовсе отказаться от родового для трёх групп понятия дворянства Люблинская не решалась³ – прежде всего, конечно, потому, что это был термин изучаемой ею эпохи, но также и потому, что это означало бы слишком заметно «отклониться» от классового видения общества. **Дворянство остаётся для Люблинской экономическим классом, но одновременно – юридическим сословием и в какой-то мере «расовой» группой,** принадлежность к которой определяется происхождением. Иными словами, смягчая модель общества классов, Люблинская сохраняет возможность при случае истолковать свою классификацию в терминах этой модели. Неудивительно, что, описывая

¹ Люблинская А. Д. Франция в начале XVII века. А.: Наука, 1959.

² Люблинская А. Д. Франция в начале XVII века. А.: Наука, 1959. Гл. 2.

³ Несмотря на то, что подчеркиваемые ею различия между перечисленными группами дворянства могли склонить к такому выходу из положения, тем более что, как мы увидим, далеко не все французские дворяне, по Люблинской, обладали всеми существенными характеристиками дворянства.

дворянство как некоторую целостность, она разделяет его на отдельные категории, **избегая вопроса о точной логической квалификации этих понятий**. Но тем самым Люблинская делает шаг к логически непоследовательной таксономии¹.

Особые трудности связаны с новым дворянством. Для Люблинской оно остается дворянством, хотя ему присущи далеко не все черты, свойственные двум другим группам дворян. В частности, новое дворянство уже не является чисто феодальным, поскольку оно вовлечено в систему протокапиталистических производственных отношений. Но невозможность охарактеризовать новое дворянство как феодальное ставит под сомнение его принадлежность к категории дворянства в целом, если последнюю понимать в смысле экономического класса, а этот смысл сохраняет для Люблинской первостепенное значение. Следовательно, одно из важнейших условий членства в категории оказывается невыполненным для значительной части дворян.

Проблематично и выделение категории чиновников. При её идентификации на первое место выдвигается критерий нового типа, **критерий профессии, который ранее имел сугубо второстепенное значение**. Другие группы – дворянство (в той мере, в какой оно характеризуется как целостность), буржуазия, крестьянство – вполне могут быть определены на основании экономических и правовых критериев, т. е. представлены как классы-сословия, но чиновничество совершенно выпадает из этой логики. Еще сложнее обстоит дело со взаимоотношениями категорий чиновничества и нового дворянства. Многие новые дворяне, как подчеркивает Люблинская, были одновременно и чиновниками. Но в таком случае логический статус этих двух «перекрещивающихся» категорий оказывается радикально отличным от статуса всех остальных, «параллельных» категорий, которые логически исключают друг друга и предполагают одномерную, а не двухмерную (как перекрещивающиеся категории) модель таксономии. Таким образом, от одной категории к другой происходит смена модели таксономии в целом.

Новые трудности приходят с буржуазией. Подобно дворянству, она рассматривается как социальная группа, выделенная на основании различных критериев. Но проблема в том, что в классификации Люблинской буржуазия располагается на таксономическом уровне не дворянства в целом, а его подгрупп. Даже если отвлечься от конкретных критериев, позволяющих идентифицировать эту категорию, **термин «буржуазия» трудно отнести к видовому уровню социального словаря**. Он, очевидно, принадлежит к родовому уровню. Это замечание вполне относится и к крестьянству, а отчасти и к городским низам (особенно если эти последние рассматриваются как

¹ Эта непоследовательность проявляется и в названиях групп дворянства. Выражение «высшая знать» отсылает к представлению об иерархически расположенных и выделенных с помощью количественных критериев группах в рамках класса-сословия, который, в свою очередь, выделен на основе «сильных» качественных критериев. В рамках такой модели логичнее, чтобы после высшей знати шло среднее дворянство. Однако Люблинская предпочитает говорить о родовитом дворянстве, чтобы отчетливее противопоставить его новому дворянству. Но акцент на критерии родовитости означает, что различие между второй и третьей группами дворян отсылает к иной комбинации факторов – и вместе с тем к другой модели категории, – чем различие между первой и второй группами, выглядевшее как преимущественно количественное.

предшественники пролетариата). Следовательно, по мере того, как мы спускаемся по ступеням социальной лестницы, происходит смена таксономического уровня терминов, помещаемых на одну ступень классификации, – иными словами, допускается род категориальной ошибки¹.

Со всеми этими логическими погрешностями схема Люблинской, по-видимому, гораздо ближе к борхесовской классификации животных, чем к идеальной модели взаимоисключающих категорий, определённых на основании чётко фиксированных критериев, которые образуют логически последовательную систему и объясняют функционирование социального организма. Категории Люблинской выделены на основании разнотипных критериев, не удовлетворяют требованию необходимых и достаточных условий, отсылают к различным моделям таксономии, наконец, будучи расположены на одном уровне классификации, обозначены терминами, относящимися к разным таксономическим уровням социального словаря. И, тем не менее, классификация Люблинской отнюдь не шокирует нас. Не потому ли, что многие классификации, используемые историками, ничуть не более последовательны, и нас скандализируют скорее парадоксы, к которым приводит стремление быть слишком логичным²?

В историографии немало примеров подобных парадоксов, особенно в трудах историков критического направления начала XX в., поставивших под сомнение классические исторические теории предшествующего столетия, в частности и на основании их логической непоследовательности. Так, Фредерик Мэтланд отрицал имевшиеся в историографии теории английского манора (а имплицитно и самое существование последнего) на том основании, что этому термину невозможно дать точного юридического определения. Аналогичным образом рассуждал о средневековом городе Георг фон Белов. Жан-Ришар Блок, в юности историк французского дворянства XVI в., поставивший своей целью дать определение дворянства в терминах необходимых и достаточных условий, пришел к выводу, что не было ни одной черты в правовом статусе дворянства, которую бы разделяли все дворяне и никто кроме них³. Следует ли из этого заключать, что дворянство – миф, «ложь слова»? Обычно мы предпочитаем не доводить дело до этого вопроса, и наш здравый смысл заблаговременно направляет наши рассуждения к компромиссу между требованиями логики и чувством реальности.

Интерес спора о классах и сословиях для исследователя ментальности историков состоит, прежде всего, в том, что в ходе спора традиционная формула «молчаливого компромисса» между логикой и чувством реальности была поставлена под сомнение, и острота методологической рефлексии достигла почти невыносимого для историков уровня.

Остановимся коротко на предыстории спора о классах и сословиях. Историки XIX – начала XX в. не слишком интересовались социальными структурами. В их трудах фигурировали довольно неопределенные группы

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 51.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 52.

³ Копосов Н.Е. Высшая бюрократия во Франции XVII века. Л., 1990. С. 224.

людей¹, обозначенные терминами, унаследованными от Старого Порядка и понимавшимися в соответствии с традицией, непосредственно восходящей к предреволюционному или революционному политическому дискурсу, традицией, которая перешла затем в политизированные концепции классовой борьбы сначала историков эпохи Июльской монархии, а затем и Маркса. Главными персонажами истории классовой борьбы были дворянство, буржуазия и, отчасти, крестьянство, к которому вскоре добавился и пролетариат. Впрочем, не забывали историки и унаследованную от Старого Порядка схему трёх сословий королевства – духовенства, дворянства и третьего сословия. Именно в этих терминах дореволюционное французское общество чаще всего описывалось современниками. С некоторыми модификациями схема трёх сословий даже в XVIII в. оставалась весьма распространенной дискурсивной конвенцией, и характерно, что теоретиками классовой борьбы она была воспринята, в том, что касалось её формальной структуры, со сравнительно небольшими изменениями. Состав и имена персонажей социальной истории зачастую оставались прежними, пусть даже характеристики их значительно обновились. Конечно, всегда существовали и более дробные классификации, так что при рассказе об отдельных событиях историки имели возможность использовать более конкретные термины, но описания общества Старого Порядка в целом всегда зависели от двух структурно близких моделей – теории классов и теории сословий. Постепенное накопление эмпирического материала долгое время не мешало применению этих моделей, во многом потому, что историки избегали давать используемым ими понятиям слишком жесткие определения, предпочитая работать со смутными образами социальных групп, образами, которые основывались на компромиссе между двумя моделями.

Начало нового этапа развития социальной истории приходится на 1920–1930-е гг. и связано, прежде всего, с формированием школы «Анналов». Однако, как мы увидим ниже, в интерпретации основателей этой школы социальная история была не столько одной из «частных» историй, сколько подходом к глобальной истории (что в свою очередь побуждало рассматривать взаимоотношения между людьми как одно из проявлений свойственных той или иной эпохе ментальных установок). Дав блестящие результаты в трудах Марка Блока и Люсьена Февра, широкое понимание социальной истории позднее отошло на задний план, и её задача была переосмыслена в 1950–1960-е гг. как изучение «социальных групп, их стратификации и отношений»². Такое переосмысление в значительной степени объяснялось влиянием марксизма, особенно заметным во французской историографии в 1950-е гг. и

¹ См. ироническое замечание Р. Мунье по поводу употребления историками XIX века неопределённо-личного местоимения «он» при описании социальных движений: Mousnier R. *La plume, la faucille et le marteau*. Paris: Presses Universitaires de France, 1970. P. 226.

² Так определяют понимание историками 1960-х годов предмета социальной истории Р. Шартье и Д. Рош: Chartier R., Roche D. *Histoire sociale // La Nouvelle Histoire / Pub. par J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel*. Paris, 1978. P. 516; Labrousse C.-E. *Introduction // L'Histoire sociale: Sources et methodes: Colloque de Saint-Cloud* (1965). Paris: Presses Universitaires de France, 1967. P. 2.

стимулировавшим интерес к истории социальных групп¹. Благодаря марксизму интерпретация истории, прежде всего как истории классовой борьбы стала неизменно присутствующей во французских исторических дебатах проблемой².

Массовое увлечение марксизмом вызвало обратную реакцию ряда историков, которые раньше спокойно использовали элементы теории классов. Применительно к истории Старого Порядка наиболее показательны работы **Ролана Мунье**. Полемизируя с теорией классов, которой он предьявлял, в частности, упрёк в анахронизме, Мунье обращается к изучению социальных концепций XVII в. и приходит к выводу, что **при Старом Порядке социальный статус индивида зависел от множества факторов, но доминирующим среди них была профессия и связанное с ней достоинство, или честь, причем по поводу «иерархии достоинств» в обществе существовал широко разделенный консенсус**. Именно благодаря консенсусу реальные социальные группы выделялись, прежде всего, в соответствии с критерием достоинства, а не богатства, так что **действовали в истории XVII в. не классы, а сословия**³. Таким образом, в споре о классах и сословиях столкнулись разведённые на полярные позиции две ранее мирно уживавшиеся в рассуждениях историков модели общества⁴.

Однако **интеллектуальное своеобразие спора определялось не самими теориями, а характером аргументации, теми требованиями, которые предьявлялись к доказательствам**. В этом отношении между участниками спора существовало полное согласие, что было связано с эволюцией практики исторического исследования. 1950–1960-е гг. стали не только временем

¹ Lefebvre G. Les paysans du Nord pendant la Revolution franfaise. Paris, 1924; Idem. Etudes orleannaises. T. I. Contribution a l'etude des structures sociales a la fm du XVIIIe siecle. Paris, 1962; Labrousse C.-E. La crise de l'economie franfaise a la fin de l'Ancien Regime et au debut de la Revolution. Paris: Presses Universitaires de France, 1944.

² Применительно к истории Старого Порядка важную роль сыграл перевод на французский язык исследования Б. Ф. Поршнева «Народные восстания во Франции перед Фрондой» (Поршнева Б. Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой. М.: Изд-во АН СССР, 1948). Поршнева последовательно развивал тезис о классовой природе французского абсолютизма и доказывал, что главная причина возникновения абсолютной монархии состояла именно в обострении классовой борьбы народных масс. Историки-марксисты предложили и аналогичную интерпретацию причин Великой французской революции.

³ Mousnier R. Problemes de stratification sociale // Mousnier R., Labatut J.-P., Durand Y. Deux cahiers de la noblesse pour les Etats Ceneraux de 1649 – 1651. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. P. 9–49; Idem. Les hierarchies sociales de 1450 a nos jours. Paris: Presses Universitaires de France, 1969; Idem. Problemes de methode...; Idem. Recherches sur la stratification sociale a Paris aux XVIIe et XVIIIe siecles. Lechantillon de 1634, 1635, 1636. Paris: A. Pedone, 1975.

⁴ Конечно, это не значит, что все участники спора занимали крайние позиции. Даже сравнительно ортодоксальные марксисты Альбер Собуль и Пьер Вилар прекрасно отдавали себе отчет в комплексности социального статуса, хотя они и считали экономический критерий безусловно решающим. Так, А. Собуль писал: «Разве в конечном итоге не общественные отношения по поводу производства, то есть способ производства и отношения между классами, являются самым надёжным и самым ценным критерием при изучении социальных структур?». Патриарх «левой» французской историографии Эрнест Лабрусс пытался играть роль арбитра между Собулем и Мунье. Но хотя в собственных исследованиях Э. Лабрусса Французская революция интерпретировалась скорее в контексте долгосрочной экономической конъюнктуры, что и обеспечило ему место в пантеоне школы «Анналов», в нём, по воспоминаниям учеников, наряду с «официальным (Лабруссом. – Н. К.) историком экономики» жил как бы двойник – «старый республиканец и социалист, увлеченный классической и даже сентиментальной историей рабочего движения» – т. е. историей классовой борьбы. Поэтому в главном Лабрусс обычно оказывался гораздо ближе к Собулю, чем к Мунье. Ещё более компромиссную позицию занимали его многочисленные ученики – «группа Лабрусса», прежде всего Аделин Домар и Франсуа Фюре.

«сциентистской мечты», когда историки в очередной раз ощутили непреодолимый соблазн использовать методы точных наук, но и периодом стремительного количественного роста исторической профессии, позволявшего в невиданных ранее масштабах практиковать коллективные исследования¹. Именно с коллективными исследованиями, использующими количественные методы и подвергающими сплошной обработке новые пласты источников, связывали тогда будущее историографии, надежды на превращение истории в науку². На этом в значительной мере основывалась программа школы «Анналов», но далеко не только она. Социальная история 1950–1960-х гг. формируется именно как коллективное предприятие. И у Эрнеста Лабрусса, и у Ролана Мунье имеются «команды» учеников, которые сходятся в споре о классах и сословиях. Мэтры набрасывают им программы исследований и ждут от них доказательств своей правоты. Именно обсуждение «текущих исследований» составляет организационную рамку спора, и неудивительно, что разворачивается этот спор главным образом вокруг методологических, если не источниковедческих, вопросов.

Началом спора можно считать объявление Эрнестом Лабруссом на X Международном конгрессе исторических наук в Риме своей программы исследования буржуазии XVIII–XIX вв.³ Речь в программе шла о том, чтобы изучить серийные источники (как, например, приходские регистры и нотариальные акты) и провести массовое историко-социологическое анкетирование. Именно оно должно было дать научное доказательство теории классов. В ответ Мунье развернул аналогичную программу исследований⁴. На годы развертывания этих программ, годы их методологического продумывания как раз и приходится апогей спора о классах и сословиях, вехами которого стали коллоквиумы в Сен-Клу⁵.

Собственно, изначальная проблематика спора имела смысл, прежде всего в контексте событийной истории. То, кто действовал на подмостках истории – сословия или классы, – должно было предопределить выбор интриги. Точнее, выбор интриги предопределял состав и характеристики необходимых персонажей. Это отчасти объясняет чрезвычайную простоту изначальных вариантов столкнувшихся схем. Но по мере развертывания массовых

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 57. См., например, данные о росте числа кафедр социальных наук во французских университетах, показывающие, в особенности для истории, резкий пик, приходящийся на 1950-е гг.: В более поздних работах Февр возвращается к этой теме, утверждая, что проблема организации коллективных исследований становится центральной проблемой «ремесла историка» и что традиционный историк должен уступить место «руководителю команды». *Prophets and Patrons: The French University and the Emergence of the Social Sciences*. Cambridge (Mass.): Harvard U. P., 1973. P. 31. см. также: Rosch D. *Les historiens aujourd'hui: Remarques pour un d^ebat // Vingtieme siecle*. 1986. №12. P. 3-22.

² Febvre L. *Combats pour l'histoire*. Paris: A. Colin, 1965. P. 55–60.

³ Labrousse C.-E. *Voies nouvelles vers une histoire de la bourgeoisie occidentale aux XVIII-e et XIX-e siecles // Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche (Roma, 1955)*. Vol. 4. Firenze, 1955. P. 365.

⁴ Среди исследований, написанных «в духе Лабрусса», укажем (кроме цитированных исследований А. Домар и Ф. Фюре) следующие: Deyon P. *Amiens capitale provinciale: Etude sur la societe urbaine au XVIIe siecle*. Paris; La Haye: Mouton, 1969; Garden M. *Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siecle*. Paris: Les Belles Lettres, 1969; Durand Y. *Les fermiers generaux au XVIIIe siecle*. Paris: Presses Universitaires de France, 1971; Labatut J.-P. *Les dues et pairs de France au XVIIe siecle*. Paris: Presses Universitaires de France, 1972.

⁵ *L'Histoire sociale...; Ordres et classes: Colloque d'histoire sociale (Saint-Cloud, 1967)* / Pub. par D. Rosch. Paris; La Haye: Mouton, 1973.

статистических исследований не просто становилось очевидным, что эта простота обманчива: происходило постепенное вычленение конструирования персонажей исторической драмы как самостоятельной исследовательской задачи, более или менее автономной по отношению к первоначальной проблематике событийной истории. Иными словами, происходила автономизация статического кадра. Спор о классах и сословиях превращался в «закрытый спор», повинующийся почти исключительно своей собственной внутренней логике, хотя изначальный интерес спорящих к социальным структурам был подсказан необходимостью объяснить происхождение абсолютной монархии или Французской революции. Но дискуссия очень быстро сконцентрировалась вокруг проблем метода, и первоначальные мотивы были забыты.

В сердце социальной истории 1960-х гг. находилась проблема синтетической социальной иерархии. Стремление реконструировать эту иерархию разделяли спорящие, несмотря на различие их идеологических позиций, что и определило интеллектуальное лицо спора о классах и сословиях. Задача описать «подлинную социальную иерархию Старой Франции» стала для спорящих самоцелью. Точнее, в интеллектуальном контексте эпохи, особенности стиля, мысли которой представлены полнее всего структурализмом, характеристика социальной структуры Старого Порядка позволяла немедленно перейти к «последним вопросам» о «природе» общества, которые определяли проблемный горизонт социальных наук, перескочив этап включения полученной модели в дискурс глобальной истории. Статический кадр воспринимался почти как самодостаточный, тем более что лабруссовская концепция «истории трех уровней» (вне рамок которой подобный спор был вообще едва ли возможен)¹ предполагала столь длительную эволюцию структур, что необходимость принимать её в расчет была достаточно вторичной для анализа самих структур (хотя это не значит, что она вообще не повлияла на характер спора).

Именно по мере погружения в конструирование персонажей социальной истории становилось очевидным, что в обществе Старого Порядка сосуществовали различные принципы стратификации, поскольку социальное положение людей зависело от целого ряда факторов². Теоретически с того

¹ Речь идет об уровнях экономической истории, социальной истории и истории ментальностей. Центральный элемент этой модели – «автономия социального» – был необходимой предпосылкой стремления описать социальное в его собственных терминах, с помощью нередуцируемых к явлениям других уровней критериев. О роли концепции трех уровней истории для спора о классах и сословиях см.: Мы вернемся к этому вопросу в гл. 4.

² Множественность критериев социальной стратификации признавали решительно все участники спора о классах и сословиях. «Сословие и класс, – говорил Э. Лабрусс, – определяются не на основании одного критерия, но на основании многих критериев, более или менее аналогичных, но по-разному сгруппированных... Ни сословие, ни класс не сводятся к богатству, происхождению, функциям, но и сословие, и класс основываются одновременно на богатстве, семейных связях, функциях». По словам А. Домар, «необходимо (учитывать. – Н. К.) множество классификаций: таков общий принцип» В совместной с Ф. Фюре книге она уточняет это положение: «Профессия, достоинство и уровень богатства являются тремя основными для описания социальных структур элементами» Эту же мысль А. Домар проводит в собственном исследовании о французской буржуазии XIX в.: «Чтобы описать различные социальные группы, нужно увеличить число критериев и учитывать профессию и достоинство состояние и доходы, размер ценз., уровень и стиль жизни, которые далеко не автоматически определяются предыдущими факторами». Согласно Р. Мунье,

момента, когда обнаруживается многомерность социального статуса индивидов и, следовательно, **приходится говорить о сосуществовании множества различных иерархий**, открывается несколько логических возможностей. Эти иерархии могут либо 1) никак не пересекаться между собой, либо 2) совпадать друг с другом, либо 3) взаимодействовать таким образом, чтобы имело смысл говорить об единой или синтетической иерархии, либо, наконец, 4) образовывать многомерное пространство, не только не сводимое к какой-либо одной составляющей, но и не проецируемое на «результатирующее» измерение синтетической иерархии.

Собственно, логическая сторона спора о классах и сословиях в значительной мере как раз и состояла в выборе между тремя последними вариантами (поскольку первый вариант, конечно, неправдоподобен). Что касается второго варианта, то он чрезвычайно соблазнял спорящих, поскольку позволял объяснить, как учитывающая множественность факторов социального статуса «подлинная социальная иерархия» может оказаться либо иерархией классов, либо иерархией сословий. Однако исследования убеждали, что, в особенности для Старого Порядка, иерархии, построенные на основании различных признаков, демонстрировали очевидную тенденцию к несовпадению между собой. Историки постепенно обнаруживали, что их реальный выбор мог быть только между третьим и четвертым вариантами. На исходе спора о классах и сословиях модель многомерной социальной структуры позволила обойти те острые проблемы, которые возникали на пути поиска синтетической социальной иерархии. Именно с того момента, когда была занята такая позиция¹, исчезла логическая рамка, создававшая единство спора о классах и сословиях. Но социальные историки 1960-х гг. держались за создание модели синтетической социальной иерархии. К причинам этого мы ещё вернемся,

«экономическая стратификация – это одна из стратификации, но она не обязательно является социальной стратификацией изучаемого Вами общества. Социальная стратификация может быть совсем иной, она может основываться на оценке достоинства, чести, положения. Иерархия положений – это другая форма стратификации, но и она сама по себе может очень легко оказаться отличной от социальной стратификации, поскольку её надо комбинировать с другими вещами. Существуют еще явления, которые можно обозначить словом «власть»... Они дают третий тип социальной стратификации, но и он тоже не будет, возможно, социальной стратификацией» Всё характерно в этой цитате – ощущение множественности типов стратификации и вместе с тем напряженный поиск некоторой абсолютной, «социальной» стратификации, неспособность точно сказать, является ли иерархия достоинств такой «настоящей» стратификацией или эту последнюю все же надо представлять как некоторый синтез частичных стратификации. Характерны и колебания в употреблении выражения «социальная иерархия» – с одной стороны, оно относится к частичным иерархиям (например, к иерархии власти), поскольку они характеризуют строение общества и, следовательно, могут быть названы образованным от слова «общество» прилагательным, с другой – им обозначается мистическая искомая иерархия, так что «социальная» оказывается синонимом «подлинной». Согласно А. Соболю, «когда речь идет о столь сложно структурированных обществах, как общество Старого Порядка, необходимо, естественно, прибегать к различным критериям». Впрочем, несмотря даже на то, что общество Старого Порядка было, по Соболю, «одновременно и обществом классов, и обществом сословий», он утверждал, что «сословие – это лишь юридическая форма, лишь видимость, а социальная реальность – это класс» Последнюю формулу – «классификация по сословиям – это юридическая классификация» – готов был, впрочем, принять и Лабрусс, что, казалось бы, плохо совместимо с представлением о множественности критериев стратификации, поскольку на языке Лабрусса «юридическое» в данном случае означало «фиктивное». Не случайна мгновенная реакция Мунье на эту реплику Лабрусса: «Нет! Вовсе нет! В XVI и XVII веках классификация по сословиям была социальной реальностью».

¹ Perrot J.-C. Rapports sociaux et villes au XVIIIe siècle // Ordres et P. 141–166; Chaussinant-Nogaret G. La noblesse au XVIIIe siècle: De la feodalité aux Lumières. Paris: Hachette, 1976.

сейчас отметим только, что здесь сказывалась инерция первоначальной постановки вопроса. У спорщиков оставалась надежда, что найденная синтетическая иерархия будет отвечать либо модели общества классов, либо модели общества сословий. Иными словами, они колебались между вторым и третьим вариантами до тех пор, пока возврат ко второму не стал восприниматься как слишком очевидное упрощение, а логически последовательно реализовать третий вариант не удалось. В известном смысле, именно в этом и заключалось дело – **социальная история 1960-х гг. не смогла реконструировать синтетическую социальную иерархию**¹.

Сложность подобной реконструкции была в значительной мере эмпирического происхождения. Историки хотели не просто декларировать наличие во французском обществе Старого Порядка такой синтетической иерархии, что было достаточно несложным делом, но в соответствии с научным методом эмпирически реконструировать её. Иными словами, **они столкнулись с задачей сведения основанной на многообразии факторов социального статуса многомерной модели общества к единой синтетической иерархии. Именно логическая трудность такого предприятия оказалась непосильной для социальной истории и внутренне способствовала её распаду**. В чем состоит трудность, нам поможет понять конкретный пример.

Логические ошибки нередко красноречивее всего свидетельствуют о том, как работает наше мышление. Пример такой логической ошибки мы находим в книге Франсуа Блюша и Жана-Франсуа Солнона «Подлинная социальная иерархия Древней Франции»². Книга была опубликована уже тогда, когда спор о классах и сословиях стал историографическим преданием, а интересы исследователей переместились от социальной к социокультурной истории. Тем не менее, по своей проблематике и стилю она в полной мере примыкает к работам 1960-х гг. Характерна, в частности, её претензия разрешить, наконец, те методологические трудности, которые были связаны с констатацией множества иерархий и стремлением найти их результирующую. С точки зрения Блюша и Солнона, ни теория классов, ни теория сословий не отражают искомой социальной иерархии, поскольку эта последняя, синтезируя частичные иерархии, основанные на таких критериях, как достоинство, богатство, власть и так далее, должна дать некоторое новое качество. Иными словами, Блюш и Солнон последовательно отстаивают третий из выделенных выше вариантов соотношения частичных иерархий.

Именно отражением синтетической, т. е. подлинной социальной иерархии Блюш и Солнон считают Тариф первой капитации (1695) – первого в истории Франции всеобщего подоходного налога. В этом документе **все подданные Короля-Солнца разделены на 569 «рангов», которые затем были сгруппированы в 22 «класса»**. Каждому классу соответствовала определенная ставка налога. Согласно Блюшу и Солнону, эта группировка происходила не на основании оценки доходов, как следовало бы ожидать с учетом фискального

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 61.

² Bluche F, Solnon J.-F. La véritable hiérarchie sociale de l'Ancienne France: Le Tarif de la première capitation (1695). Geneve: Droz, 1983.

характера документа, и уж тем более никак не в соответствии с сословным делением общества. Нарушением всех принятых сословных различий был каждый класс капитации. В одном классе могли объединяться, например, такие «ранги», как герцоги и пэры, советники королевского финансового совета и генеральные откупщики финансов (второй класс) или дворяне – владельцы замков, «буржуа второстепенных городов» и богатые фермеры (пятнадцатый класс). Первый подоходный налог являлся, с точки зрения Блюша и Солнона, именно налогом с «синтетического» социального статуса, а не с «частичного» экономического положения, так что в итоге Тариф даёт нам достаточно точную картину синтетической социальной иерархии.

Мы вернемся к анализу этого документа в гл. 3. Сейчас же нас интересует лишь следующее замечание Блюша и Солнона: ценность Тарифа для историка заключается не только в том, что документ дает целостную картину французского общества, но и в том, что его данные можно использовать для точного вычисления индивидуальных рангов. В самом деле, совмещение упомянутых в документе должностей было самым обычным делом. Например, герцог мог быть одновременно маршалом Франции, что повышало его социальный ранг. Таким образом, чтобы вычислить индивидуальные ранги, необходимо выработать правила, позволяющие за каждое совмещение добавлять определенное количество очков к базовому количеству очков, соответствующему наиболее высокой из занимаемых индивидом позиций.

Конечно, остается неясным, что такого рода вычисления дают для понимания индивидуальных случаев, которое обычно страдает от формализации. Напротив, для конструирования социальной иерархии подобная процедура, формализованная или нет, представляется необходимой. Парадоксальным образом Блюш и Солнон не заметили, что, согласно их собственному предположению, именно она лежала в основе Тарифа капитации. В самом деле, если принадлежать к определенному классу Тарифа означало иметь соответствующий синтетический социальный статус, то, например, герцоги, попали во второй класс не только на основании их герцогского титула, но также и потому, что они в большинстве своем располагали крупными состояниями, имели высшие воинские звания, занимали ответственные или хотя бы почетные должности, могли похвастаться знатным происхождением и престижными фамильными связями и т. д. Именно взятые вместе все эти факторы позволяли «типичному герцогу» претендовать на второй класс в социальной иерархии. Таким образом, слова Тарифа обозначают синтетические статусы, хотя в других контекстах те же самые слова могут обозначать частичные статусы. Слово «герцог» может отсылать и к герцогскому титулу, и к полному описанию социального положения «среднего» герцога, и что оно означает – зависит от контекста.

Именно эта двойственная семантическая структура социальных терминов явилась причиной совершенной Блюшем и Солноном логической ошибки. Социальные термины подсказывают нам не столько идею синтетической социальной иерархии, с которой они, худо ли, хорошо ли, могут быть соотнесены a posteriori. Скорее, они подсказывают нам аналитические

значения слов. В принципе, нет ничего невозможного в том, чтобы вычислять индивидуальные ранги в соответствии с рекомендациями Блюша и Солнона¹. Если слово «герцог» понимать как дворянский титул, к положенным герцогу за его титул баллам можно приплюсовать баллы за воинское звание, принадлежность к знатному роду, богатство и пр. Такие подсчеты становятся логически невозможными с того момента, когда в них используются оценки, данные Тарифом, который изменяет смысл использованных в нем слов, так что оценки относятся уже не к частичным, но к синтетическим социальным статусам.

Итак, если считать, что Тариф отражает синтетическую социальную иерархию, его термины относятся к синтетическим социальным статусам. Но если мы подсчитываем индивидуальные «ранги», как предлагают Блюш и Солнон, то мы используем эти же термины в аналитическом смысле. Иначе говоря, одни и те же слова отсылают либо к полному описанию объекта, либо к ограниченному количеству коннотаций, связанных с его именем. Но поскольку это – одни и те же слова, ничего странного нет в том, что мы переключаемся с одного способа их использования на другой, даже не замечая этого. Иначе логическая ошибка такого типа была бы невозможна.

За конфликтом спонтанного понимания социальных терминов и формы Тарифа «эффект Блюша-Солнона» позволяет заметить столкновение двух способов мыслить социальные группы – описания, направляемого словами, и классификации, имеющей целью произвести тариф. Описание и классификация в равной мере конститутивны для наших репрезентаций социальных структур, хотя пропорция, в которой они сочетаются в интеллектуальной практике той или иной эпохи или исторической школы, может весьма значительно варьировать. Но главное в том, что они нераздельны в мысли. «Классификация и номинация – два аспекта фиксации (anchoring) репрезентаций», – писал С. Московичи². С одной стороны, целостности, сформированные с помощью классификации, должны находить свое место в историческом дискурсе, не говоря уже о том, что обычно мы классифицируем лингвистически кодированные или хотя бы потенциально кодируемые предметы. С другой стороны, поскольку опыт эмпирической классификации является одним из базовых элементов нашего опыта мира и, следовательно, наших критериев возможного, любое описание, которое слишком очевидно будет противоречить этим критериям, покажется неправдоподобным. Даже когда мышление следует в основном одной из этих логик, вторая неизбежно присутствует на горизонте сознания и всегда может быть актуализирована. Но в «состоянии покоя» наш здравый смысл прекрасно умеет избегать слишком острого конфликта двух логик или хотя бы пренебрегать им. Напротив, если их обычное равновесие оказывается нарушенным, непоследовательность мысли может превысить

¹ Такой метод предлагается в ряде социологических исследований и, в частности, в книге французского социолога Эмиля Пена «Социальные классы», приблизительно современной и чрезвычайно близкой по духу спору историков о классах и сословиях (Pin E. Les classes sociales. Paris, 1962. P. 28).

² Moscovici S. The Phenomenon of Social Representations // Social Representations / Ed. by R. M. Farr, S. Moscovici. Cambridge, Paris: Cambridge U. P.: Maison des Sciences de l'Homme, 1984. P. 35.

допустимый уровень или, точнее, быть обнаруженной. Это обычно провоцирует конфликт логик и вопрошание о принципах рассуждения. Нечто подобное именно и произошло в 1960-е гг.

Оригинальность и самое возникновение социальной истории 1960-х гг. связаны, по-видимому, с переменами, происшедшими в соотношении классификации и описания. Реконструкция социальных структур в историографии XIX – первой половины XX вв. зависела, прежде всего, от дискурсивных, точнее – от дескриптивных механизмов. Напротив, 1960-е гг. были отмечены некоторой переориентацией исторической мысли, в большей мере опиравшейся теперь на процедуры эмпирической классификации. Следует в полной мере оценить новизну упомянутой программы социальной истории Эрнеста Лабрусса³, который стремился связать историческое исследование с интеллектуальным опытом эмпирической социологии и статистических методов, опытом, который в этот период превращался в важную составляющую стиля мысли, свойственного исследователям в области социальных наук⁴. Речь шла не просто о том, чтобы поставить новые количественные методы на службу историческому исследованию: эти методы влекли за собой модификации в способе полагания объекта и постановки задачи социальной истории.

Социальная история 1960-х гг. основывалась на глубоко статистическом видении социального. Конечно, и самое рождение этого понятия было тесно связано со становлением «статистического разума», но до 1960-х гг. интеллектуальный опыт статистики не был в полной мере востребован социальной историей. Напротив, в 1960-е гг. ожидалось, что историки дадут описание социальных структур, основанное на статистической обработке серийных источников. Дебаты в Сен-Клу проникнуты пафосом количественной истории⁵. Неслучайно в это время слово «модель» постоянно выходит из-под пера историков. Но модель должна была быть получена именно методом эмпирической классификации.

Лишь затем она подлежала описанию. Когда Пьер Вилар упрекает Эрнеста Лабрусса за отсутствие в его программном докладе на Римском конгрессе определения буржуазии, Лабрусс отвечает: сначала надо эмпирически получить социальные группы, а потом смотреть, соответствуют

³ Labrousse C.-E. Voies nouvelles ... Позднее на коллоквиуме в Сен-Клу Лабрусс подчеркивал: «Новая социальная история развивается в контакте с обновленной экономической историей и переживающей стремительный подъём социологией» (Labrousse C.-E. Introduction // L'Histoire sociale: Sources et methodes: Colloque de Saint-Cloud (1965. Paris: Presses Universitaires de France, 1967. P. 4). Следует подчеркнуть, что под обновленной экономической историей во Франции 1960-х гг. имелись в виду, прежде всего работы Ж. Маржевски, представлявшие собой наиболее последовательную попытку статистического подхода к экономике.

⁴ Влияние социальной статистики и структурной социологии на лабруссовский проект социальной истории подчеркивал, в частности, П. Леон (Leon P. Histoire économique et histoire sociale en France: Problèmes et perspectives // Mélanges en honneur de Fernand Braudel. Vol. 1. Toulouse: Privat, 1973. P. 306).

⁵ «С научной точки зрения существует только количественная социальная история», – пишут А. Домар и Ф. Фюре (Daumard A., Furet F. Méthodes de l'histoire sociale... P. 676). «Статистическая обработка представляет собой основной метод изучения социальных структур», – вторит им А. Собуль, подчеркивая необходимость и возможность «преодолеть традиционный описательный анализ с помощью систематического использования количественных методов» (Soboule A. Description et mesure ... P. 18, 31).

ли они теоретически постулируемым классам⁶. **Конструирование модели должно предшествовать наименованию. Моделирование получило, таким образом, определенную автономию в умственной работе историка.** Оно могло быть теперь противопоставлено описанию. Отсюда – обострение их до тех пор сглаженного конфликта. Ранее, находясь на горизонте сознания, логика эмпирического упорядочения могла лишь несколько модифицировать логику описания, влияя на критерии правдоподобия. **Теперь же, когда моделирование не просто обрело самостоятельность, но и было особенно высоко оценено как гарант научности социальной истории, конфликт двух процедур вышел на поверхность. С ним приходилось иметь дело, что и привело к резкому оживлению методологической рефлексии⁷.** Поэтому можно сказать, что **социальная история 1960-х гг. родилась в результате резкого вторжения статистического моделирования в преимущественно дискурсивную практику традиционной социальной истории.**

Рассмотрим теперь эти две процедуры более внимательно. Начнем с описаний. Прежде всего, отметим, что они основываются главным образом на предшествующих описаниях – как на полных, так и на сокращённых. Таким образом, речь **идёт об интерпретативной, следовательно, герменевтической операции.** Роль традиции очевидна в этой преимственности формы – историк работает с данными, уже предфигурированными дескриптивными механизмами, подобными тем, которые структурируют его собственную мысль.

⁶ Atti del IX Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Roma, 1955. Roma, 1957. P. 528–530. В том же смысле высказывалась и А. Домар в фундаментальном исследовании о буржуазии XIX в.: «Мы не можем исходить из определения буржуазии, поскольку, напротив, мы ставим целью уточнить содержание этого понятия» (Daumard A., *La bourgeoisie parisienne ...* P. 3, 30). Впрочем, иногда о модели говорилось как о некотором предварительном описании, составленном до начала количественного исследования, иными словами, как о рабочей гипотезе, что отражало колебания исследователей, не решавшихся в полной мере принять логику эмпирического упорядочения. Характерно, что принцип «модель до количественного исследования» отстаивали преимущественно исследователи, занимавшие в споре крайние позиции, иными словами, более других рассчитывающие на то, что искомая социальная иерархия может в основном совпасть либо с иерархией классов, либо с иерархией сословий. «Считать – конечно, считать надо. Но прежде хорошо бы понять, что мы будем считать», – говорил Р. Мунье. С его точки зрения, «прежде всего, следовало бы определить, каков принцип организации общества. И какие основные социальные группы образуются в социальной стратификации данного общества в результате действия этого принципа» (Mousnier R. *Intervention dans la discussion // L'Histoire sociale: Sources et methodes: Colloque de Saint-Cloud* (1965. Paris: Presses Universitaires de France, 1967 ... P. 27). Со своей стороны, А. Собуль говорил об «ограничениях социальной истории, которая хотела бы стать чисто количественной», и подчеркивал: «Считать надо, но только считать недостаточно». Статистические методы, по Собулю, «действительны только при условии, что они опираются на ясно сформулированные базовые понятия». «Количественные уточнения должны идти рука об руку с описательным анализом» (Soboule A. *Description et mesure ...* P. 21, 18, 20). В обоих случаях критика более или менее открыто была направлена, прежде всего, против А. Домар, которая, впрочем, и сама соглашалась, что «количественные методы – не панацея» (Daumard A. *Intervention dans la discussion // L'Histoire sociale ...* P. 31). Такое согласие в отношении ограничений количественных методов, соседствовавшее с энтузиазмом по их поводу, не должно вводить в заблуждение. Оно диктовалось прежде здравым осознанием практической и интуитивным ощущением логической невозможности реализовать идеал эмпирической группировки.

⁷ Участники дебатов в Сен-Клу прекрасно осознавали значение этого конфликта. Неслучайно первым докладом на коллоквиуме 1965 г. был поставлен доклад А. Собуля под названием «Описание и измерение в социальной истории». В нем Собуль рисовал эволюцию социальной истории именно как переход от дескриптивных к количественным методам анализа социальных структур (Soboule A. *Description et mesure ...*). Именно вокруг проблем, порожденных осознанием этого конфликта, и прежде всего вокруг различных возможностей сочетания качественного и количественного анализов, в значительной мере и велись споры в Сен-Клу. Однако разговор шел на чисто прагматическом уровне, и вопрос о логической совместимости «описания и измерения» внимания не привлекал.

Далее, описание социальной структуры имеет целью представить общество разделенным на социальные группы. Так, во всяком случае, понимала свою задачу социальная история 1960-х гг., которая стремилась идентифицировать и соотнести между собой социальные группы того или иного общества.

С идентификацией, однако, тесно связано присвоение имени – номинация. Можно ли идентифицировать, не присваивая имени, например, с помощью полного перечня свойств группы? На первый взгляд, да, но этот взгляд обманчив. Дело не просто в том, что дискурс, избегающий сокращенных или кодированных описаний, будет невнятным и непомерно громоздким. Дело, прежде всего во внутренних условиях идентификации. Объект является для нас чем-то большим, чем простой суммой его качеств. Поэтому идентификация не может быть сведена к распознаванию этих качеств, она требует восприятия объекта как такового, что достигается с помощью внутреннего деистического акта, внешним выражением которого, по-видимому, и является номинация. Чтобы описание «держалось», следует зафиксировать в сознании когнитивную точку, к которой оно могло бы прикрепиться. Если описание соответствует распознаванию черт, номинация представляется лингвистическим выражением внутреннего деистического акта, фиксации когнитивной точки. Это – две неразрывно связанные между собой стороны мышления. Поэтому психологически описание без присвоения имени не является полным. Можно, следовательно, сказать, что наименование социальных групп – необходимый этап описания социальной структуры.

На практике историки редко испытывают неудобство в связи с необходимостью называть группы, а если такое случается, то, скорее в силу отсутствия подходящего имени, нежели из принципиального нежелания называть. Если имён не хватает – их можно и придумать⁸, хотя, конечно, это может показаться экстравагантным. Но, по-видимому, за редким исключением, присвоение имени осуществляется не *a posteriori*, когда группа уже идентифицирована, а описание её составлено. Напротив, **номинация предшествует описанию и направляет его.** Чтобы – и прежде чем – стать текстом, описание должно сформироваться в сознании историка (если не в деталях своего языкового воплощения, то, по крайней мере, в своих основных чертах, в том числе и в структуре). Информация, почерпнутая из предыдущих описаний, должна быть подвергнута критике, отбору, упорядочению. В процессе превращения в описание эта информация организуется вокруг имен социальных групп (которые мы и будем в дальнейшем называть социальными терминами), что и естественно, поскольку именно так она уже организована в

⁸ Так, Джордж Хапперт предпочитал называть выделенную им как особый социальный слой группу «благородных людей», т. е. находившихся в процессе аноблирования по земле или по должностям буржуа, главным отличительным признаком которых являлась, по его мнению, приверженность к гуманистическому идеалу человека, английским термином «джентри» не столько потому, что он усматривал сходство этой группы с соответствующим социальным слоем английского общества, сколько потому, что все имевшиеся в его распоряжении термины французского происхождения отсылали к частичным критериям формирования этой группы и тем самым, по мнению Хапперта, вводили в заблуждение относительно принципов её возникновения как особой, прежде всего культурной, среды. Автор этих строк в свое время, также не найдя в историческом словаре подходящего термина, обозначал приблизительно тот же социальный слой ещё более условным термином «группа В» (Копосов Н. Е. Высшая бюрократия... С. 105).

большинстве предшествующих описаний. Таким образом, именно семантическая структура социальных терминов направляет и формирует описания социальных групп, названных соответствующими именами. Поэтому можно сказать, что описание социальных структур есть развертывание значений и, следовательно, герменевтика социальных терминов. Именно от логической структуры социальных терминов зависит логика социальных описаний.

Мы оказались перед проблемой социальной терминологии – номенклатуры, как говорил Марк Блок. Эта номенклатура, как известно, ни в чём не напоминает язык сциентистской мечты, язык всеми признанных и имеющих однозначное и точно определённое содержание символов⁹. Скорее, слова истории напоминают слова прошлого, к которым непосредственно восходит их родословная. Противопоставлять эти два словаря означает пренебрегать тем капитальным фактом, что историк находится внутри живой традиции языка¹⁰. Но и претендующие на научное (для истории, прежде всего – социологическое) происхождение термины исторического словаря также имеют свою историю, которая далеко выходит за пределы «научной традиции», связана с общей историей идей и, следовательно, обычно бывает никак не менее запутанной, чем история слов прошлого. Именно из этой разнородной смеси, отражающей разнообразие исторических эпох, языковых традиций, стилей мысли, символических конфликтов и проектов социальных преобразований, историк берет имена, которые он присваивает социальным группам и вокруг которых организует их описания.

Однако историк имеет дело не только с социальными терминами. Ведь только часть текстов, которые он использует для описания социальной структуры, касаются этой социальной структуры или какой-либо социальной группы в целом. Именно в таких описаниях информация организуется вокруг

⁹ Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1973. С. 86–101. Существует анекдот о том, как в беседе с известным венгерским историком Ласло Маккаи Фернан Бродель сказал: «Я почти во всем с вами согласен, но, пожалуйста, не называйте то, о чём мы говорим, феодализмом». Маккаи ответил: «Давайте называть это кускусом». И спор о кускусе продолжался еще два часа, благо факт переименования не мог сразу зачеркнуть всю сумму коннотаций, связанных с понятием феодализма и неизбежно структурирующих любую дискуссию.

¹⁰ Gadamer H.-G. Truth and Method. New York: Seabury Press, 1975. Между тем, противопоставление этих двух словарей было характерной чертой социальной истории 1960-х гг. (подчеркнем, однако, что даже в рамках такого противопоставления обращение к изучению исторической лексики было крупным достижением в условиях, когда господствующая позиция пренебрегала ролью языка в истории). Так, французские медиевисты – авторы чрезвычайно интересного проекта «исторического изучения социального словаря западного средневековья» писали: «Не следует смешивать интеллектуальный инструментарий изучаемой современным историком эпохи и используемый им научный инструментарий. Необходимо изучать и анализировать первый, определять и обосновывать второй. Всякое историческое исследование нуждается и в том и в другом, но должно учитывать их различную природу». Из дальнейшего следует, что под «ментальным инструментарием» имеется в виду, прежде всего именно словарь (Batany J., Contamine P., Guenée B., Le Goff J. Plan pour l'étude historique du vocabulaire sociale de l'Occident medievale // Ordres et classes ... P. 87). Спорить с тем, что необходимо различать мышление и словарь исследователей и мышление и словарь субъектов истории, трудно, но вполне можно усомниться в том, что это действительно явления разной природы, два разных «сознания», подходить к которым надо по-разному: одно (чужое) – «анализировать», другое (свое) – «оправдывать». На наш взгляд, «принцип симметрии» применим здесь не в меньшей мере, чем при социологическом анализе добившихся признания и отвергнутых научных теорий. Асимметричный подход к языку исследователей и субъектов социальной жизни, в высшей степени свойственный историографии, в равной мере характерен и для других социальных наук, например, антропологии и социологии.

социальных терминов. Пока историк работает с историографией, обычно так дело и обстоит. Но для источников ситуация усложняется. Возьмем такие источники, как законодательные тексты, юридические трактаты, указы сословий или административную переписку – классические источники социальной истории XIX – первой половины XX в., которыми, впрочем, отнюдь не пренебрегали и в эпоху спора о классах и сословиях. Когда «юрисконсульт» размышляет об аноблировании по должностям или интендант пишет доклад о состоянии торговли в его провинции, информация, которую получает историк социальных структур, касается дворян или купцов во множественном числе. Впрочем, даже и в таких текстах порой упоминаются индивидуальные случаи.

Однако есть другие источники, которые сообщают нам почти исключительно об индивидах. Это, прежде всего нотариальные документы – излюбленный источник социальной истории 1960-х гг. Не будет преувеличением сказать, что если бы не архивы нотариусов, не было бы и спора о классах и сословиях. Ведь **задача социальной истории состояла именно в том, чтобы сконструировать модель общества Старого Порядка на основе нотариальных документов**. Но в нотариальных источниках индивиды обозначаются одновременно их собственными именами и социальными терминами. «Такой-то, благородный человек, советник Парижского парламента, сеньор таких-то сеньорий», – так описываются индивиды в брачных контрактах или посмертных описях имущества. Под именами, какого типа фигурируют они затем в рассуждениях историков? Первым побуждением историка обычно, оказывается, отказаться от имен собственных в пользу имен социальных групп. **Разве не то, что типично, интересует в первую очередь историка¹¹**? Но очень скоро он замечает, что упоминаемые в источниках социальные категории не просто слишком многочисленны – они пересекаются без всякой очевидной системы, поскольку разные социальные термины часто соответствуют одному имени собственному. Накопление таких случаев довольно быстро приводит к радикальной перемене в принципах кодирования: информация начинает организовываться вокруг имен собственных.

Конечно, и до начала «нотариальной эры» в историографии часть информации кодировалась таким образом. Историки всегда, пользуясь разными источниками, умели собирать порой весьма обширные сведения об отдельных индивидах, необходимые им, в том числе и потому, что эти индивиды в их глазах служили примерами отдельных социальных типов¹². Но в рассуждениях, руководимых логикой интерпретации социальных терминов, информация об индивидах имеет своеобразный семантический статус. Она ментально помещается под знак одного или нескольких социальных терминов, к которым она относится, как бы отделяясь от собственного имени индивида. Впрочем, это отделение никогда не бывает окончательным, так что имя собственное остается

¹¹ В этом отношении социальная история XX в. далеко ушла от историзма XIX в., находившего специфику «наук о духе» именно в интересе к индивидуальному.

¹² Так, большое количество исторических персонажей было известно благодаря исследованиям эрудитов XVII–XIX вв., которые оставили ценные биографические и генеалогические словари, содержащие данные, важные для социальной истории и широко использовавшиеся ею в 1960-е гг., когда были начаты количественные исследования (Копосов Н. Е. Высшая бюрократия... С. 6).

весьма сильным «центром притяжения» информации, что и объясняет исключительную роль индивидуальных случаев для «фальсификации» описаний, основанных на интерпретации имен социальных групп. Именно в сопротивляемости имен собственных герменевтике социальных терминов лежит их потенциальная способность высвободиться из сферы дескриптивного рассуждения. Но для того, чтобы такое высвобождение состоялось, недостаточно иметь определенное количество индивидуальных случаев. **Необходимо, чтобы произошла перемена ментальной установки, которая позволила бы сконцентрировать внимание на индивидуальных случаях и помыслить их как подлежащее классификации множество**¹³.

Именно подобная перемена дала рождение социальной истории 1960-х гг. Массовые разработки нотариальных архивов предоставили в распоряжение историков изобильную и однородную информацию об индивидах, в то время как новое видение социального, распространенное благодаря успехам эмпирической социологии и статистических методов, способствовало переориентации сознания в сторону индивидуальных случаев. **Начиная с этого момента, новая социальная история, стремившаяся распространить на прошлое статистические методы эмпирической социологии, должна была не только снабдить себя новыми источниками, но и противопоставить логике социальных терминов, на которой основывались традиционные описания обществ, другую логику – логику имен собственных, которая до сих пор оставалась на горизонте сознания, не вмешиваясь непосредственно в размышления историков (кроме как в качестве инструмента фальсификации описаний), а лишь воздействуя на их критерии возможного.**

Общий интеллектуальный климат 1960-х гг. как нельзя более способствовал валоризации статистических методов, сопровождавшейся предостережением против «лжи слов», слишком связанных с идеологиями, чтобы отражать социальную реальность. Классификации социального, закреплённые в языке, вызывали подозрение. Считалось необходимым абстрагироваться от слов, чтобы лучше установить факты. **Социальная реальность, которая должна была стать подлинным предметом истории, как бы противопоставлялась словам. Она представлялась вещью грубой и осязаемой, и метафоры «игры в кубики» (т. е. конструирования «подлинных социальных групп» путем эмпирического комбинирования социoproфессиональных категорий) или реконструкции исследователем здания общества из кирпичиков социальных групп отражают сильную материалистическую чувственность, свойственную научному воображению эпохи**¹⁴.

Впрочем, сколь бы осязаемыми они ни были, социальные группы

¹³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 72 – 73.

¹⁴ Метафора «игры в кубики» принадлежит Э. Лабруссю, метафора «кирпичиков» – Ж. Жаккару (Labrousse С.-Е. Intervention dans la discussion // Ibid. ... P. 529; Jacqart J. Les sources modern: le XVI-e siècle // L'histoire sociale ... P. 85). Часто говорили также о «социальном здании». По-видимому, такого рода «строительные» метафоры могут рассматриваться как естественное проявление умственной установки на конструктивистский подход к истории (и вообще к предмету познания). В сущности, сама по себе конструктивистская гипотеза, о чем говорит уже этимология слова «конструкция», представляет собой эксплицирование строительства как «операционной метафоры» для эпистемологии.

воспринимались как научные абстракции, как сконструированные исследователем исторические факты. Характерно, что даже выражавшие интуицию «тяжелой реальности» общества строительные метафоры были направлены не столько на социальные группы сами по себе, сколько на те аналитические категории, в сети которых историки хотели поймать социальную реальность. «Радиация» этой последней оказывалась, следовательно, достаточно сильной, чтобы реифицировать даже интеллектуальные леса, возведенные исследователем для конструирования социального здания. **Вместе с тем научные абстракции казались более важными и в определенном смысле более реальными, чем предсуществующие и наблюдаемые факты, собирать которые ставила своей задачей позитивистская историография.** Искомая реальность социального должна была быть дана сознанию иначе, чем факты событийной истории.

Неисчерпаемый источник образов, поддерживающих эту интуицию другой реальности, исследователи 1960-х гг. получили благодаря распространению компьютеров и графической техники репрезентации информации, в которой многие видели альтернативу традиционным интеллектуальным орудиям, опирающимся на семиологические ресурсы словесного языка¹⁵. От этой новой техники понимания ждали, естественно, чудес. Сошедшая с экрана компьютера историческая истина должна была предстать перед взором исследователя, но уже не в непрозрачности слов прошлого. **Она должна была проявиться непосредственно очевидным образом, в форме, адекватной её собственной структуре.** Многочисленные попытки (в основном оставленные в 1980-е гг.) **выработать невербальные, в первую очередь, визуальные языки и обнаружить нелингвистические механизмы мышления свидетельствуют об этой особенности научного климата 1960-х гг.**¹⁶

Конечно, социальная история была сравнительно второстепенным по значимости местом интеллектуальных новаций, но свойственный эпохе стиль мысли не мог не сказаться и на ней. Вслед за социологией история была захвачена «утопией адекватного самому себе социального»¹⁷. Но каковы же естественные формы репрезентации социального? По-видимому, в 1960-е гг. их отождествляли с различными пространственными фигурами, с моделями, диаграммами, графиками – или еще с домиками из кубиков.

Конечно, **изначальная проблематика социальной истории 1960-х гг. была сформулирована в форме, характерной для герменевтики социальных терминов.** Общество классов немислимо без буржуазии в смысле класса капиталистических собственников, а общество сословий – без дворянства,

¹⁵ Bertin J. *Sémiologie graphique*. Paris; La Haye: Mouton; Gauier-Villars, 1967; Idem. *La graphique*. Paris: Flammarion, 1977; Bonin S. *Initiation à la graphique*. Paris: Epi S. A., 1975. P. 16. Автор этих строк благодарен Люсет Валенси, обратившей его внимание на роль теории графиков для социальной истории 1960-х гг., а также Алин Желински и Жаку Бертену, поделившимся с ним воспоминаниями о формировании и развитии Лаборатории графики при Высшей школе социальных исследований.

¹⁶ О семиологии визуальных языков см.: Barthes R. *Eléments de sémiologie // Le degré zero de l'écriture suivi de Eléments de sémiologie*. Paris: Gonthier, 1976. P. 72 – 172. Характерным примером свойственного 1960-м гг. интереса к нелингвистическим аспектам мышления является также упоминавшаяся во Введении история имажинистского течения в когнитивных науках.

¹⁷ Ranciere J. *Les mots de l'histoire: Essai de poétique du savoir*. Paris: Seuil, 1992. P. 77.

понятого как сословие, как юридическая категория, что предфигурирует соответствующие описания. Однако с появлением индивидов, подлежащих эмпирической классификации, изначальная проблематика оказалась вынесенной за скобки. Воображению исследователей рисовались двадцать миллионов французов, распределённых на социальные группы. Но поскольку критериев классификации и, следовательно, частичных иерархий было много, а получить хотели одну, синтетическую, возникала проблема проецирования многомерной социальной структуры на результирующее измерение синтетической социальной иерархии.

Интеллектуально ситуация была не нова. **Тезис о множественности факторов социальной дифференциации был ясно сформулирован ещё Максом Вебером**¹⁸. Детальное развитие он получил уже в межвоенный период в американской социологии (в значительной степени под влиянием исследований по социальной мобильности), сначала у Питирима Сорокина, а затем – у Талькота Парсонса. Впрочем, идея множественности типов социальных групп не исключала для американских социологов стремления найти единую синтетическую социальную иерархию, на которую проецировалась бы социальная структура общества в целом. Так, Питирим Сорокин считал, что частичные социальные позиции индивидов образуют «конstellации»¹⁹ или синтетические социальные статусы, формирующиеся в «суперорганическом пространстве» (под которым он подразумевал пространство социальное). Такой подход, лишь несколько метафорически намеченный самим Сорокиным, был широко распространён в американской социологии²⁰. Он опирался на идею интуитивного галлоэффекта, т. е. способности людей мгновенно рассчитывать в уме суммарный синтетический статус индивидов на основании частичных статусов или даже воспринимать других синтетически, как целостности, не прибегая к анализу черт. Благодаря этому, верили социологи, можно приписать идею синтетической иерархии самим субъектам, а, следовательно, и социальной реальности. По-видимому, синтетическая иерархия мыслилась как иерархия индивидов, а не как иерархия групп.

Уже заняв свои места на вертикальной линии, индивиды подлежали распределению по группам. Точнее, **ожидалось, что группы сами выделятся в результате распределения индивидов по социальной вертикали**²¹. Характерны имена этих групп: высший класс, высший средний класс, низший средний класс и т. д. Эти имена отсылают лишь к сегментам синтетической иерархии, как если бы для того, чтобы представить себе такую модель, исследователи должны были отрешиться от логики слов, покинуть лингвистический модуль мышления и начать мыслить в иной, пространственной среде. Классификация имен собственных породила категории, лишённые имен, точнее, имен, означавших нечто большее, чем точки в пространстве. Именно опираясь на

¹⁸ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 76.

¹⁹ Конstellация [тэ], конstellации, ж. [латин. constellatio] (книжн.). Взаимное расположение небесных светил (астр.). // перен. Стечение обстоятельств. Благоприятная конstellация (выражение по своему происхождению — астрологическое).

²⁰ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 76.

²¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 77.

пространственные метафоры и идентифицируя как индивидов, так и их группы с абстрактными точками в суперорганическом пространстве, с семантическими пустотами, американские социологи выработали идеальную модель социальной стратификации, какой она могла бы возникнуть в результате совершенной эмпирической операции (которую, впрочем, оказалось не так легко осуществить на практике).

Влияние этой американской школы (и французских социологов, акцентировавших множественность социальных групп) заметно в социальной истории 1960-х гг. Но аккультурация социологической модели в историографии вызвала некоторые трудности²². В частности, неприятие многими историками слишком абстрактных конструкций и приверженность к словарю изучаемых эпох объясняет их колебания в практическом приложении к прошлому социологических моделей. Отдаваясь, как и социология, во власть мечты о мышлении, освобожденном от слов, о чистом понимании структур, социальная история была менее готова пожертвовать своей традиционной техникой описания во имя идеала облеченной в цифры научности. Профессионально внимательные к терминологии источников, историки – в той мере, в какой сохранялся их источниковедческий инстинкт – не решались отказаться от слов прошлого. Поэтому они не могли не сохранить сравнительно больше элементов логики социальных терминов даже тогда, когда стремились максимально приблизить свои рассуждения к «механографическому» идеалу. Конфликт двух способов думать, проявившийся в конфликте номинации и классификации, был, таким образом, более острым в социальной истории 1960-х гг., чем в социологии, взятой на соответствующем этапе её развития, конфликт между начальной проблематикой, подсказанной логикой слов, и переформулированием этой проблематики в терминах задачи эмпирической классификации²³.

Неудивительно, что паракосмологическая модель социальной иерархии, подлежащая размышлениям историков, долго оставалась имплицитной. Даже ключевой для неё вопрос не был ясно сформулирован, а именно, вопрос о том, сложилась ли синтетическая иерархия под решающим воздействием одного фактора социальной дифференциации, притом, что все остальные факторы лишь смягчали его действие, или она должна мыслиться как результирующая всех этих факторов. Не определяя чётко своей позиции, большинство историков, как мы уже сказали, колебалось между двумя решениями. Создается впечатление, что причина кроется в состоянии исторического словаря. В самом деле, обозначения этой синтетической иерархии еще можно было найти более или менее подходящее выражение. Говорили: «социальные группы в собственном смысле», «группы *par excellence*», «общество само по себе»²⁴. Уже в этом, однако, заметна недостаточность имеющегося словаря. Приходилось,

²² Об аккультурации социологических теорий в историографии см.: Lepetit B., Grenier J.-Y. L'expérience historique.

²³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 79.

²⁴ Mousnier R. Intervention dans la discussion // L'histoire sociale ... P. 27; Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М.: Индрик, 1993. С. 67.

как бы насиловать слово, придавать ему дополнительный, не вполне очевидный смысл. Но для обозначения синтетических социальных групп, которые историки стремились идентифицировать, имена решительно отсутствовали. Практически все наличные социальные термины имели коннотации, отсылавшие, причем весьма противоречиво, к частичным социальным иерархиям, а конвенция стиля запрещала историкам массивные терминологические новации. Выразившиеся в именах предварительные описания искомых объектов, таким образом, были неадекватны постулируемой логической природе этих объектов, поскольку имеющиеся варианты описаний всегда несли в себе слишком много аналитических значений, что затрудняло формулировку рабочих гипотез о том, какими могут быть синтетические группы. Между тем, потребность в таких предварительных описаниях остро ощущалась исследователями. Создается впечатление, что историки опасались **отдаться на волю эмпирической классификации, не наложив на свой произвол некоторых ограничений, необходимых, с их точки зрения, во имя строгости научного метода.** Несмотря на то, что смутный образ эмпирической группировки подсказывал исследователям логические интуиции, её легитимность как рационального метода не была безусловной. Возможно, ощущение слишком резкого несоответствия этих интуиции логическим стандартам, подлежащим традиционной дискурсивной практике истории, являлось одной из причин, побуждавших историков с самого начала готовить почву для компромисса между классификацией и описанием. **С этими поисками связано навязчивое звучание совершенно банальной темы рабочих гипотез, до странности часто возвращающейся в споры о классах и сословиях.** Рабочие гипотезы служили как бы гарантом интеллигентности результатов исследования, позволяя надеяться на то, что эти результаты удастся безболезненно связать с общеисторической проблематикой. К тому же учёт терминологии источников при выдвижении гипотез давал и определенные гарантии против опасности анахронизма. Поэтому историки считали себя обязанными постулировать некоторые категории, подсказанные терминологией источников, чтобы затем эмпирически убедиться в их «реальности». Возможно, историки и смогли бы оторваться от слов источников, если бы в их распоряжении были более внятные социологические термины, обозначающие искомые синтетические группы и способные подсказать рабочие гипотезы. Но у социологов можно было заимствовать либо такие же социальные термины, либо невнятные отсылки к сегментам иерархии, так что историкам казалось естественнее отправляться от терминологии изучаемой эпохи²⁵.

Таким образом, историки были обречены иметь дело с лексикой своего главного источника – нотариальных актов. При всех различиях между их исследовательскими стратегиями и исследователям «группы Лабрусса», и Ролану Мунье приходилось преодолевать одни и те же логические трудности. Рассмотрим их сначала на примере работ Аделин Домар, которая поставила целью сконструировать для периода XVIII – XIX вв. социопрофессиональный

²⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 81.

кодекс, аналогичный кодексу Национального института статистики и экономических исследований 1963 г.²⁶ Подобный кодекс мог бы, с её точки зрения, стать той эмпирической моделью, которая, отвечая стандарту научности, должна была подлежать последующему описанию. Именно из социопрофессионального кодекса 1963 г. заимствовала Аделин Домар и формулировку исследовательской задачи – «разделить все население на ограниченное количество категорий, каждая из которых будет характеризоваться относительной социальной гомогенностью»²⁷. Характерно, однако, что этот кодекс был эмпирической группировкой не индивидов, но социопрофессиональных категорий. Тем не менее, в процессе эмпирической группировки категории как бы уподоблялись индивидам и сближались между собой как синтетически воспринятые объекты. Масштабы задачи, безусловно, облегчали такой подход. Авторы кодекса были в состоянии в какой-то мере абстрагироваться от имён множества подлежащих упорядочению профессий, которые зачастую звучали почти как технические термины с крайне ограниченным количеством коннотаций, т. е. выступали почти как имена собственные.

Имел место, следовательно, некоторый компромисс между идеалом эмпирической группировки индивидов и реальными возможностями исследователя приблизиться к нему с помощью построения модели общества. С одной стороны, логическая структура группировки индивидов и категорий в данных условиях была близка, и это выглядело гарантией эмпирической чистоты, верности принципам эмпирической логики. С другой стороны, изначальное введение в рассуждения историков, вместе с именами социопрофессиональных категорий, некоторых элементов логики слов не просто смотрелось как неизбежное на практике нарушение идеальной модели, делавшее предприятие реалистичным, но и позволяло надеяться, возможно, подсознательно, на преодоление разрыва между двумя логиками.

Поскольку в нотариальных актах, равно как и в полном списке современных социопрофессиональных категорий, встречается гораздо больше социальных терминов и их устойчивых сочетаний, чем практически представляется возможным включить в описание социальной структуры в обоих случаях приходилось конструировать агрегированные категории в более ограниченном и пригодном для использования количестве. Чтобы добиться этого, единственным выходом было эмпирически группировать профессии, титулы, почетные эпитеты, должности, воинские звания и прочее, по мере возможности учитывая различные аспекты социального статуса, типичные для лиц, обозначенных этими терминами. В основе это – демарш, очень близко напоминающий тот, который был в свое время осуществлен клерками Понтшартрена. Но, увы, в положении историков по сравнению с клерками была одна невыгодная черта – клерки не должны были вводить свои классы в

²⁶ Daumard A. Structure sociaux et classement socio-professionel : L'apport des archives notariales aux XVIII-e et XIX -e siècles // Revue historique. 1962. Vol. 227. P. 139 – 154.

²⁷ Daumard A. Structure sociaux et classement socio-professionel : L'apport des archives notariales aux XVIII-e et XIX -e siècles // Revue historique. 1962. Vol. 227. P. 152.

исторический дискурс. Поэтому они могли пользоваться условными обозначениями, и неслучайно классы Тарифа капитации были обозначены цифрами, а не словами²⁸.

Что касается историков, то им приходилось искать для своих персонажей вымышленные имена. Поэтому условными именами они могли пользоваться только на подготовительном этапе, когда формировались исходные частичные категории. Именно на этом этапе в кодексе Аделин Домар появляются такие категории, как «промежуточный статус между наемными рабочими и мастерами ремесел», которые затем надлежало трансформировать в синтетические категории. Такая трансформация состояла в конфронтации социопрофессионального статуса с другими показателями, и в первую очередь – с данными о состояниях, что считалось для полученного социопрофессионального кодекса испытанием на прочность *par excellence*. Если в рамках социопрофессиональной категории не обнаруживалось слишком большого разброса богатств, считалось, что она обладает достаточной социальной гомогенностью и, следовательно, может рассматриваться как реальная социальная группа. Однако эта конфронтация давала нечто большее, чем просто верификацию кодекса. Вводя в него дополнительное измерение, она трансформировала его из полусинтетической классификации в завершённую синтетическую, учитывающую все основные факторы социальной дифференциации⁶³. В сущности, в итоге этой процедуры должны были быть сконструированы персонажи социальной драмы. Больше никаких этапов их конструирования уже не предусматривалось. Но, изменяя логический статус категорий кодекса, эта операция не могла изменить их имен. «Готовые» персонажи носили странные имена, сплошь да рядом действительно неузнаваемые и непригодные к использованию. В самом деле, может ли историческая драма разыгрываться с участием «промежуточного статуса между наемными рабочими и мастерами ремесел»? Поэтому в той мере, в какой имел место переход от разработки кодекса к более общему историческому рассуждению, историки отбрасывали свои заботливо сконструированные категории и использовали имена традиционной истории. Так, Домар, автор наиболее детального «социопрофессионального кодекса для историков», в своей известной книге совершенно забывает о нём и говорит только о буржуазии, разделённой на четыре узнаваемые иерархически расположенные группы, именно, на высшую буржуазию, зажиточную буржуазию, среднюю буржуазию и народную буржуазию. Отсутствие отсылающих исключительно к синтетическому социальному статусу имен мешало заполнить пропасть между эмпирической классификацией и традиционным описанием.

В отличие от историков группы Лабрусса, Ролан Мунье весьма скептически относился к возможностям исторического конструктивизма, который ассоциировался для него с механистическим видением общества. Ему, человеку более консервативного склада, традиционному католику, была ближе органистическая концепция общества. Но вместе с тем он находился под

²⁸ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 83.

влиянием того же свойственного эпохе стиля мысли, что и его оппоненты. В частности, он разделял с Лабруссом интуицию тяжёлой реальности «общества самого по себе». Однако эта интуиция, которая заставляла Лабрусса и его учеников реифицировать собственные аналитические категории, побуждала Мунье искать место, где можно было бы «непосредственно взять» (*atteindre directement*) ускользающую материю «социального в собственном смысле». Речь идет о матримониальных связях, которые казались Мунье совершенным выражением социальной солидарности. Вместе с тем в акте брака он видел почти абсолютное суждение о синтетических социальных статусах брачующихся. Это сближает взгляды Мунье с точкой зрения Лабрусса. Если для Лабрусса идеальным решением было бы дать синтетическую оценку социального положения всех французов, живших в XVIII–XIX вв., чтобы затем посмотреть, как они распределяются по социальным группам, то для Мунье таким логическим пределом было бы «картографировать» все связывавшие французов XVII в. брачные контракты, чтобы увидеть агломераты социальности, которые и будут искомыми социальными группами. Мунье, таким образом, пытался избежать необходимости самому группировать «собственные имена» синтетически воспринятых объектов, какими были для него французы XVII в. Он надеялся, что «материя социального» уже сама себя классифицировала в абсолютных суждениях брачных контрактов, так что оставалось только «непосредственно взять» её²⁹.

Очевидно, что такое исчерпывающее картографирование столь же неосуществимо, как и всеобщая социологическая анкета. Именно поэтому Мунье был вынужден прибегнуть к помощи механистических категорий и предаться той же игре в кубики, что и Лабрусс, – и тем самым попасть в зависимость от конструктивистской логики. Следуя своей теории общества сословий, подсказывавшей ему рабочие гипотезы для создания такой модели, он построил категории, опирающиеся, прежде всего на почетные эпитеты. Именно к этим категориям он затем прилагает решающий, с его точки зрения, тест эндогамии. Структурное сходство двух демаршей, несомненно: «реальность» (т. е. синтетический характер) социальных групп, выделенных по частичным критериям (в одном случае – на основе профессий, в другом – на основе почетных эпитетов) и обозначенных аналитически понятыми именами, проверяется с помощью введения еще одного измерения социального статуса (в одном случае – критерия богатства, в другом – критерия эндогамии), которому придается настолько большое значение, что его введение позволяет трансформировать частичные категории в синтетические. Естественно, что этот демарш приводит к такому же парадоксу: за неимением подходящих имен, которыми он мог бы назвать реальные социальные группы, идентифицированные им, Мунье каждый раз обречен на своего рода скачок, когда он переходит от эмпирического исследования к историческим обобщениям. В дискурсе общей истории почетными эпитетами, дававшими к тому же крайне дробную классификацию, приходилось жертвовать в пользу

²⁹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 84.

более традиционных терминов, вокруг которых привычно организовывались исторические описания. Поэтому, как и Домар, в своих общеисторических работах Мунье забывает о скрупулезно сконструированных им категориях. Скобка эмпирической классификации вновь оказывается закрытой, и в традиционном жанре истории возвращаются к привычной технике описания.

Неудивительно, что в таких условиях гипотеза синтетической социальной иерархии долгое время оставалась не до конца продуманной. Отсутствие имен, которые можно было бы присвоить синтетическим социальным группам, постоянно вызывало колебания исследователей между предположениями, что синтетическая иерархия в основном совпадает с одной из частичных иерархий и что она дает совершенно новое качество. Блюш и Солнон были первыми, кто эксплицитно определил подлинную социальную иерархию как результирующую частичных иерархий. Но характерно, что им не приходилось думать, как самим реконструировать искомую синтетическую иерархию. Они считали, что нашли её готовой к использованию в Тарифе капитации. Реконструкцию выполнили за них клерки генерального контроля финансов. Однако Тариф выражает идею иерархии только посредством формы списка, разделённого на классы³⁰.

Именно классы, а не ранги, воплощают идею иерархии: ведь в каждом классе все ранги обложены одинаковым налогом. Но в отличие от рангов классам не присвоено имён. Они обозначены цифрами, которые точно указывают их иерархическое место, но не имеют никакого другого значения. Равно как и американские социологи, клерки Понтшартрена не нашли для обозначения групп, созданных методом эмпирической группировки на основании синтетических критериев, других имен кроме тех, которые определяли эти группы исключительно через их иерархическое положение.

Итак, представляется очевидным противоречие между лингвистическими и нелингвистическими ресурсами мысли, на которые опиралась социальная история 1960-х гг. Идеал классификации собственных имён мешал историкам следовать логике, подсказывавшейся социальными терминами, а зависимость их размышлений от семантических структур этих последних мешала им погрузиться в эмпирическую классификацию имён собственных.

Как объяснить это противоречие? Естественно в поисках инструментов анализа обратиться к современной теории имён и к теории классификации³¹.

³⁰ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 86.

³¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 87.

Глава 2 Семантика социальных категорий.

Теория имён и теория классификации – две различные, хотя и тесно связанные между собой теории. **Джон Стюарт Милль** не слишком преувеличивал, утверждая, что «теория имен и высказываний скорее запутывается, чем проясняется введением идеи классификации». В самом деле, несмотря на то, что, классифицируя, мы можем давать классифицируемым предметам имена, классификация, по-видимому, происходит в особой, нелингвистической, среде мышления. В эпоху, когда редукция мысли к языку не превратилась ещё в базовую уверенность социальных наук, Милль считал, что **язык и классификация являются двумя различными вспомогательными инструментами индукции**. Все же слова способны обозначать классы, и это не может не иметь последствий для их семантической структуры. Однако язык является чем-то большим, нежели номенклатура, воспроизводящая систему вещей, и его функции несводимы к референции. Мы склонны думать, что теория имен отдаляется от теории классификации в той мере, в какой она касается значения, и приближается к ней в той мере, в какой касается референции. По-видимому, эти теории описывают связь мышления с двумя разными, хотя и взаимосвязанными областями опыта: **опытом языка и опытом вещей**. Употребление имён предполагает опыт вещей. **Язык невозможно объяснить без отсылки к тотальности опыта, где номинация и классификация идут вместе, – иначе он превратится в замкнутый мир знаков**. В акте номинации язык указывает за свои собственные пределы, но вместе с тем он присваивает себе называемое, и даже в нашем способе полагания вещей «самих по себе» всегда способны отразиться его структуры. Поэтому, рассматривая теорию имен и теорию классификации, нам придется иметь в виду, как их различие, так и их взаимопроникновение³².

Начнем с теории имен. Уточним, прежде всего, какие имена нас интересуют. Конечно, речь идет об именах собственных, обозначающих индивидов, но также и об именах нарицательных, обозначающих социальные группы. Наричательные имена бывают двух основных видов: конкретные нарицательные имена и собирательные имена. Конкретное нарицательное имя может быть присвоено «каждому индивиду данного множества». Напротив, «собирательное имя не может быть присвоено каждому индивиду порознь, но только всем им вместе взятым». Так, слово «**дворянин**» (*noble*) является примером конкретного нарицательного имени, тогда как слово «**дворянство**» (*noblesse*), когда оно обозначает группу лиц, – примером коллективного имени. Когда же оно характеризует качество этих лиц, слово «дворянство» является абстрактным именем. В зависимости от контекста слово «дворянство» может быть понято либо как индивидуальное собирательное имя, либо как нарицательное собирательное имя. Например, «французское дворянство XVII

³² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 88.

века» является индивидуальным собирательным именем. Можно сказать и просто – «дворянство», но если из контекста следует, что речь идет именно о французском дворянстве XVII в., это слово понимается как индивидуальное собирательное имя. Но если речь идет о соотношении различных групп дворянства и если контекст позволяет поставить это слово во множественном числе (**noblesse** – форма, едва ли возможная в русском языке), оно становится нарицательным собирательным именем. В ходе спора о классах и сословиях собирательные имена, обозначающие социальные группы, всегда понимались как индивидуальные собирательные имена, хотя возможность их трансформации в нарицательные собирательные имена, как мы увидим ниже, могла влиять на понимание историками их значения³³.

Итак, нас здесь интересуют три вида имен – собственные имена, конкретные нарицательные имена (для краткости в дальнейшем называемые просто нарицательными) и индивидуальные собирательные имена (для краткости называемые собирательными). Вопрос о семантической структуре этих имён чрезвычайно интенсивно обсуждался философами потому, что с его разрешением связывали надежду на прояснение проблемы референции. В философии XX в. классическим полигоном для проверки теории референции стал именно семантический анализ имен, причем в силу преобладания номиналистических и позитивистских настроений философы работали в основном с именами конкретных предметов и особенно часто – с именами собственными.

Классическая теория имени была сформулирована Джоном Стюартом Миллем³⁴. С его точки зрения, имя нарицательное имеет как референцию, так и значение, поскольку оно денотирует класс объектов и коннотирует их атрибуты. Напротив, имя индивидуальное (приписываемое только уникальным объектам) может быть и коннотативным, и неконнотативным. Коннотативное индивидуальное имя (например: «первый римский император») обозначает «некоторый атрибут или набор атрибутов, который, не будучи свойственным никаким другим объектам, за исключением одного, сообщает имя исключительно этому индивиду». Неконнотативное индивидуальное имя, или имя собственное, «достаточно для того, чтобы обозначить вещь, о которой мы хотим говорить, но само по себе ничего о ней не утверждает»³⁵. Оно имеет, следовательно, референцию, но не имеет значения.

Эта точка зрения была пересмотрена Готлобом Фреге в том, что касается имен собственных, но была принята им без изменений в том, что касается имен нарицательных. Для Фреге все имена в равной мере являются коннотативными и обозначают атрибуты вещей, которые они денотируют. Например, тот факт, что Александр был учеником Аристотеля, может быть рассмотрен как коннотация (Sinn) его имени. Милль мог бы возразить, что «само по себе» имя Александр не утверждает, что его носитель был учеником Аристотеля. Но

³³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 89.

³⁴ Обзор анализируемой ниже дискуссии см.: Engels P. Identité et référence: La théorie des noms propres chez Frege et Kripke. Paris: Ecole normale Supérieure, 1985.

³⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 90.

остается не вполне понятным, в чём состоит разница между тем, что имя утверждает само по себе, и тем, что только ассоциируется с ним. Эту неясность и использовал Фреге, отождествив всё, что ассоциируется с именем собственным и позволяет присваивать его объекту, со значением этого имени³⁶.

И Милль, и Фреге исходили из предположения, что мы идентифицируем объекты на основании анализа их свойств, описание которых составляет значение имени. Однако правда ли, что именно значение позволяет приписывать имя объектам? После «Философских размышлений» Людвиг Витгенштейна ответ уже не кажется очевидным. Витгенштейн, в частности, показал, что одно и то же имя приписывается разным объектам не потому, что все они имеют какой-то атрибут, коннотируемый этим именем, но в силу размытого семейного сходства, которое существует между ними. Создаётся впечатление, что Витгенштейн готов ещё более радикально пересмотреть классические семантические теории, когда он утверждает, что «значение слова есть способ его употребления»³⁷. В том же направлении идут его размышления относительно внутреннего деиктического акта (выражаемого указательными местоимениями) и его роли в мышлении, которые подрывали теорию номинации, делавшую акцент на распознавании черт. Со своей стороны, распространение теорий семантического голизма с его акцентом на системы высказываний также способствовало тому, чтобы поставить под сомнение основы традиционной семантики.

В итоге концепция Фреге должна была быть модифицирована. Можно выделить два основных направления такой модификации. С одной стороны, некоторые философы предложили идею сложного понятия ((cluster concept) Вслед за Витгенштейном Джон Серль полагает, что совсем не обязательно всякий объект, которому приписывается определённое имя, должен обладать всеми свойствами, коннотируемыми этим именем, поскольку коннотации имен организуются в кластеры, а присвоение имени собственного позволяет идентифицировать объект, соответствующий кластеру связанных с этим именем коннотаций, не уточняя основание классификационного суждения. Впрочем, более радикальные сомнения не устраняются идеей сложного понятия, ибо не из чего не следует, что даже кластера коннотаций достаточно для идентификации объекта. Поэтому некоторые другие философы склонны интерпретировать значение в терминах социальной конвенции. Именно с такой точки зрения Саул Крипке предложил теорию имени, радикально отличную от теории Фреге³⁸.

Крипке считает, что Милль прав в том, что касается имен собственных, но неправ в том, что касается части имен нарицательных. По Крипке, имена собственные не имеют коннотаций, поскольку всего того, что известно об индивиде, обозначенном именем собственным, недостаточно для его идентификации. Из этого Крипке заключает, что значение имени не является

³⁶ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 90.

³⁷ Витгенштейн Л. О достоверности // Вопросы философии. 1991. № 2. С. 72.

³⁸ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 92.

необходимым элементом идентичности обозначаемых этим именем объектов. Даже если всё, что мы полагаем истинным об Аристотеле, окажется ложным, мы скажем не то, что этот человек – не Аристотель, но что Аристотель не был учителем Александра и т. д. Но ведь **имя не может с необходимостью означать то, что может оказаться ложным относительно его**³⁹. В этом смысле имя есть лишь фиксатор референции, rigid designator объекта и не имеет никакого отношения к его чертам. Но если ни одна из черт объекта, равно как и их сумма, не коннотируется его именем, не значение, но обычай определяет референцию. Такая же семантическая структура, по Крипке, характерна для некоторых нарицательных имен, в частности, для имён, обозначающих естественные классы (natural kinds terms). Эти имена подобны именам собственным, поскольку, по Крипке, объект можно идентифицировать в качестве члена естественного класса, не прибегая к анализу его свойств.

Мы вступили в область теории классификации. Здесь споры касаются, прежде всего, способности так называемой аристотелевской логики описать «человеческую категоризацию». До недавнего времени аристотелевская теория почти безраздельно господствовала в этой области. Согласно Аристотелю, объект, чтобы принадлежать к категории, должен обладать атрибутами, коннотируемыми именем данной категории. **Значение имени состоит, таким образом, в определении необходимых и достаточных условий для принадлежности к данной категории.** Распространенная с незапамятных времен в учебниках логики, данная теория, устанавливающая вполне ясные связи между словами, понятиями и вещами, стала одним из основных элементов вульгаты современной научной мысли. Но её применение в классификационной практике нередко вызывало трудности, которыми обычно предпочитали пренебрегать, так что на деле в науке установился как бы двойной стандарт логичности. **Обычно мы склонны считать, что следуем принципам аристотелевской логики, избегая, однако, применять их со слишком большой строгостью и оправдывая маленькие хитрости здравого смысла спасительной оговоркой о сложности мира и несовершенстве наших знаний. Социальная история, как мы имели возможность убедиться, дает достаточно яркие примеры такого способа рассуждать**⁴⁰.

Но эти трудности породили и попытки создать альтернативную теорию классификации. Формулируемая от времени до времени, начиная, по крайней мере, с конца XVIII в., рядом почти забытых сегодня авторов⁴¹, эта теория,

³⁹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 92.

⁴⁰ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 93.

⁴¹ Странники теории прототипов обычно возводят её генеалогию к Л. С. Выготскому и Л. Витгенштейну, независимо друг от друга сформулировавшим её в 1934 г., иногда указывая и на предысторию в виде некоторых биологических классификаций XVIII в. Но влияние таксономической работы в биологии сказалось на целом течении английской философии, которое выработало в первой половине XIX в. теорию, содержащую основные умственные ходы и версии современной теории прототипов. Так, один из наиболее влиятельных английских философов первой половины XIX в., канцлер Кембриджского университета Уильям Уивел писал: «Несмотря на то, что для естественной группы предметов определение совершенно бесполезно как регулирующий принцип, классы отнюдь не становятся бесформенными, лишёнными точек фиксации и организующего начала. Класс, бесспорно, существует, пусть он и не ограничен четко. Он дан, хотя и не очерчен. Он определен не снаружи ограничивающей его линией, но центральной точкой изнутри; не тем, что он с определенностью исключает, но тем, что он, несомненно, содержит; примером, но не правилом. Коротко говоря, руководством здесь служит не

обычно называемая прототипической, получила широкое распространение в 1970–1980-е гг., когда она послужила базой для так называемой когнитивной революции⁴². Вдохновляясь стремлением **противопоставить компьютерной модели разума идею естественного мышления**, приверженцы когнитивной революции увидели в аристотелевской теории категоризации (на которой основывались все направления мысли, понимавшие мышление как оперирование с символами, от логического позитивизма до когнитивизма) главную мишень для критики. **Идея необходимых и достаточных условий была воспринята как крайнее проявление искусственного языка, совершенно чуждого людям. Теория прототипа исходит из того факта, что часто не удается указать ни одной черты, которую разделяли бы все члены данной категории и никто кроме них. Но вместо того, чтобы усмотреть в этом факте печальное несовершенство – в пределе преодолимое – человеческого мышления, сторонники теории прототипов сочли его свойством естественного, «воплощённого» в человеческом организме разума и, более того, важным фактором его эффективности, его способности экономить когнитивные усилия, с которой не может равняться компьютер. Отсюда – гипотеза естественной категоризации, не имеющей ничего общего с утомительным анализом черт, а, следовательно, и с принципом необходимых и достаточных условий⁴³.** Естественные категории, утверждает теория прототипа, отражают реальное строение мира, что неизбежно влечет за собой их эффективный и экономный характер. А миру нет никакого дела до необходимых и достаточных условий, которые, таким образом, предстают как чистое ухищрение формальной логики. Тем не менее, мир структурирован, и естественные категории состоят из похожих друг на друга объектов. Свойственные одновременно и природе, и естественному мышлению, эти **категории кодируются в разуме в форме «прототипов» (т. е. идеальных типов, абстрагированных от реальных вещей и воплощающих классы объектов более экономным, нежели описание черт, способом) или в форме «хороших примеров» (т. е. реальных объектов, лучше всего представляющих категорию)⁴⁴, с которыми «менее хорошие» примеры и даже пограничные случаи связаны узами размытого семейного сходства.**

Природа таких репрезентаций остается не вполне понятной. Существовала тенденция рассматривать их как ментальные образы, так что

определение, но тип». За несколько десятилетий до Уивела Ричард Пейн Найт и Дьюгалд Стюарт развивали представление о «транзитивном словоупотреблении», ведущем к образованию «сложных понятий», не обязательно удовлетворяющих принципу необходимых и достаточных условий, с помощью «семейного сходства» между обозначаемыми словом предметами. Их идеи позднее были восприняты Миллем, который говорил в связи с этим о «важнейшем законе разума», открытом «небольшой группой мыслителей нынешнего поколения». Но, подчеркивая важность этого закона для логики, Милль, тем не менее, в основном вернулся к традиционной теории классификации, модифицированной в смысле, который сегодня мы назвали бы пробабилистским. Так, он утверждает, что при всем значении прототипических эффектов категория репрезентируется в сознании, прежде всего с помощью перечня её свойств, которые являются, однако, не необходимыми, но лишь вероятными для её членов. По-видимому, именно благодаря работам упомянутых авторов Милль осознал необходимость разграничения теории имен и теории классификации. Характерно, что взгляды Найта и Стюарта он анализирует отдельно от взглядов Уивела в соответствующих разделах «Системы логики».

⁴² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 94.

⁴³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 95.

⁴⁴ Эти две версии теории прототипов нередко смешиваются в рассуждениях одного и того же автора.

теория прототипов была связана с имажинизмом – мощным течением в когнитивных науках, которое в 1960 г. ополчилось на когнитивизм, сводивший мышление к пропозиционной форме⁴⁵. Но и идея лингвистического кодирования прототипических понятий не была совершенно отброшена, так что отношения между словами и образами сохраняли некоторую двусмысленность.

Именно на идею ментального воображения опирается одно из центральных понятий теории прототипа, а именно, представление о базовом уровне классификации. Речь идет о таксономическом уровне (обычно родовом), служащем основой классификации. Понятия этого уровня отличаются тем, что они обладают максимальной степенью включительности, совместимой с образным характером репрезентации⁴⁶. Например, понятие собаки можно визуализировать в виде образа (или схемы), форма которого воспроизводит обобщенную форму собак. Но репрезентация подобного типа уже не кажется возможной для такого понятия, как животное. Именно применительно к базовому уровню и были констатированы наиболее очевидные прототипические эффекты.

Одно из следствий прототипического подхода состоит в том, что категории выступают как внутренне структурированные, так что некоторые их члены «равны между собой больше», чем другие. Вместе с тем предполагается, что известная часть эмпирических объектов с трудом поддается классификации, так что границы между категориями, резко прочерчиваемые логикой необходимых и достаточных условий, в логике прототипа оказываются размытыми.

На первый взгляд, эта новая теория классификации – как раз то, в чём нуждаются социальные науки, чтобы оправдать неопределенность своих понятий. В самом деле, если естественное мышление опирается на логику прототипа, то сам объект социальных наук, по-видимому, уже предструктурирован вокруг прототипов сознательным действием субъектов. Впрочем, прежде чем присоединиться к теории прототипа, надо задуматься над рядом трудностей, которым она не уделяет достаточного внимания.

Следует отметить, что несмотря на всю критику, которую ей можно с полным основанием адресовать, теория прототипа схватывает нечто очень важное в нашем мышлении: **многие «человеческие» категории в самом деле демонстрируют прототипическую структуру**. Но нам представляется не менее очевидным и то, что теория прототипа помещает эту плодотворную интуицию в совершенно неадекватный и противоречивый теоретический кадр⁴⁷. Прежде всего, эта теория – все что угодно, кроме того, чем она претендует быть, т. е. не теория психологических механизмов классификации. Теория прототипа ничего

⁴⁵ См. Введение.

⁴⁶ «Наиболее базовый уровень классификации – это наиболее обобщенный и абстрактный уровень, на котором категории могут отражать структуру атрибутов воспринимаемого мира... Базовые объекты – это наиболее обобщенные категории, которые можно представить в виде ментального образа, изоморфные внешнему виду членов данного класса в целом».

⁴⁷ См. критику изначальной версии и дальнейшее развитие теории прототипа в работах: Kleiber G. La sémantique du prototype: Catégories et sens lexical. Paris: Press Universitaires de France, 1990; Rastier F. Sémantique et recherches cognitives. Paris : Press Universitaires de France, 1991.

не сообщает о том, что разум привносит «из своей собственной природы» в наши представления о мире. Она, следовательно, опирается на метафизический тезис о том, как структурирован мир⁴⁸, и дополняет этот тезис теорией отражения, презумпцией симметрии мира и разума⁴⁹. Это кажется парадоксальным, особенно с учётом акцента, который сторонники теории прототипа делают на идее воплощенного разума и, следовательно, на идее ограничений, налагаемых на мышление человеческой природой его носителей⁵⁰. «Естественные категории» этой теории «естественны» прежде всего, потому, что они отражают структуры мира, а отнюдь не когнитивные механизмы, свойственные нашей психологической организации. И хотя исследователи в других областях, в том числе и в истории, должны бы, по-видимому, пытаться почерпнуть в трудах своих коллег из когнитивных наук сведения не столько об устройстве мира, сколько об устройстве нашего когнитивного аппарата, создается впечатление, что до сих пор теория прототипа обязана своей популярностью, прежде всего своему метафизическому тезису, по недоразумению, освященному авторитетом когнитивных наук. Ведь именно метафизический тезис может помочь нам оправдать наши попирающие аристотелевскую логику понятия: если так устроен мир, то таковыми должны быть и категории правильного мышления.

Другая трудность возникает, когда мы обнаруживаем, что теория прототипа основывается на экспериментальной технике, напрямую связывающей слова⁵¹ с перцептами. Задача, которую ставят обычно субъектам эксперимента, состоит в приписывании имён вещам (точнее, образам, чаще всего фотографическим, вещей, и скорость, с которой субъекты приписывают им имена, считается признаком лёгкости – и, следовательно, естественности – операции). Иначе говоря, эта экспериментальная техника исходит из предположения, что между словами и понятиями существует столь же совершенное соответствие, как между структурой понятий и структурой категорий реального мира. По сути, уровень понятий оказывается излишним⁵². Форма, в которой понятия ментально репрезентируются (и которая, как уже

⁴⁸ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 97.

⁴⁹ Так, Э. Рош пишет: «Мир предстает в нашем восприятии скорее как структурированная информация, чем как произвольно и непредсказуемо сочетающиеся атрибуты. Поэтому максимум информации при минимуме когнитивных усилий мы получаем, если наши категории насколько возможно точно воспроизводят воспринимаемые структуры мира». Собственно, даже идея образного кодирования информации, базовая для теории прототипа именно потому, что образ считался более экономным способом внутренней репрезентации категории, нежели перечень свойств, также самым непосредственным образом связана с теорией отражения.

⁵⁰ Так, Дж. Лакофф пишет: «Человеческие понятийные категории имеют свойства, по крайней мере частично определяемые телесной природой осуществляющих категоризацию людей, а не только особенностями самих составляющих категории объектов». Кантианская претензия здесь налицо, но она совершенно теряется за счет общей установки экспериментальной психологии на концептуальную рамку теории отражения. На той же странице (!) Лакофф утверждает: «Реальный мир не может быть адекватно понят в терминах классической теории категорий». Иными словами, теория прототипа хороша именно потому, что отражает реальные структуры мира.

⁵¹ Речь идет обычно о конкретных именах, прежде всего – существительных. И хотя именно этот тип имен интересует нас здесь, остается фактом, что рассматриваемые концепции касаются не структуры понятий вообще, но структуры только некоторых типов понятий, что подчеркивается рядом лингвистов, более внимательных к различиям между лексическими классами. См., например: Rastier F. *Sémantique et recherches cognitives*. Paris : Press Universitaires de France, 1991. P. 194.

⁵² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 99.

было сказано, остается несколько неопределённой), во всяком случае, не имеет никакого значения для структуры понятий. Более того, рассматриваемая теория вообще не оставляет места для влияния, например, особых свойств ментальных образов на эту структуру. Независимая роль ментальных репрезентаций принесена в жертву принципу когнитивной экономии. То же относится и к языку, который рассматривается исключительно с точки зрения референциальной семантики, как номенклатура вещей внешнего мира. Лексические связи оказывают не большее влияние на структуру естественных категорий, чем свойства ментальных образов. Язык, таким образом, сводится к таксономии, которая отражает, правда, очень экономично, внешний мир.

К теории прототипа⁵³ могут быть и другие претензии. Так, она имеет тенденцию игнорировать контекст классификации, что вполне естественно следует из предположения о симметрии мира, языка и разума. Она сталкивается с большими трудностями при объяснении ключевого для нее понятия сходства, которое остается чрезвычайно размытым. Если сходство не есть нечто внутренне присущее объектам и автоматически отражаемое нашим перцептивным аппаратом⁵⁴ (а именно в таком понимании сходства нуждается теория прототипов), то непонятно, как можно избежать анализа черт, если не с точки зрения необходимых и достаточных условий, то в форме пробабилистских суждений⁵⁵, что отсылает нас к идее сложного понятия.

Идея кластера в свою очередь ставит новые проблемы – идёт ли речь о кластере значений или о кластере объектов? В принципе, возможны оба ответа. Если речь идёт о кластере значений, можно сказать, что имя, обозначающее класс объектов, имеет разные коннотации, которые отсылают к различным атрибутам, но, однако, эти атрибуты являются не необходимыми, а только вероятными для входящих в категорию объектов. Напротив, если речь идет о кластере объектов, можно сказать, что эти объекты образуют конфигурацию, в центре которой находятся хорошие примеры (или объекты, напоминающие прототипы), а на периферии – объекты, хуже репрезентирующие категорию. Конечно, два кластера, хотя бы частично, могут быть переводимы друг в друга. Возможно, именно поэтому факт, что их все же два, ускользнул от внимания сторонников теории прототипа, которые имеют тенденцию их смешивать, что, впрочем, и неудивительно, ибо они не различают последовательно значение и референцию и имплицитно отождествляют слова и концепты. Но ведь кластер коннотаций может иметь структуру, не вполне совпадающую со структурой кластера объектов. Не может ли быть, что форма двух кластеров подсказывает нам разные интерпретации имени? Эту гипотезу мы попытаемся развить несколько ниже. Сейчас же заметим еще раз, что теория прототипа не оставляет места для исследования имманентных структур наших понятий.

Наконец, одна из слабостей теории прототипа состоит в том, что она не

⁵³ Прототип – [гр.] — первообраз; реальный источник литературного типа.

⁵⁴ Перцепция, перцепции, ж. [лат. perceptio] (филос.). Восприятие. Перцепировать [лат. percipere] — псих. воспринимать.

⁵⁵ Пробабилизм [<лат. probabilis возможный, вероятный] — фил. идеалистическое учение, утверждающее, что человек не может достигнуть достоверного знания и должен довольствоваться вероятностью; разновидность агностицизма.

уделяет достаточного внимания нашей приверженности к определению слов⁵⁶. Трудно отрицать, что, по крайней мере, часть образуемых нами категорий вполне удовлетворяет требованию необходимых и достаточных условий и что мы очень часто спонтанно пытаемся применить этот демарш даже там, где он имеет очень мало шансов на успех. Конечно, можно объяснить эту привычку губительными последствиями школьного образования, которое пытается выдать аристотелевскую логику за единственно возможную. Но хорошо известно, что на формирование самой аристотелевской логики колоссальное влияние оказали структуры греческого языка, который, конечно же, был не более искусственным, чем современный английский⁵⁷. Не уместнее ли предположить, что требование необходимых и достаточных условий тоже имеет некоторую укорененность в естественном мышлении, подсказываемом языком?

Все перечисленные трудности (и некоторые другие более технического характера) вызвали реакцию против теории прототипа и повлекли за собой её существенные модификации. Мы ограничимся здесь указанием на некоторые направления пересмотра теории прототипа. Новые исследования показывают, что наиболее вероятной является гипотеза множественности естественных типов классификации⁵⁸. Так, семейное сходство способно произвести категории, организованные вокруг хороших примеров, но также и категории в форме цепи, а возможно, и другие типы категорий. Далее, достаточно часто мы используем аристотелевские категории. Иногда наши категории следуют одновременно двум принципам – и логике прототипа, и логике необходимых и достаточных условий (иначе говоря, мы способны указать и свойства, разделяемые всеми членами категории, и хорошие примеры, которые служат для её меморизации). Некоторые исследователи считают, что человеческая категоризация укоренена в пробабилистской инференции, которая всё же скорее опирается на анализ черт, нежели на интуитивный галоэффект. Были выявлены подвижный характер категорий и их сильная зависимость от контекста категоризации, равно как и от общих представлений о мире, которые подсказывают нам теории относительно подлежащих категоризации объектов. Опираясь на эти исследования, нам надлежит понять механизмы классификации, повлиявшие на французскую социальную историю 1960-х гг. Но для наших целей принципиально важно понять их не в изоляции, а в связи с работой других механизмов⁵⁹, прежде всего тех, которые зависят от семантических структур имен. Нам предстоит систематически различать логику референции и логику значения, пытаюсь понять, как описания социальных структур рождаются из их конфликта и взаимодействия.

⁵⁶ Kleiber G. La sémantique du prototype: Catégories et sens lexical. Paris: Press Universitaires de France, 1990. P. 27. В другом месте Ж. Клебер пишет: «Теория прототипа совершенно пренебрегает аналитическим измерением» Kleiber G. La sémantique du prototype: Catégories et sens lexical. Paris: Press Universitaires de France, 1990. P. 121.

⁵⁷ Benveniste E. Catégories de pensée et catégorie de langue // Problèmes de linguistique générale. Paris : Gallimard, 1966. P. 63 – 74.

⁵⁸ По словам Ж. Клебера, «невозможно отрицать существования категорий различных типов». Kleiber G. La sémantique du prototype: Catégories et sens lexical. Paris: Press Universitaires de France, 1990. P. 141.

⁵⁹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 101.

Вернемся к социальным терминам. Жёсткое противопоставление имен нарицательных как коннотативных и имён собственных как неконнотативных нам кажется недостаточно обоснованным. Точнее, по-видимому, говорить не о разных типах имён, но о разных способах их употребления. Если отвлечься от того, что имя должно с необходимостью означать в любом из возможных миров, и ограничиться тем, что оно обычно означает в каждодневном употреблении сообществом говорящих, можно сказать, что каждое имя способно денотировать объект, о котором идёт речь, и коннотировать приписываемые ему свойства. Но это не значит, что всякий раз употребление имени должно вызывать в сознании полное описание свойств своего референта. Это описание обычно остается доступным, но, так сказать, «в спящем состоянии», не актуализированное конкретным дискурсивным контекстом. Возьмем, например, утверждение, что народные восстания во Франции перед Фрондой были направлены не столько против дворян, сколько против фиска. Чтобы его понять, нам нет необходимости вспоминать, что дворяне похвалялись древностью рода, – достаточно учесть, что в качестве земельных собственников они эксплуатировали крестьян, но что в конкретных условиях Тридцатилетней войны не столько повышение земельных и сеньориальных рент, сколько фискальный пресс спровоцировал всплеск социального насилия со стороны крестьян. Слово «дворяне» в этом случае употреблено, прежде всего, в смысле земельных собственников. Одновременно оно денотирует и вызывает в сознании группу физических лиц – своего референта. Но случается также, что имя просто денотирует объект, о котором идет речь, не отсылая специально ни к какому его свойству. Имена нарицательные не менее способны к такому использованию, чем имена собственные или собирательные. Классическим примером являются заглавия словарных статей. Всегда, по-видимому, отсылая к своему референту, имя может, по крайней мере, в теории, отсылать к полному описанию его свойств, к их сокращенному описанию или не отсылать к их описанию вообще. В таком случае оно выступает как семантическая пустота.

Но эти три варианта отнюдь не одинаково часто встречаются в дискурсе. Семантическая пустота и полное описание выступают скорее как логические возможности, как крайние точки семантического горизонта имени. В большинстве речевых ситуаций мысль опирается на частичные значения. Лишь в специальных контекстах использование имени приближается к семантическим пределам. Мы можем употребить имя как семантически пустую когнитивную точку, чтобы зафиксировать относящуюся к нему информацию, которую намерены передать. Но обычно дискурс отсылает к информации, уже переданной или предполагающейся известной. Если полное описание сообщает полное значение соответствующего имени, это последнее имеет только одну функцию – постулировать целостность, к которой относится описание, иначе говоря, фиксировать референцию. Для социальных терминов типичный случай такого употребления – в подзаголовках, вводящих описания социальных групп. Имена групп служат здесь только для фиксации референции, постулируя существование категорий индивидов, полное значение имен которых должны,

как предполагается, дать следующие за этим описания. Создается впечатление, что семантическая пустота и полное описание взаимно предполагают друг друга и сближаются до такой степени, что всегда готовы перейти друг в друга. Отсылка к синтетическому понятию – полному описанию – как бы содержится в деиктическом акте и в то же время растворяется в нем. Но хотя завершенное синтетическое понятие существует только в качестве логического предела значения, оно всегда присутствует на горизонте сознания, влияя на аналитическое использование имен. Отсюда следует заключение, что значение аналитично в своей тенденции и что слово не только отсылает к объекту, но и начинает его логическую интерпретацию.

Эту аналитическую тенденцию воплощают, прежде всего, коннотации. Не вполне понятен способ, каким они соединяются с именем. Возможно, следует говорить о разных типах коннотаций. Не претендуя здесь на полную их типологию, подчеркнем только роль одного различия в способах соединения коннотаций с именем. Для этого зададимся вопросом, в самом ли деле коннотации имен собственных и имен нарицательных по-разному связаны с соответствующими именами. Конечно, имя Александр не утверждает «само по себе», что его носитель был учеником Аристотеля. Но что в имени «дворянин» (noble) способно подсказать нам, например, идею земельной собственности, которая входит в наше обычное представление о дворянстве? В обоих случаях именно через посредство нашего знания о вещах проходят связи между коннотациями и именами.

Однако интуиция, что имя может утверждать что-то «само по себе», по-видимому, схватывает очень важный аспект нашей лингвистической компетенции. Обычно приводимый пример с Александром слишком упрощён и вводит в заблуждение. Сказать «Александр» не означает точно зафиксировать референцию. Чтобы идентифицировать индивида, следует скорее принять формулу современных администраций, требующих указывать фамилию, имя, национальность, дату и место рождения, равно как и имена родителей. Конечно, полной гарантии точной идентификации эта формула не дает, но опыт показывает, что для обычных административных целей таких данных достаточно – если и не в любом из возможных миров, то в нашем земном мире, с которым имеют дело администраторы. Впрочем, и сами греки имели более сложные номинативные формулы, нежели только имя. Так, чтобы указать на обычно имеющегося в виду Александра, они могли сказать: Александр, сын Филиппа, царь македонян. Конечно, случай монархов специфичен. Но и для рядового гражданина греки могли указать, кроме его собственного имени и имени отца, демотическое имя и город происхождения⁶⁰. Исторические и антропологические исследования позволяют увеличить число таких примеров до бесконечности⁶¹.

⁶⁰ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 104.

⁶¹ Под влиянием Леви-Строса (Levi-Strauss C. *La pensée sauvage*. Paris: Plon, 1962) идея, согласно которой имя собственное является важнейшим социальным классификатором, получила широкое распространение в антропологии (Zonabend F. *Le nom de personne // L'Homme*. 1980. Vol. 20. №4. P. 7 – 23. См также другие статьи этого номера и специальный номер журнала *L'Uomo*. 1883. №7. 1 – 2)

Итак, личные имена далеко не являются (как это иногда утверждают) «маргинальным типом» имён собственных. Напротив, большинство личных имён пытается зафиксировать положение своих носителей по отношению к другим людям и тем самым классифицировать их, что, конечно же, входит в значение этих имён. Наряду с указаниями на место индивида в его семейной или родовой группе личные имена содержат и немало других ценных данных. Иногда в номинативные формулы даже пытаются включить указания на социальный статус индивида (например, дворянские титулы или почётные эпитеты) или, что ещё более показательно, интерпретировать в качестве таких указаний некоторые элементы имени (например, частицу «де», которая изначально не имела ничего специфически дворянского). Конечно, в повседневном, и даже учёном, обиходе мы всегда пытаемся, если контекст позволяет, прибегать к сокращённым номинативным формулам, но это не меняет факта, что имена собственные могут что-то утверждать «сами по себе». Аналогичное заключение, конечно, справедливо для нарицательных и собирательных имён. Можно предположить, что семантические поля конструируются не только с помощью связей, которые проходят через знание о мире, но и с помощью чисто лингвистических механизмов.

Возьмём, например, феодальные титулы типа «герцог», «граф» и т. д. Грамматическая форма подсказывает нам идею определённого типа отношений (упрощая, скажем – отношений владения), которые существуют между носителями указанных имён и другой категорией вещей, обозначаемых именами герцогства или графства. Даже если бы мы не знали ни значения слова «герцог», ни значения слова «герцогство», знание грамматического правила могло бы подсказать нам, по крайней мере, некоторые элементы этих понятий. Ту же службу могут сослужить этимологические связи (действие которых порой неотделимо от действия грамматических правил). Буржуа (bourgeois) – это, конечно же, те, кто живет в городах (bourgs), крестьяне (paysans) – в сельской местности (pays), а шателены (chatelens) – в замках (chateaux). Рыцарь (chevalier) – это воин, сражающийся на коне (cheval), оруженосец (écuyer) – тот, кто носит за ним щит (écu), а робенов (gens de robe) легко отличить по судейской мантии (robe)⁶².

Значение таких случаев далеко не сводится к тому, что из них можно узнать о положении экуйе или буржуа. Акцентируя с помощью лексических связей тот или иной аспект «многомерного» социального статуса (следовательно, акцентируя одну из входящих в кластерное понятие коннотаций), эти термины показывают склонность нашего разума, и приучают нас, мыслить социальный статус как одномерный и «соскальзывать» в наших рассуждениях от сложных понятий к простым. Такова, в частности, когнитивная функция спонтанного этимологического анализа – важного элемента нашей лингвистической компетентности, который служит проявлением – и началом осуществления – аналитической функции языка. Иметь сложные понятия, основанные на знании о мире, недостаточно для того,

⁶² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 105.

чтобы сопротивляться этой склонности разума, обостренной опытом употребления языка. Так, хотя слово «жантийом» (*gentilhomme*), буквально означающее «благородный человек», может отсылать к сложному понятию, в котором состояние, должности, титулы, древность рода, семейные связи, образ жизни, тип культуры и так далее сливаются в образ многомерного социального статуса, очевидная этимологическая связь этого слова с семантическим полем, организованным вокруг понятия благородства (*gentillesse*) или расы (*race*), подсказывала субъектам истории, и продолжает подсказывать историкам, одномерную интерпретацию социального статуса жантийомов.

Следует подчеркнуть, что коннотации, связанные с именем через лексические или грамматические структуры, далеко не обязательно являются главными из его коннотаций. Так, «жить по-дворянски» (*vivre noblement*) во Франции XV в. означало, прежде всего «жить за счёт земельных доходов и ничего не делать»⁶³ – смысл, который едва ли выводим из имени дворянина. Но создается впечатление, что сама вера в возможность определить значение слова каким-то образом коренится в интеллектуальном опыте лексически связанных с именем коннотаций, которые, не исчерпывая значения имени, побуждают думать, что слово может значить что-то «само по себе». Иначе говоря, мы имеем тенденцию рассматривать некоторые коннотации, связанные с именем с помощью опыта вещей, как если бы они были связаны с ним с помощью языковых связей. Именно мысль о том, что часть коннотаций теснее других и особенным образом связана с именем, создает иллюзию определмости слова⁶⁴.

Однако опыт языка дает нам нечто большее, нежели набор отдельных аналитических понятий. Он снабжает нас целой системой частичных критериев, которые как носители языка мы непроизвольно используем для описания социальных структур. Имплицитная социология языка разработала для нас некоторые инструменты критериального анализа социальных фактов, своего рода «решетку чтения», пусть почти бессистемную, но зато кажущуюся нам отражением порядка вещей. С этой точки зрения интересно изучить основные типы этимологических связей, которые соединяют социальные термины того или иного языка с семантическими полями, частью которых они являются. Многие социальные термины (часто отглагольного происхождения) выражают функционалистское видение общества, идёт ли речь о социальных функциях в целом или о более частных, профессиональных, военных и тому подобных функциях. Некоторые термины определяют социальные группы по их отношению к местам обитания, в то время как другие – по отношению к богатству или доходам. Многие социальные термины выражают различные формы отношений зависимости⁶⁵. Число таких примеров нетрудно умножить. Наряду с терминами, выражающими аналитическую интуицию частичного социального статуса, имеются и такие, которые обозначают синтетические статусы, однако с помощью их проекции на результирующее измерение

⁶³ Mourier J. Nobilitas, quid est? Un procès à Tain-l'Hermitage en 1408 // Bibliothèque de l'école des Chartes. 1984. Vol. 142. P. 255 – 269.

⁶⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 106.

⁶⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 107.

социальной иерархии, мыслимое в очевидно отсылающих к количественному выражению статуса терминах. Это ещё раз подчеркивает «одномерную» тенденцию имен.

Вызывая в сознании множество критериев дифференциации, социальная терминология того или иного общества далеко не повинует единой логике. Скорее, она зависит от частичных логик, исторически сложившейся системы оппозиций, действительных только для фрагментов социальной структуры. Многие социальные термины мыслятся по противоположности друг другу, без того, однако, чтобы один и тот же принцип дифференциации сохранял значение для всего общества. Так, различие между «людьми шпаги» и «людьми мантии» во Франции Старого Порядка теряется по мере удаления от элит Парижского общества. Эти оппозиции, равно как и другие встроенные в язык классификационные схемы, имеют весьма различную логическую структуру⁶⁶. Многие термины могут одновременно входить в разные частичные терминологические подсистемы. Так, дворянство, составляя оппозицию с простонародьем (*roture*), входит и в модель трёх сословий королевства, список которых уже современники пытались пополнить **четвёртым сословием – людьми мантии (*gens de robe*)**. Можно указать и на другие оппозиции, членом которых является дворянство, – например, оппозиции с буржуазией и крестьянством, первая из которых была особенно дорога историкам эпохи Июльской монархии, а вторая – Марксу. Следовательно, приучая нас мыслить социальные группы в терминах частичных критериев дифференциации, социальная терминология вместе с тем нарушает некоторые из стандартов логичности, подсказываемых этими же терминами. Заостряющий нашу аналитическую интуицию язык налагает на неё и ограничения, давая понять, что всякая логика действительна только до определённого предела и что стремление быть слишком логичным может привести к насилию над другими критериями возможного, которые для нас никак не менее важны, чем концепция реальности, подсказываемая аналитическими значениями слов.

Несмотря на то, что социальные термины могут употребляться двояко, скорее аналитически или скорее синтетически в зависимости от ситуации, некоторые из них более других пригодны к синтетическому употреблению. Недостаток синтетического потенциала связан, прежде всего, со слишком сильной одномерной тенденцией термина, которая может помешать употребить его в контексте, где данное измерение не имеет непосредственного значения для понимания фразы. Это не означает, что такие термины вовсе не отсылают к сложным понятиям. Это означает, что они реально употребимы только в контекстах, актуализирующих лишь одну коннотацию, обозначающую частичный социальный статус. Например, говоря об экюйе, мы понимаем, что речь идёт о мелких дворянах, владевших мелкими сеньориями, иногда отправлявшихся воевать, едва умевших (по крайней мере при Людовике XIII) читать и писать и т. д. Мы в состоянии понять этот термин не просто как низший дворянский титул, не как выражение частичного социального статуса,

⁶⁶ Le Goff J. Le vocabulaire ... P. 115.

но как знак, отсылающий к группе, характеризующейся многомерным статусом, что, конечно же, не заставит забыть об этимологическом смысле слова. Но мы едва ли употребим этот термин, скажем, в контексте отношений сеньоров и крестьян. Скорее, мы скажем: «мелкие дворяне». Можно возразить, что причина здесь не в том, что слово «экюйе» слишком непосредственно отсылает к иерархии дворянских титулов, а в том, что многие экюйе не имели сеньорий. Но последнее в равной мере относится и к дворянам, а мы почти никогда не испытываем колебаний, употребляя этот термин в самых различных контекстах. Другие социальные термины имеют еще меньший синтетический потенциал, чем слово экюйе, например, дворяне рыцарского происхождения (*nobles issus de familles chevaleresque*), аудиторы Счетной палаты или мастера-шляпники. Во многих контекстах, даже имея в виду именно эти группы, мы назовем их либо именами, выражающими имеющее отношение к контексту измерение их статуса, либо родовыми именами дворян, чиновников или ремесленников, поскольку последние имена, пусть и менее точные, могут использоваться в гораздо более разнообразных контекстах. Не случайно Жак Рансьер называет их словами-вездеходами (*les mots passe-partout*)⁶⁷. Именно вокруг слов-вездеходов, подобных терминам базового уровня в биологических классификациях, имеют тенденцию организовываться описания социальной структуры.

Но синтетический потенциал – не только способность отсылать к полному описанию, но также и способность трансформироваться в семантические пустоты. Таким образом, описания социальных структур организуются вокруг терминов, в которых конфликт между значением и деиктическим актом, следовательно, конфликт между лингвистической логикой коннотаций и логикой семантических пустот, указывающей за пределы языка, достигает апогея. Что до терминов, располагающих слабым синтетическим потенциалом, то они служат прежде всего для уточнения дискурса социальной истории. Под этими именами члены больших категорий появляются в частичных, локальных, проходящих контекстах⁶⁸.

Едва ли существует устойчивая связь между синтетическим потенциалом и лингвистическими свойствами социальных терминов. Скорее, синтетический потенциал придаётся практикой словоупотребления. Группы, которые мы называем терминами с высоким синтетическим потенциалом, мы представляем таким образом, что их имена с особой легкостью утрачивают значение и превращаются в семантические пустоты, в бессмысленные знаки, отсылающие к единствам, образованным независимо от значений соответствующих слов.

Всё же можно указать на одно лингвистическое свойство этих терминов, которое, впрочем, является скорее следствием, чем причиной сообщенного им обычая синтетического потенциала. Речь идет о синонимичности некоторых нарицательных и собирательных имен. Так, между дворянством (в смысле социальной группы) и дворянами (во множественном числе) нет, по-видимому,

⁶⁷ Rancière J. *Les mots de l'histoire: Essais de poétique du savoir*. Paris : Suel, 1992. P. 72.

⁶⁸ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 109.

иного различия, кроме грамматического. Два термина отсылают к одному и тому же понятию, к одному кластеру коннотаций, и имеют один и тот же референт. Однако в словаре социальной истории далеко не каждому нарицательному имени соответствует имя собирательное. «Конвертируемость» некоторых нарицательных имен в собирательные имена свидетельствует, вероятно, об их особом логическом статусе. Она, по-видимому, свойственна, прежде всего, терминам, которые в социальных номенклатурах функционируют в качестве терминов базового уровня. Существуют чистые случаи такой конвертируемости, как, например, пары аристократы – аристократия, дворяне – дворянство, буржуа – буржуазия, крестьяне – крестьянство, пролетарии – пролетариат. Есть и более сложные случаи, когда тоже сказывается влияние этого механизма. Так, говоря о Франции XVII в., мы назовём тех, кто принадлежит к аристократии, не аристократами, но грандами (но уже для XVIII в. мы скажем: аристократы). Или, чтобы конвертировать имя рабочих в имя собирательное, мы скажем: рабочий класс.

В отличие от перечисленных понятий социальные термины со слабым синтетическим потенциалом лишь в порядке исключения имеют эквивалентные собирательные имена, хотя, конечно, при случае таковые можно изобрести ad hoc. Так, не существует собирательных имен аудиторов Счетной Палаты или мастеров-шляпников. Если существует слово «рыцарство» (chevalerie), то это потому, что для средневековья оно выступает в качестве термина базового уровня. Но для новой истории термин не имеет большого смысла. Конечно, можно сказать: группа аудиторов Счётной Палаты, но, хотя на первый взгляд структурно идентичное выражению «рабочий класс», это имя в силу ряда причин далеко не имеет того же статуса. Во-первых, оно гораздо менее стабильно и, следовательно, как многие сконструированные ad hoc категории, обычно понимается как аналитическая категория, адекватная данному контексту (что не мешает ей в то же время отсылать к сложному понятию как к своему семантическому горизонту). Иными словами, добавить слово «группа» к нарицательному имени недостаточно для того, чтобы заметно увеличить синтетический потенциал этого имени. Лишь обычаем способен привести к ослаблению, всегда, впрочем, частичному, его аналитического смысла. Во-вторых, слово «группа» гораздо нейтральнее слова «класс» и не имеет столь сильной коннотации стабильной целостности. В-третьих, слово класс обычно отсылает к родовому уровню социального словаря, который и функционирует в качестве базового уровня, тогда как слово «группа» может быть отнесено к любому набору индивидов.

Интересно заметить, что распространение собирательных имен является относительно недавним феноменом, который датируется приблизительно тем же периодом, что и появление существительных на -изм, а именно, первой половиной XIX в. Однако этот способ думать, хотя и имел сравнительно слабое отражение на уровне лексики, не был, видимо, абсолютно чужд и предшествующей эпохе. Так, при Старом Порядке говорили о духовенстве, дворянстве и третьем сословии, а в средние века – о сословиях клириков, воинов и пахарей. Термин «сословие» (ordo) функционировал тогда в качестве

такой же отсылки к базовому уровню социальной таксономии, какой сейчас является термин «класс». Подчеркнем, что социальные термины относились тогда, скорее, к статусу индивидов, нежели к их группам. Характерно в этом смысле приблизительно синонимичное слову *ordre*, слово *etat*, означавшее сословие как группу индивидов, но, прежде всего – связанное с принадлежностью к сословию «положение». Аналогичным образом понимались и такие категории, как дворянство или буржуазия. Следовало дождаться возвышения «позитивного разума», сопровождавшегося некоторым высвобождением социальной мысли из-под власти слов⁶⁹, и рождения статистической концепции социального⁷⁰, чтобы стало естественнее мыслить социальные группы как абстрактные многомерные единства. Лингвистическим выражением этой переориентации сознания явилось распространение имен собирательных, более непосредственно, чем имена нарицательные, выражающих идею абстрактных целостностей.

Уместно предположить, что взаимозаменяемость нарицательных и собирательных имён возможна благодаря транзитивности аналитического и синтетического употребления слов. Пока синтетическое значение термина остается на горизонте сознания, а аналитическое выступает как главное, отсутствует нечто, побуждающее присвоить категории имя собирательное. Это нечто заключается в тенденции мыслить категорию в целом по аналогии с объектом. В момент, когда мы полагаем категорию как целостность, превосходящую сумму составляющих её индивидов, эта тенденция начинает преобладать. Для фиксации идеи множества в качестве сущности высшего порядка, вероятно, необходима некоторая когнитивная точка. Именно эту последнюю мы и начинаем представлять как самостоятельный объект. Повидимому, существует критический порог, изменение ментальной установки, которое приводит в действие новую форму реализма. Единственная универсалия, мыслимая как реалья для имен нарицательных, есть значение, сущность. То, что объединяет всех дворян, – это качество дворянства. С именами собирательными утверждается другая форма реализма, идея множества, помысленного как единство. Буржуазия – это уже не сущность и даже не просто сложное понятие, это, прежде всего класс, набор индивидов. Реализм вещей приходит на смену реализму слов.

Конечно, речь не идет об абсолютном разрыве, тем более что индивидуальные собирательные имена способны к двойному соскальзыванию к именам нарицательным, что усиливает аналитический потенциал соответствующих понятий. Имена собирательные не просто взаимозаменяемы с именами нарицательными, они могут в зависимости от контекста пониматься как имена нарицательные. Так, дворянство остается индивидуальным коллективным именем, пока речь идет об одной стране и определённой эпохе, т. е. в контексте, когда возможно только одно дворянство⁷¹. Но когда речь идет о сравнении многих дворянств даже в рамках одной страны), дворянство

⁶⁹ Foucault M. Les mots et les choses. Paris : Gallimard, 1966.

⁷⁰ Desrosiers A. La politique des grands nobres: Histoire de la raisons statistique. Paris : La Decouvert, 1993.

⁷¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 112.

становится нарицательным коллективным именем, что побуждает нас думать в терминах значения и, следовательно, пытаться определить данное понятие. Впрочем, и эта логика остается незавершённой, потому что даже в качестве нарицательного имени дворянство никогда не превращается в чистое нарицательное имя. Подобно другим терминам социальных наук, никогда полностью не отделимым от конкретных исторических контекстов, в которых они обозначают уникальные социальные явления⁷², оно сохраняет отпечаток индивидуального имени.

Итак, мы склонны заключить, что для объяснения двойственности семантической структуры социальных терминов с заложенным в ней конфликтом логик необходимо постулировать конфликт двух различных видов опыта – опыта слов и опыта вещей. Точнее, речь идет об опыте вещей, обозначенных именами, использованными в качестве семантических пустот, и об опыте слов, использованных в качестве носителей значений.

«Социальные факты следует рассматривать как вещи», – писал Дюркгейм⁷³. Обычно мы не задаемся вопросом, как именно наш опыт вещей сказывается на том, как мы мыслим социальные факты. Для целей нашего исследования такой вопрос задать необходимо. Согласно нашей гипотезе, опыт синтетического восприятия объектов приводит нас к формированию сложных понятий, тогда как опыт аналитического употребления слов – к образованию понятий аналитических.

Родившиеся из столкновения опыта мира с опытом языка, наши репрезентации социальных групп выглядят глубоко биполярными. Они организуются вокруг по-разному структурированных полюсов – кластера коннотаций, с одной стороны, и образа множества, с другой. Упомянутые выше теории имен и классификации в недостаточной мере оценивают различие и взаимную непереваемость этих полюсов. Полюс значений представляет собой прежде всего аналитическое измерение понятия. Каждая коннотация отсылает к одному атрибуту объектов, обозначенных данным именем. Но в обычном случае социальный термин имеет более одного значения. Его коннотации поэтому организуются в кластер. Чем более синтетический потенциал понятия становится значимым, тем более понятие мыслится по аналогии с эмпирическим объектом, а его коннотации ассимилируются с атрибутами объекта. Опыт синтетически воспринимаемых объектов поддерживает нашу

⁷² По Ж.-К. Пассерону, понятия социальных наук выражаются «несовершенными нарицательными именами (noms communs imparfaits)» или иначе – «полусобственными именами (semi-noms propres)». Особенность этих имен состоит в том, что «за ширмой многочисленных и подвижных родовых определений, которые сами по себе неспособны придать им стабильный смысл, (они) скрывают имплицитное действие деиктических актов (deictique)», состоящих в «подразумеваемой отсылке к пространственно-временным координатам» (Passeron J.-C. La raisonement sociologique: L'espace non-propre du raisonnement naturel. Paris: Nathan, 1991. P. 60–61). Иными словами, Пассерон ограничивает роль скрытых в понятиях социальных наук деиктических актов отсылкой к индивидуальным историческим явлениям, которая препятствует именам, обозначающим эти понятия, стать совершенными нарицательными именами. В этом смысле он понимает и теорию идеальных типов Макса Вебера. Нам подобная интерпретация – при всей её справедливости – кажется неоправданно узкой, поскольку деиктический акт, конечно же, «встроен» далеко не только в «имена истории». Следовательно, нет оснований приписывать «логику имен собственных» только «именам» социальных наук и сводить её значение к развитию идеи индивидуализирующих понятий.

⁷³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 113.

интуицию синтетических понятий. В пределе (впрочем, редко достижимом на практике) социальный термин теряет свой аналитический потенциал и превращается в семантическую пустоту, в неконнотативное имя, иначе говоря, в чистый внутренний деиктический акт. Он сводится к когнитивной точке, служащей для фиксации, как референции, так и описания.

Именно через посредство этой абстрактной точки, без которой невозможна фиксация значения (и, следовательно, образование понятия), полюс значения понятия связан с образом множества, трансформированного в единство той же самой точкой, именем, использованным в качестве семантической пустоты. Речь более не идет об опыте отдельных объектов, который позволяет помыслить синтетические понятия. Речь идет об операции упорядочения, или классификации, множества синтетически воспринятых эмпирических объектов. Если имя отсылает к классу объектов, то оно это делает не непосредственно и не через посредство полюса значений понятия, но через другой концептуальный полюс, зафиксированный деиктическим актом, имплицитно содержащимся в имени, актом, который является существенно внутренним. Но, следовательно, референт получает тем самым двойное существование – в мире и в разуме. Расщепление понятия сопровождается удвоением референта, расщепленного между референциальным полюсом понятия и миром. Референциальный⁷⁴ полюс понятия социальной группы представлен в разуме образом массы семантических пустот, соответствующих вещам, массы, организованной вокруг семантической пустоты более высокого порядка, в свою очередь уподобленной абстрактному объекту, который в то же время служит точкой фиксации значения. Если полюс значений понятия, обращенный к опыту языка, представляется глубоко лингвистическим по своей природе, референциальный полюс, обращенный к опыту мира, кажется по сути нелингвистическим.

Этот удвоенный референт не является ни отражением разума в мире, ни отражением мира в разуме. Он возникает из того постоянного взаимодействия разума и мира, которое называется опытом. Поэтому бессмысленно искать инвариантную структуру человеческой категоризации. Ведь структуры, возникающие из опыта, чрезвычайно разнообразны. Мир дан нам в разнообразии форм, ибо разнообразны формы нашего опыта мира. В зависимости от контекста и подлежащей выполнению интеллектуальной задачи мы конструируем различные категории, опирающиеся преимущественно либо на опыт аналитически употребленных слов, либо на опыт синтетически воспринятых объектов. Поэтому всегда принципиально важно выявить контекст классификации. Но за разнообразием контекстов можно, по-видимому, выявить некоторые типы интеллектуальных задач, связанных с различными стратегиями рассуждения. Каждая интеллектуальная задача выступает как кадр мысли, мобилизующий определенные ресурсы разума. Именно в этих кадрах конструируются различные миры. Репрезентация общества как разделенного на группы множества представляется одним из

⁷⁴ Референция, референции, ж. [фр. référence]. 1. отношение языкового знака к чему-либо вне себя, к реальной или воображаемой действительности.

таких типов.

Как же мы действуем, столкнувшись с такой задачей? Как сблизить между собой семантические пустоты, чтобы создать из них группы, которые в свою очередь будут лишь семантическими пустотами? Другими словами, как можно думать в среде, откуда изгнан смысл? И в самом ли деле, классифицируя, мы абстрагируемся от смысла?

Интересные эксперименты Люка Болтански и Лорана Тевено дают элементы ответа на этот вопрос⁷⁵. Субъектам было предложено эмпирически разделить на группы несколько десятков карточек, содержащих стандартную информацию о реальных людях. Их первым побуждением было классифицировать в соответствии с «сильными» критериями (такими, как, например, профессия), т. е. в соответствии с частичными критериями, более или менее чётко зафиксированными в языке. Но по мере увеличения количества индивидуальных случаев субъекты **начинали руководствоваться не столько анализом черт, сколько общим впечатлением о социальном положении подлежащих классификации индивидов** и совершенно интуитивно устанавливать между ними отношения сходства, позволявшие объединять их в группы, формирующиеся вокруг «хороших примеров» (т. е. вокруг случаев, сочтенных типичными или ясными в свете предшествующего социального опыта субъектов). Создается впечатление, что по достижении определенного численного порога происходит изменение ментальной установки, что влечет за собой модификацию интеллектуальной задачи: вместо распределения новых случаев по уже имеющимся категориям субъекты начинают конструировать новые категории. Иначе говоря, начиная с определенного момента субъекты, приходят к тому, чтобы ментально сконструировать множество, подлежащее классификации. Поскольку эта новая задача предполагает определённую свободу по отношению к языковому коду и анализу черт, возникает относительно закрытая интеллектуальная ситуация, которая приводит в действие свои собственные механизмы. Аналитическая интуиция как бы отключается, и классификацию направляет другая интуиция, которая позволяет воспринимать объекты как целостности. Субъекты как бы вовлекаются в особое пространство мысли, относительно изолированное от того, где они размышляли ранее. Но характерно, что когда их затем просят дать имена группам, составленным из семантических пустот, субъекты испытывают очевидное затруднение, как если бы им приходилось вернуться в другое пространство мысли, чтобы назвать эти новые семантические пустоты, которыми являются их эмпирически сконструированные категории. Ничего удивительного, что для того, чтобы их назвать, субъекты часто оказываются вынужденными пересмотреть их состав, иначе в этих эмпирических группах не удастся распознать интеллигибельные категории социального словаря. Аналитическая интуиция слов, конечно, умеренная опытом синтетически воспринятых объектов, опять берёт верх, едва завершается путешествие по лингвистической области рассуждений и меняются условия

⁷⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 115.

интеллектуальной задачи.

Что нам показывают эти эксперименты? Три основные вещи. Во-первых, они подтверждают **гипотезу лингвистической среды мышления, где происходит эмпирическая классификация индивидов**. Во-вторых, они показывают, что классификация, основанная на интуитивном восприятии синтетических социальных статусов индивидов, приводит к конструированию категорий, которые объединяются узлами сходства вокруг соотнесенных образцовыми примерами. В-третьих, эта операция предполагает, что принимается определённая ментальная установка, препятствующая языку присваивать новый опыт элемент за элементом и позволяющая представить ментально эти элементы как подлежащее классификации множество, что и выступает в качестве критического момента в переориентации нашего мышления на вещи, иными словами – как условие классификации, обходящейся без номинации.

Выключение механизма лингвистической классификации связано, таким образом, со специфическими и достаточно «закрытыми» интеллектуальными задачами. Поэтому для корректной интерпретации экспериментов Болтански и Тевено важно понять условия, в которых такие задачи становятся возможными¹.

Эти эксперименты были осуществлены в ходе разработки Национальным институтом статистики и экономических исследований нового социопрофессионального кодекса (1983 г.). Одной из задач было тогда **избежать ситуации, когда формализм, свойственный такого рода документам, входит в противоречие с «естественным мышлением» тех, кому приходится испытывать на себе эффекты нового законодательства**. Речь поэтому шла не о том, чтобы понять, как субъекты воспринимают друг друга в повседневной жизни. Речь шла о том, чтобы понять, как субъекты повели бы себя, если бы столкнулись с задачей составления социопрофессионального кодекса². Конечно, субъектам предложили классифицировать индивидов, а не социопрофессиональные категории, которые надлежало сгруппировать, чтобы получить код. Но с точки зрения интеллектуальных процедур различие смягчается структурным сходством двух задач, равно состоящих в упорядочении множества. В рамках такой задачи категории, подобно индивидам, тоже можно представить, абстрагируясь от их имён, как синтетически воспринятые многомерные объекты.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 117.

² С этой точки зрения интересны соображения А. Сикуреля, подчеркивавшего, что хотя основные категории, в которых принято описывать социальную структуру (такие, например, как статус или роль), являются категориями наблюдателя, а не субъекта, всё же последний в состоянии при определённых условиях (например, в ситуации социологического интервью) занять позицию наблюдателя и рассуждать в свойственных ему терминах. Сикурель пишет: «Теоретически субъект и исследователь-наблюдатель используют конструкции и методы разного типа. Однако на практике повседневное теоретизирование субъекта, по-видимому, очень похоже на позицию наблюдателя-исследователя» (Cicourel A. V. La sociologie cognitive. Paris: Presses Universitaires de France, 1979. P. 50–51). В свете этих соображений особое значение приобретает известная формула Э. Ботт (см. прим. 51). **За разнообразием контекстов, в которых слова приобретают различные значения, вероятно, можно выделить некоторые устойчивые формы полагания мира, для выделения которых позиции субъекта и наблюдателя, при всем их взаимопроникновении, являются основополагающей оппозицией.**

Итак, субъекты были поставлены в исключительно искусственную ситуацию. В повседневной жизни им обычно достаточно классифицировать новые объекты, распределяя их по уже приобретённым и зафиксированным в словаре категориям. Эти объекты составляют множество только на условии абстрагирования от времени и представления жизненного опыта в качестве синхронического среза. Рассмотренная диахронически, операция эмпирической классификации, какой мы её осуществляем в повседневной жизни, теряет свою интеллектуальную чистоту под комбинированным воздействием времени, коллектива и слов. Иначе говоря, в повседневной жизни мы действуем так, как действовали субъекты экспериментов до того, как они ментально составили подлежащее классификации множество.

Но вынесение за скобки языка – не единственный когнитивный эффект искусственной ситуации эксперимента. Другой эффект состоит в том, что экспериментальная классификация имеет тенденцию восприниматься как окончательная и исчерпывающая, тогда как в повседневной жизни субъекты не должны классифицировать друг друга ни всех сразу, ни раз и навсегда. Но главное – в повседневной жизни классификационные суждения не должны быть абсолютными. В каждой конкретной ситуации обычно достаточно принять в расчёт только некоторые элементы социального статуса другого, и этого бывает достаточно для того, чтобы решить, как себя вести. Мы довольствуемся, поэтому категориями, созданными ad hoc, по необходимости частичными и доступными пересмотру. Конечно, бывают ситуации, в которых требуются точные и окончательные решения, как, например, некоторые юридические тяжбы (впрочем, в ходе последних также под сомнение часто ставятся лишь отдельные аспекты социального статуса личности – например, дворянство). Но в целом **двусмысленность остается характерной для нашего социального опыта.**

Эксперименты Болтански и Тевено именно благодаря искусственно поставленной задаче показывают нам идеальный тип операции эмпирического упорядочения, всегда присутствующий в качестве логической возможности на горизонте нашего сознания. Какой бы искусственной она ни казалась с точки зрения социального поведения субъектов, эта задача, тем не менее, глубоко укоренена в традиции рассмотрения общества, неотделимой от наших ментальных обычаев. Дело не только в том, что субъектам часто приходится ссылаться на категории кодекса (или эквивалентные им): **самая необходимость и возможность иметь глобальный образ общества проистекают из склонности разума рассматривать мир не только изнутри, с точки зрения действующего в нём субъекта, но и извне, с точки зрения внешнего наблюдателя, полагающего мир как объект познания. Не так важно, что эти две точки зрения едва ли совместимы. Точка зрения внешнего наблюдателя не становится от этого менее фундаментальной для нашего опыта мира, подсказывая нам, в частности, то имплицитное видение реальности, на котором построена наука¹.**

Впрочем, эта точка зрения является интеллектуальным основанием и

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 119.

других культурных практик, кроме науки. Одна из них – администрация, которой руководит то же стремление овладеть всем и упорядочить все, как и наукой. Социофессиональный кодекс представляется классическим местом их встречи, о чем свидетельствует его генеалогия. Вспомним о различных кодификациях XIX в.¹ или абсолютистской эпохи (как, например, Тариф капитации). Их одних было бы достаточно, чтобы приучить нас к этому типу репрезентаций. До этого аналогичные когнитивные потребности привели к появлению «древа Франции»², торжественных процессий, наглядно представляющих общество разделённым на классы и категории, Марсовых полей и боевых построений (**военная организация не в последнюю очередь приучила нас к идее упорядочения множества**). Но и вне социальной сферы мы постоянно приобретаем такого рода опыт. Не очевидно ли, что эгоцентрическое видение общества всегда дополняется видением извне, с точки зрения Бога или его наместников на Земле, каковыми выступают короли и учёные? Именно поэтому эксперименты Болтански и Тевено, заставивших субъектов поиграть в королей-учёных, показывают нам один из важнейших элементов нашего воображаемого опыта социального. Интеллектуальная задача представить синтетическую социальную иерархию, по-видимому, является для нас совершенно естественной. Она выступает в качестве одной из проецируемых на мир форм разума, в качестве структуры, конструирующей в её же самой определённых рамках мир, который принадлежит только ей³.

Это не значит, что наши репрезентации социальных групп всегда образуются вокруг хороших примеров. Спонтанно мы приписываем им скорее ясную структуру аристотелевских категорий. Опыт, как беспорядочных социальных номенклатур нашего языка, так и упорядочения множества заставляет нас выбирать осторожные формулировки, чтобы не создать впечатление, что мы говорим не о реальном мире, но о лабораторной модели. Но с того момента, когда мы погружаемся в эмпирическую классификацию, идеальный образ мысли без слов покидает задний план сознания, откуда он может только слегка сдерживать языковую интуицию, чтобы непосредственно вмешаться в наши размышления, либо, навязывая нам свою собственную логику, либо настолько запутывая логику языка, что непоследовательность мысли далеко выходит за обычно терпимые пределы. Создается впечатление, что пока мы размышляем, отправляясь от предсуществующих категорий, мы склонны применять аристотелевскую классификацию, но с момента, когда мы принимаем совершенную эмпирическую установку, наша классификация начинает следовать логике прототипа.

Сказанного о нелингвистических аспектах классификации, по-видимому, достаточно, чтобы стало естественным задаться вопросом о том, в какой мере пространственные паралогики, о которых мы говорили во

¹ Desrosiers A. La politique ...; Desrosiers A., Thévenot L. Les catégories socioprofessionnelles. Paris : La Découverte, 1988.

² Le Roy Ladurie E. L'Arbre de justice : Un organigramme de l'Etat au XVI-e siècle // Revue de la Bibliothèque Nationale. 1985. A. 5. №18. P. 19 – 35.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 120.

Введении, могут быть причастными к парадоксам исторических классификаций. «Классификации – область, где с незапамятных времен язык пересекается с пространством», – писал Мишель Фуко, имея в виду двумерные таблицы, иными словами – буквально понятое физическое пространство¹. Однако и ментальное пространство способно выступать как орудие классификационного мышления. Отсылки к пространственному референциальному кадру характерны для описаний социальной структуры. Порой пространственные образы кажутся единственным способом передать самую идею социальной структуры. Само по себе описание как дискурсивная форма имеет сходство с живописью, основанной на разворачивающейся в пространстве структуре означаемого, однако между пространственным опытом и логическими проблемами социальной истории 1960-х гг. были и более непосредственные связи. Как герменевтика социальных терминов, так и упорядочение множества опиралось на пространственный опыт, причём логические конфликты между ними могут быть прочтены как результат непереводаемости друг в друга разных типов ментального пространства. В той мере, в которой описание разворачивается во времени, оно, как и любая другая вербальная структура, подчиняется закону линейного характера означаемого. Из этого, конечно, не следует, что любой дискурс всегда отсылает к фигуре прямой линии. Дискурс может быть построен так, чтобы, напротив, отсылать к периодически сменяющим друг друга циклам, к образу вечного возвращения. И все же линейная структура изложения представляется взаимосвязанной с тенденцией к линейному упорядочению, особенно в той мере, в которой описания воспроизводят логику списка. Логические принуждения, заложенные в форме списка, изучены Дж. Гуди. Он показал, что идея социальной иерархии исторически связана с переходом к письменности, которая в самой своей организации содержала принуждения, аналогичные пространственному образу вертикали. Ничего удивительного, что подобные эффекты мы встречаем и в текстах социальных историков. Характерно в этом смысле, например, описание Р. Мунье французского общества XVII в. на основе полученной им с помощью исследования брачных контрактов эмпирической модели. Мунье не испытывает ни малейших неудобств в связи с необходимостью передать в адекватной лингвистической форме пространственный образ иерархии, к которому он недвусмысленно апеллирует². Он по порядку описывает «страты» общества (подчеркнем использование пространственного термина для обозначения социальных групп), подразделяя каждую из них на «уровни» или «состояния» (etats – опять же пространственный термин), т. е. на подгруппы. И как бы для того, чтобы подчеркнуть изоморфность описания-списка и пространственного образа иерархии, рассказ о каждой группе вводится с помощью чередующихся взаимозаменяемых шифтеров – «ниже находятся» (plus bas sont) или «далее

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 121.

² «Социальная стратификация – это ментальная репрезентация, которую создают себе сами члены общества или его исследователи, когда они рассматривают его, как если бы составляющие его люди располагались в виде ряда горизонтальных социальных страт или иерархизированных социальных слоев или уровней» (Mousnier R. Recherches sur la stratification sociale à Paris aux XVII-e et XVIII-e siècle: L'Échantillon de 1634, 1635, 1636. Paris: A. Pédone, 1975. P. 5).

следуют» (viennent ensuite) Иногда же историки прямо, как будто «проговариваясь», эксплицируют связь между линейным характером означающего – своего повествования – и вертикальной структурой иерархии, которую они описывают. Характерный пример находим в книге А. Д. Люблинской, которая предваряет описание социальной структуры французского общества следующим замечанием. Ей надо объяснить, почему она начинает анализ не с трудящихся масс (к которым должен был быть в первую очередь прикован её интерес), но с высшей знати, и лишь постепенно спускается по социальной лестнице: «Такой приём, – пишет она, – позволит наглядно показать всю тяжесть угнетения, которому подвергалось крестьянство»¹. Линейный порядок означаемого в этой фразе как бы материализуется в вес иерархии, а слово «наглядно» акцентирует отсылку к визуальному образу.

Однако **иерархию в нашем восприятии, по-видимому, не совсем точно отождествлять с вертикалью**. Прямая иерархии на самом деле скорее кривая, и в этом можно усмотреть параллель искривлению лонгитюдных поверхностей в зоне бокового зрения, за пределами фокуса внимания. В упомянутом выше описании французского общества Роланом Мунье образ иерархии лингвистически чётко фиксируется лишь до определённого предела. Приблизительно с середины описания жёсткая последовательность начинает размываться, шифтеры типа «ниже находятся» и «далее следуют» уступают место формулам другого типа, как, например: «к этой страте, конечно, надо присоединить» (il faut rattacher certainement à cette strate) или «аналогичными являются» (sont analogues), заставляющие думать о постепенном превращении вертикали в горизонталь, где различия уже не связаны с иерархическими отношениями. В низших стратах подгруппы часто даже не нумеруются (в то время как в верхних имеется очень четкая внутренняя нумерация), что тоже свидетельствует о стремлении ослабить иерархический эффект списка, вызвать идею различия, не отсылающего к иерархии.

Совершенно аналогичную трудность отмечают А. Домар и Ф. Фюре: «Так, особенно **в рамках третьего сословия возникает проблема разграничительных линий: к вертикальным разграничениям, охарактеризованным выше** (с помощью которых можно было описывать дворянство. – Н. К.), **здесь следует добавить горизонтальные купюры**»². Такие же эффекты отмечают Ф. Блюш и Ж.-Ф. Сольной применительно к Тарифу капитации: в нём логично продуманы первые 11 классов, охватывающие 206 рангов, в то время как описание нижестоящих слоев характеризуется полным хаосом. Наконец, на нечто подобное обращали внимание и авторы XVII в., например, Луазо, который говорил, что группы, выделяемые внутри третьего сословия – это «скорее простые призвания (vocations), чем оформленные сословия»³. Конечно, Луазо имел в виду, что эти «призвания» не соответствуют определённым титулам или почётным эпитетам, которые, прежде всего и

¹ Люблинская А. Д. Франция в начале XVII века. А.: Наука, 1959. С. 65.

² Daumard A., Furet F. Structures et relations à Paris au milieu du XVIII-e siècles. Paris : A. Colin, 1961. P. 92.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 124.

отсылали к идее сословий, однако здесь, несомненно, присутствует и пространственная паралогика: во-первых, иерархия именно титулов была достаточно бесспорной (хотя бы формально), во-вторых, само слово «сословие» (etat) отсылало в данном случае к представлению об иерархически расположенных группах.

Если от фигуры иерархии перейти к логической структуре категорий, то здесь мы, прежде всего, увидим традиционное использование в теории категоризации пространственных метафор. Разные авторы прибегают к пространственным образам для передачи идеи категории. Складывается впечатление, что понятию класса подлежит идея группировки в пространстве, интуиция некоторой области, образованной расположенными рядом объектами и очерченной ограничительной линией. При этом, однако, пространство, в котором осуществляется подобная операция, может мыслиться по-разному. Так, категории, предполагаемые герменевтикой социальных терминов, т. е. категории, в которых все члены равны между собой, взаимозаменяемы и никак не сгруппированы, категории, чётко отделенные от других аналогичных категорий, видимо, возможны только в рациональном евклидовом пространстве. Образ классов как шеренг в фаланге, т. е. образ непересекающихся параллельных прямых, является наиболее очевидным пространственным аналогом (и до известной степени историческим предшественником) этой классификации¹.

Еще заметнее сказалась пространственная паралогика на процедуре эмпирического упорядочения. Именно к ментальному пространству отсылает референциальный полюс понятия, представленный в сознании образом множества. Именно в ментальном пространстве происходит и формирование конкретизирующих этот образ эмпирических категорий. Опыт группировки предметов в физическом пространстве (типа опыта раскладываемых карточек в экспериментах Л. Болтански и Л. Тевено) отражает, и формирует, способность к аналогичному воображаемому упорядочению. При этом создается впечатление, что элементарная группировка по семейному сходству в идеале исключает чёткую ориентацию по прямым линиям евклидова пространства, благоприятную для наделения пространства иерархическим смыслом. Скорее, она опирается на чисто качественное разграничение групп, репрезентируемых как непересекающиеся области, свойственные топологическому пространству. Топологическое пространство представляется аналогом элементарного разбиения на группы, для идентичности которых второстепенен вопрос об их взаимном расположении, для какового расположения потребовалась бы система координат. Именно методом интуитивного сближения в сгустки осуществляется прототипическая классификация, где единственные ориентиры закреплены в виде соответствующих «хорошим примерам» категорий когнитивных точек. Словом, пространственным аналогом прототипической категории выступает, по-видимому, топологическое пространство.

Понятно, что для описания общества такого рода чисто качественного

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 125.

разграничения мало. Общество мыслится как система, в которой заложена некоторая логика функционирования, и обычно эта логика, так или иначе предполагает идею иерархии. Иными словами, прототипическая классификация в топологическом пространстве обладает лишь ограниченной свободой, на определенном этапе в неё неизбежно вмещается некоторая общая концепция, предполагающая смысл, систему координат. Мы видели трудности придания смысла эмпирическим агрегатам, с которыми сталкивались социальные историки. Их стремление руководствоваться некоторым образом, именно, образом синтетической социальной иерархии, было во многом спонтанной тягой к несущей в себе внутренний, простой и понятный смысл фигуре. И эта фигура помещалась уже в совсем другом пространстве. Поскольку классификация осуществляется всегда по нескольким категориям, операция формирования одной категории по необходимости оказывается абстракцией. Формирование одной категории зависит от формирования других – и системы в целом. Топологическое пространство может оставаться основой элементарной группировки только до тех пор, пока единственным отношением, значимым для классификации, является различие. Как только появляется проблема соотнесения групп между собой, возникает необходимость перейти к пространству координат, к пространству линий, т. е. к – пусть сокращённой – версии эвклидова пространства. Уже метафоры кубиков или камней, из которых исследователи складывали свои модели социальной иерархии, отсылают к рациональному трёхмерному пространству. Но, пожалуй, они недостаточно точно формулируют логическую суть проблемы. Проблема, в пространственных терминах, состояла в том, что некоторое многомерное, но мыслимое по образцу трёхмерного, т. е., так сказать, эвклидообразное пространство надо было перевести в пространство вертикали, которая выражала идею общества как структуры, основанной на неравенстве составляющих его индивидов¹.

Отметим в этой связи и эффект ограничения числа вводимых в классификацию категорий. Большинство схем общественного устройства ограничивается всего несколькими категориями, будь то сословия средневековья (которых обычно насчитывали три, два или четыре встречались, но редко²) или классы современных обществ (обычно и субъекты, и социологи используют модели, в которых число градаций не превышает пяти–шести). Совершенно аналогичные эффекты мы сможем наблюдать при изучении характерной для историографии хронологической или тематической рубрикации истории. Подробнее мы остановимся на этих ограничениях в гл. 4, сейчас же, забегая вперед, отметим, что они, видимо, тоже связаны с воздействием пространственной паралогики. Существует так называемый порог абсолютного суждения, позволяющий идентифицировать в одном ментальном акте не более определенного количества единиц. При построении модели общества аналогом такой операции выступает, как мы пытались показать, ментальное пространство, в котором мы в состоянии выделить ограниченное

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 126.

² Duby G. Les trios ordres ou l'imaginaire du féodalisme. Paris : Gallimard, 1978.

количество элементов.

Такое включение в рассуждения исследователей разнообразных форм внутреннего опыта и предполагаемых ими стандартов логичности вряд ли могло дать что-то более последовательное, нежели социальная история 1960-х гг. И всё же из этого обзора мы ещё раз видим, какую огромную роль в воображении историков играла фигура линии, правильная фигура, которая как бы гарантировала правильность решения задачи, но вместе с тем служила и тем пунктом, в котором логичное евклидово пространство сходилась с логикой, заложенной в традиционном описании, с его линейностью, воспроизводящей идею списка. Именно эта линия поддерживала интуицию особого уровня бытия, который и пытались, насилуя терминологию, назвать обществом самим по себе, социальным в собственном смысле слова и т. д. Если бы не власть линии, интеллектуальный проект социальной истории 1960-х гг. был бы невозможен¹.

Показательно, что распад социальной истории 1960-х гг. начался с идеи о том, что для описания общества достаточно описать различные пересекающиеся в нём иерархии, не пытаясь найти их результирующую. С того момента, когда сворачивание многомерного пространства в линию перестало быть логическим императивом, предмет спора оказался утрачен. Но – характерная черта – модель многомерных пересекающихся иерархий не позволила сохраниться проекту социальной истории. Она оказалась кратковременным переходным моментом на пути от истории социальной к истории социокультурной. Это не просто ещё раз свидетельствует о том, что идея синтетической социальной иерархии содержит ключ к логическим проблемам социальной истории 1960-х гг. Это заставляет предположить наличие некоторых дополнительных паралогических ресурсов, связывающих идею социального с образом линии².

Образ синтетической социальной иерархии был частью целой системы научного воображения, где смысл социального обосновывался, с одной стороны, с помощью идеи синтетической иерархии, а с другой – с помощью стратифицированного образа истории. Взаимосвязь между той системой научного воображения, в которой казались логичными эти задачи группировки, и историей понятия социального мы проследим в следующих главах.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 127.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 128.

Глава 3. Рождение общества из логики пространства.

Написать историю социального выходит далеко за рамки нашего исследования. Мы сосредоточим внимание лишь на отдельных эпизодах этой истории. Их анализ поможет нам понять генезис той интеллектуальной задачи, которую ставили перед собой социальные историки 1960-х гг. Связи между этими эпизодами мы наметим лишь пунктиром. Иными словами, мы **ограничимся частичным «инвентарём мест» профессиональной памяти, когнитивных точек, вокруг которых группировались логические фигуры и смысловые переходы, унаследованные той интеллектуальной традицией, на которой основывалась социальная история 1960-х гг.** Особое внимание мы обратим на взаимодействие пространственных паралогик, подлежащих понятию социального, с другими факторами его формирования.

Как термин, так и понятие социального достаточно недавнего происхождения. В античной и средневековой политической мысли понятие социального отсутствовало, равно как и другие основополагающие понятия современного социального словаря. Это, прежде всего, относится к понятию государства, история которого неразрывно связана с историей социального, поскольку оба понятия происходят из одного и того же источника. **Мир античности и средневековья был тематизирован во многом иначе, чем наш современный мир.** В античности центральным понятием для описания человеческих сообществ было понятие полиса (polis или civitas), выражавшее идею общины граждан, организованной с помощью системы правил и учреждений. Этому понятию нет прямого аналога в современном политическом словаре. Полис – это и не общество, и не государство, но в нём есть элементы и того, и другого. Скорее, он мыслится как социально-политическое единство, т. е. относится к уровню, промежуточному между современными понятиями политического и социального, причем с сильным добавлением правового, этического и религиозного элементов. В средневековой Европе для отсылки к организованному коллективу преобладало понятие *communitas*, также представлявшее собой синтез элементов, относимых нами сегодня к различным уровням общественного бытия. К тому же образованные с использованием этого слова формулы (такие, как *communitas ecclesiae*, *communitas regni* или *communitas christiana*) функционировали отчасти как собственные имена соответствующих общностей, статус которых лишь довольно слабо квалифицировался именем.

Наряду с понятием полиса и производного от него понятия политики (*politeia*) в античности существовало и понятие койнонии (*koinonia*), к которому иногда возводят генеалогию социального. У Аристотеля оно выражало в самом общем виде идею склонности человека к общению и совместной жизни с себе подобными и могло означать любые формы человеческих сообществ. В этом смысле оно служило скорее дополняющим и конкретизирующим, нежели противоположным понятием по отношению к понятию полиса.

Первым шагом на пути становления современного понятия общества стало выделение из семантического комплекса политики понятия государства. Начало этому было положено в XV в. вместе с попытками эмансипации политики от религии и морали. Наряду с этим, понятие государства развивалось благодаря постепенному вычленению публичного права из того смешения публично- и частноправовых понятий, которое представляло собой право средневековое. Именно на скрещении этих двух логик возникла в XVI – XVII вв. **проблема государственного интереса**, которая стала центральной темой новых теорий абсолютной монархии, разрабатывавших идеи общественного блага, публичного права, суверенитета – важнейшие составные элементы нашего понятия государства. Теоретики абсолютизма стремились обосновывать концентрацию власти в руках монарха, но для этого они, прежде всего, должны были осознать, что именно подлежит концентрации, иными словами, представить государственную власть как некоторую особую сущность, как сферу бытия, отличную от других, не подлежащих подобной концентрации сфер¹. Иными словами, чтобы быть сосредоточенной в руках монарха, власть должна была быть отделена от общества. Монарх же мог претендовать на абсолютную власть уже не столько в качестве её патриархального носителя, каковыми являлись все традиционные носители власти, сколько в качестве ответственного за общественное благо представителя некоторой высшей сущности, «общей вещи» – государства. Именно слово «республика» (*res publica, république*) или даже его буквальные переводы (*chose publique*) было в XVI в. обычным термином для обозначения государства² (слово *etat* применительно к государству начинает широко употребляться лишь в XVII в.). Отделение власти от общества сопровождалось, следовательно, её отделением и от личности монарха, поскольку без этого невозможно было помыслить её как некоторую абстрактную сущность³.

Не говоря уже о трудностях политического характера, это было достаточно сложной ментальной операцией. Как нередко бывает, **процесс осознания чего-то как некоторой самостоятельной абстрактной сущности опирался на пространственную паралогию**. Отделённое от имен и образов конкретных носителей власти, лишь в слабой мере имеющее возможность найти адекватную лингвистическую опору, понятие государства образовывалось вокруг когнитивной точки – возможно, оставшейся от конкретного образа государя, – и именно точка служила неотразимым паралогическим доводом в пользу теории нераздельности суверенитета: «Суверенитет не более делим, чем точка в геометрии».

Конечно, на практике концентрация публичной власти в руках

¹ Такое разграничение было тем более важно, что над абсолютизмом постоянно нависала угроза обвинения в тирании, и все абсолютистские теории четко разграничивали восточную деспотию, где государю принадлежит решительно все, вплоть до жизни и имущества подданных, и абсолютную монархию, в которой подданные остаются свободными людьми. Это означало, в частности, что сфера политики не совпадала с жизнью общества в целом.

² Характерно, что даже теория нераздельности суверенитета была впервые обоснована в сочинении под названием «Шесть книг о республике» (Bodin J. *Les six livres de la république*. Lyon, 1577).

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 131.

абсолютного монарха оставалась достаточно ограниченной, диффузия власти в обществе сохранялась, и даже идеологически новое государство значительную часть своего престижа черпало из традиционных источников, связанных с концепцией патриархальной власти. Это не могло не сказываться и на теоретических построениях идеологов абсолютизма, которые стремились найти компромисс между концепцией нераздельности суверенитета и традиционными представлениями об обществе, близкими скорее к модели политики. Но тем не менее идея государства как некоторой независимой сущности, идея «автономии политического», была в основном выработана на протяжении XVII в.

Вычленение идеи государства из семантического комплекса политики далеко не сразу, однако, привело к консолидации оставшихся элементов этого комплекса в понятии общества. То, что мы называем обществом, в XVII в. по традиции воспринималось как нечто, состоящее из сословий и корпораций, т. е. юридически оформленных общностей, входивших в структуру политики – королевства (*regnum, gouaume*). Отчуждение своих «прав и свобод» в пользу монарха было для этих общностей логически затруднительным делом: ведь если отчуждение было безвозвратным, корпорации лишались права на существование, а если нет, то ставилась под вопрос теория нераздельности суверенитета. Иными словами, в логическом пределе новая концепция государства требовала такой дополнительной концепции, которая опиралась бы на образ атомарного множества подданных. И хотя в крайних этатистских теориях (например, у Томаса Гоббса) получившему неограниченную власть государству-Левиафану противостояла именно атомарная масса подданных, в повседневных политических представлениях эпохи имел место компромисс между двумя моделями, причем компромисс, порой гораздо более близкий к модели общества сословий и корпораций, того общества, которое прекрасно описывалось с помощью традиционной социальной лексики – титулов, почетных эпитетов, названий должностей, профессий и т. д. Описание общества корпораций было как бы продолжением описания государства, и различие описываемых сущностей не осознавалось до такой степени, что на протяжении всего описания сохранялся один и тот же принцип – соотношение властных полномочий было главной темой описания, как общества, так и государства. Неудивительно, что в словаре социальных категорий этого периода мы не найдём сколько-нибудь значительных новаций. Не ощущали современники и особой потребности найти слово для обозначения общества. Обществом для них оставалось королевство⁴.

Решающий этап формирования идеи общества приходится уже на XVIII в. Именно тогда эта идея получила и новое лингвистическое выражение в слове *societe*. Слово это, известное во французском языке с XII в., до середины XVIII в. оставалось сравнительно мало употребимым и значило нечто совсем иное, чем сейчас. Его два основных значения сводились соответственно либо к понятию в самом общем смысле общению между людьми, либо, напротив, к совершенно конкретным деловым связям – например, купеческим союзам. Под

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 133.

этим именем для них ещё скрывалось состоящее из сословий и корпораций общество привилегий⁵.

Только в середине XVIII в. слова «общество» и «общественный» получают широкое распространение. Принято считать, что с появлением «Общественного договора» Руссо общество становится едва ли не центральным понятием политической теории, и отчасти это верно. Однако в трактате Руссо слово «общество» встречается гораздо реже, чем «государство» (etat) и даже «правительство» (или, точнее, «управление» – gouvernement). Правда, слово «общественный», действительно, широко используется Руссо, но оно неизменно выступает синонимом слова «гражданский» (civil) и появляется в сочетаниях типа «гражданский дух» (esprit sociale или даже poeud sociale). Общество, следовательно, по-прежнему понимается здесь, прежде всего как гражданское общество, т. е. как коллектив граждан, рассмотренный с точки зрения его участия в политике. Характерно, что иногда синонимом слова «общество» выступает слово «республика» (republique), которое Руссо понимает как управляемое в соответствии с законами, причем независимо от формы «администрации», государство. Аналогичным образом в «Энциклопедии» ставится знак равенства между гражданским и политическим обществом. Конечно, Руссо мыслит уже не в терминах сословий и корпораций, но в терминах сообщества граждан. Более того, это сообщество для него до такой степени не связано с корпоративной структурой и очевидно ассоциируется с образом множества атомарных индивидов, что он чувствует себя обязанным оговориться, что общество как раз, и не сводится к такому множеству: «Всегда будет большая разница между тем, чтобы подчинить множество, и тем, чтобы управлять обществом». И хотя в «Общественном договоре» позднее усматривали идеологическую предпосылку якобинского террора и попрания государством гражданских свобод, сам Руссо в какой-то мере понимал опасные импликации исчезновения промежуточных инстанций между властью и коллективом граждан и пытался отвести угрозу тирании с помощью идеи законосообразного правления (той же самой идеи, к которой до него постоянно прибегали теоретики абсолютизма). Общественный договор для Руссо – это именно тот «акт, в силу которого народ является народом», а не множеством.

Следовательно, гражданское общество Руссо – нечто предельно далекое от «общества в собственном смысле», как его понимала социальная история 1960-х гг., т. е. от специфической реальности социальной стратификации. И тем не менее к концу XVIII в. ряд существенных элементов современной концепции социального был налицо.⁶ Прежде всего, единство семантического комплекса политики уже не было безусловным. Несмотря на известную синонимичность понятий гражданского общества и государства, у Руссо уже присутствует интуиция двух не вполне совпадающих сущностей. Отчетливо представляющийся разуму образ множества вместе с именем общества стали теми интеллектуальными инструментами, которые позволили расщепить

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 135.

⁶ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 136.

королевство на общество и государство. При этом особое значение имел успех не столько существительного «общество», сколько прилагательного «социальное». Именно он, прежде всего, свидетельствует о распространившемся ощущении того, что у общества есть особый онтологический статус, некоторая особая сущность. Интуиция особых уровней бытия в значительной мере связана с именами прилагательными в рамках той более или менее упорядоченной системы абстрактных категорий, которая на грани XVIII–XIX вв. быстро надстраивалась над традиционным социальным словарем.

Окончательный распад политики на общество и государство произошел в «Философии права» Гегеля. Но в паре Staat – Gesellschaft общество долго оставалось тем же гражданским обществом, что и в паре Etat – Societe. И главной проблемой Гегеля была та, которую видел ещё Руссо, а именно, проблема сохранения коллективом атомарных индивидов гражданских свобод перед лицом государства, проблема, оставшаяся нерешённой после рождения Левиафана. Задача состояла в том, чтобы, сохраняя идею государства, создать такую модель общества, в которой гражданам, рассматриваемым как равные друг другу и никак не связанные между собой индивиды, были бы гарантированы естественные права, свободы и, шире, человеческое достоинство. Иначе говоря, следовало обосновать свободу индивида и гуманистический идеал в рамках оставшегося после распада политики атомарного множества. Демарш Гегеля для достижения этой цели был, возможно, более последовательным, но в основе тем же, что и демарш Руссо: речь шла гораздо больше о правовой охране индивидов государством, нежели о структурировании социальной сферы. Но особо акцентировал Гегель различие государства и общества: именно наличие у гражданского общества самостоятельного уровня бытия позволяло ему говорить о формировании вне государства «всеобщей воли», которая придавала обществу единство, но вместе с тем служила гарантией от деспотизма, поскольку только в рамках общества как самостоятельной сущности и был возможен общественный договор, охранявший и свободу индивида, и общие интересы. Но все же, пусть объединенное общей волей, общество для Гегеля состояло из атомарных индивидов. И лишь постепенно в сочинениях немецких юристов первой половины XIX в. (таких, как Лоренц фон Штейн и Рудольф Гнейст) гражданское общество стало восприниматься как нечто структурированное «в соответствии с обладанием и приобретением внешних и духовных благ».

Тот факт, что и после распада политики на общество и государство общество ещё долго рассматривалось преимущественно в политическом аспекте, характерным образом подчеркивается судьбой прилагательного «социальное» в таком ключевом для фиксации его значения словосочетании, как социальная наука. Это выражение впервые зафиксировано в первом издании знаменитого памфлета аббата Сийеса «Что такое третье сословие» (1789), и характерно, что в последующих изданиях оно заменено на «науку о социальном порядке» – выражение, несомненно, акцентировавшее прежде всего политические аспекты общественного устройства. Конечно же, это

свидетельствует о неустойчивости термина «социальная наука». Всё же подобные формулы быстро входят в обиход в годы Французской революции, причем science sociale выступает как взаимозаменяемое со science morale et politique и даже с art politique выражение. Очевидно, что общество, отделившееся от государства, рассматривалось тогда, прежде всего с точки зрения его отношений с государством, а не его внутренней организации. В эпоху революции проблема «толщи социального» ещё не стала первоочередной⁷.

Однако такое понимание социального в политических теориях конца XVIII – начала XIX в. не было единственной составляющей этого формирующегося из разных источников весьма сложного понятия. Параллельно концепции гражданского общества развивался его второй семантический полюс, а именно, комплекс представлений, связанных с идеей класса. Известно, что распространение теории классов в первой половине XIX в. было следствием осознания в годы Французской революции того факта, что после установления гражданского равенства в обществе сохранились другие формы неравенства, всегда чреватые социальными потрясениями. Современникам бросалось в глаза, прежде всего неравенство экономическое (даже если сейчас историки революции подчеркивают преимущественную роль культурных границ), и к такому пониманию их склоняли, в частности, политэкономические теории, ещё в XVIII в. в основных чертах выработавшие модель классового общества. То обстоятельство, что политическая экономия была тогда едва ли не единственной более или менее сложившейся наукой об обществе, неизбежно ставило теории общества в зависимость от её понятий и свойственного ей угла зрения. Такая ситуация сохранялась и на протяжении значительной части XIX в., так что в течение приблизительно столетия теории организации общества, ранее разрабатывавшиеся прежде всего юристами и, естественно, отражавшие свойственный им стиль мысли и их профессиональную культуру, оказались под влиянием интеллектуальных моделей политической экономии. Именно в этих условиях в первой половине XIX в. произошло становление второго семантического полюса понятия социального, иными словами, понятия общества как организованного в социальные группы множества индивидов, группы, которые в этот период чаще всего называются классами (причем это слово понимается, прежде всего, в смысле выделенной по экономическим критериям группы). Слово «класс», несомненно, выступает центральным элементом этого семантического полюса идеи общества⁸.

История языка свидетельствует о том, что к 30 – 40-м гг. XIX в. «классовый» полюс понятия социального вполне сформировался. Не говоря уже о выражении «социальные классы», общепринятыми в это время становятся формулы типа «социальное положение», «социальные слои», «социальные отношения», «социальное неравенство», «социальная иерархия» и т. д. Вместе с тем, за счёт преимущественно экономической точки зрения на

⁷ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 139.

⁸ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 139.

организацию общества только что начавшее высвободиться из-под главенства политики понятие социального попадало в новую зависимость, в этот раз – от экономики. Точнее сказать, два полюса социального ориентировались соответственно на политическую теорию (понятие гражданского общества) и на политическую экономию (понятие общества классов), т. е. были концептуально зависимы соответственно от понятий политической теории и политической экономики. Конечно, изначальная полицентричность⁹ делала понятие общества крайне неопределенным, но вместе с тем облегчала его формирование, придавала ему устойчивость и глубину, создавая особый эффект реальности, только усиливавшийся по мере дальнейшего усложнения этого понятия.

Подчеркнём, что между семантическими полюсами понятия социального существовали некоторые взаимосвязи, объяснявшиеся отчасти общностью происхождения этих полюсов из распадающегося комплекса политикой, отчасти же характерным для эпохи их формирования стилем мысли. Тем главным, что связывало оба полюса, был образ множества.

Мы уже отмечали роль интуиции множества в формировании концепции гражданского общества. Неразрывная связь между идеями множества и общества характерным образом подчеркивается историей такого важнейшего аспекта становления концепции гражданского общества, как история всеобщего избирательного права.

Введённое с небольшими ограничениями в 1792 г. всеобщее избирательное право долго вызывало критику, поскольку противоречило традиционному для европейской политической мысли убеждению в неспособности народа к принятию разумных и ответственных решений. Иными словами, между природой гражданского коллектива как множества и его способностью формулировать рациональную волю ощущалось противоречие, и один из первых радикальных сторонников всеобщего избирательного права, Кондорсе, пытался преодолеть это противоречие с помощью пробабилистских вычислений, рассматривая проблему рациональности воли множества как вероятностную проблему¹⁰. Невозможно более ясно связать идею общества с математической концепцией множества. С другой стороны, политическая экономия уже в XVIII в. разработала представление об автономном индивиде, поведение которого определяется рациональным учётом собственных интересов. Это представление было основой классической экономической теории, так что первая из социальных наук рассматривала общество именно как набор атомарных индивидов¹¹. Понятие социального, следовательно, изначально несло в себе образ множества, и в известном смысле общество было именем множества. Не случайны, поэтому разнообразные и прочные семантические связи социального с идеями анонимной массы¹².

⁹ Уже в это время существовал и третий полюс понятия социального, а именно, представление о социальном как противоположности природному, но его развитие мы подробнее рассмотрим ниже (см. Заключение).

¹⁰ Rosanvallon P. Le sacre du citoyen: Histoire du suffrage universel en France. Paris : Gallimard, 1992. P. 175.

¹¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 141.

¹² Парижская коммуна в своих листовках рекомендовала себя как «социальную и анонимную революцию». Позднее в социальной истории 1950–1960-х гг. эта тема всплывает в определении социальной истории как анонимной Пьером Губером (Goubert P. Beauvais et le Beauvaisis 1600 a 1730. Vol. 1. Paris, 1960. P. 5).

Но именно обнаружение связи социального с образом множества позволяет по-новому взглянуть на предысторию этого понятия и увидеть его зародыш в применении к рассуждениям об обществе определённого типа пространственных паралогик. И действительно, мы увидим, что важные элементы понятия социального сформировались ещё до того, как это слово получило широкое распространение в середине XVIII в. Первым когнитивным носителем идеи общества выступало не слово, но образ подлежащего эмпирическому упорядочению множества, и если слово привело к консолидации понятия, родилось это понятие не в слове. **Общество рождается из логики пространства, но для того, чтобы стать носителем идеи общества, само пространство должно было быть определенным образом помыслено**¹³.

Понятие социального развивается из правовых и административных теорий XVII в. и в особенности из интеллектуального опыта того, что тогда называли политической арифметикой, а с XVIII в. стали называть статистикой¹⁴. Правда, в статистике того времени преобладали процедуры чисто качественного описания, но, тем не менее, она стремилась использовать и количественные методы, воздействие которых на мышление современников не приходится недооценивать. Опыт статистики вел к математизации социальных теорий, на которые распространялся стиль мысли, свойственный эпохе рождения современной науки, глубинное убеждение которой состояло в том, что мир написан на языке математических формул¹⁵. **Иными словами, в XVII в. имела место такая же переориентация мысли на опыт невербального характера, на опыт эмпирического упорядочения, как и та, которая дала рождение социальной истории 1960-х гг.** Пространственный опыт, который в XVII в. привёл к рождению социального, настолько глубоко отпечатался в этом понятии, что может, по-видимому, рассматриваться как данный в нём, так что при благоприятных условиях он легко актуализируется, приводя к воспроизведению одних и тех же фигур мысли. Поэтому ничего удивительного нет в том, что между теориями общества юристов XVII в. и социальных историков 1960-х гг. мы найдём немало структурных аналогий¹⁶.

Понимание социальной истории как истории неизвестных, позволяющей услышать голос тех, кого традиционная историография лишала права быть услышанными, было важнейшей составляющей пафоса демократически и социалистически ориентированных историков 1960 – 1970-х гг.

¹³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 142.

¹⁴ Desrosières A. La politique des grands nombres: Histoire de la raison Paris: La Découverte, 1993.

¹⁵ В частности, между построениями юристов и математическими теориями XVII в. существовали прочные, причем двусторонние связи. Так, на широко обсуждавшийся юристами (и богословами) XVII в. вопрос о сопоставимости ожиданий участников социальных взаимодействий многие, в том числе Паскаль и Лейбниц, пытались найти ответ с помощью математического конструирования пространства сопоставимости разнородных величин, так что проблематика математики, в данном случае приведшая к открытию теории случайностей, как бы предфигурировалась проблематикой юриспруденции. Тем более социальные теории испытывали влияние математики. См.: Coumet E. La théorie du hasard est-elle née par hasard? // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1970. Vol. 25. N9 3. P. 574-598; Desrosières A. La politique des grands nombres... P. 45-64.

¹⁶ Конечно, отчасти эти аналогии могут быть объяснены воздействием на историков, использовавшихся ими источников, что может быть рассмотрено как проявление сосредоточенной в понятиях власти памяти, которая передается по самым разнообразным каналам. Вместе с тем актуализация отложившихся в понятиях форм воображения зависит и от её контекста, иными словами, определяется трудно объяснимыми флуктуациями форм исторического воображения.

«Рождение социального» было связано в XVII в. с формированием той же логической структуры проблемы, с какой имели дело социальные историки 1960-х гг., именно в связи с необходимостью описания общества в условиях, когда **обнаружилась множественность факторов социальной иерархии и несовпадение разных иерархий между собой**. Эти проблемы естественно возникли как результат стремительных социальных трансформаций раннего нового времени. Здесь нет необходимости подробно останавливаться на этих трансформациях¹⁷. Подчеркнём только, что в эпоху развития раннего капитализма и становления централизованного государства с его административным аппаратом и фискальной системой для социального положения индивидов повышенное значение приобрели факторы, связанные с новыми формами богатства и участия в политической власти. В особенности формирование богатого и влиятельного чиновничества – «дворянства мантии» – вызывало у современников чувство нарушения традиционного социального порядка, и даже привычная модель трёх сословий, на протяжении столетий служившая непререкаемым кадром размышлений об обществе, была поставлена под сомнение, поскольку о чиновниках иногда говорили как о четвертом сословии. Колоссальную роль в общественном мнении играла и проблема денег как нового фактора социального положения. В эпоху, когда богатство отождествляли с золотом, символом богатства выступали финансисты и банкиры, многие из которых принадлежали к третьему сословию (или недавно вышли из него), так что между иерархией богатств и иерархией сословий образовывалось очевидное несовпадение. Чрезвычайно остро стоял и вопрос о критериях дворянства, поскольку тенденция к замыканию родовитого дворянства перед лицом массового аноблирования чиновников и буржуа постоянно ставила, в том числе и в весьма конкретных формах судебной практики, вопрос о том, как отличить дворянина от простолюдина. Все это с неизбежностью вызывало острую символическую борьбу, а бурные обсуждения индивидуальных случаев, как обычно и бывает, очень быстро переходили в споры о принципах и критериях суждения. Иными словами, перед общественным сознанием встали вопросы о структуре общества, о границах между отдельными группами и о критериях, позволявших определять индивидуальные «ранги». Характерно, что все эти вопросы возникали в связи с задачей эмпирического упорядочения множества, ибо королевской власти приходилось на практике «упорядочивать» массу подданных, социальный статус которых вдруг начал вызывать сомнения¹⁸.

Во второй половине XVI и в XVII в. во Франции было опубликовано значительное количество трактатов о дворянстве, самый факт появления которых свидетельствует, безусловно, о злободневности проблемы социальных границ. Главное место среди них занимают вполне практически ориентированные пособия по праву, которые знаменитые юрисконсульты составляли в помощь коллегам. Развитие политической мысли во Франции XVI–XVII вв. вообще было, прежде всего, делом юристов, из-под их пера

¹⁷ Копосов Н. Е. Франция // История Европы. Т. 3. М.: Наука, 1993. С. 50-57, 174-187.

¹⁸ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 144.

вышли и наиболее значительные описания общества (в соответствии с моделью политики рассматриваемого с точки зрения организации его государством). Авторы трактатов стремились не только поведать читателям, в чем сущность дворянства (хотя многие из них не удержались от такого соблазна и почти все хотя бы кратко касались данного вопроса), но и указать правила для решения конкретных казусов, будь то тяжбы о наследстве или об уплате налогов. Классификация индивидов с очевидностью выступает как разделенный интеллектуальный опыт авторов и читателей трактатов о дворянстве. Логика трактатов была обычно такова: сначала набрасывалась схема основных категорий, по которым происходила классификация¹⁹, а затем начиналось обсуждение вопроса о принципах классификационных суждений. Естественно, что, пока излагалась общая схема, социальные термины понимались как сущности²⁰. Однако с их определением возникали трудности, и при попытках дать таковые авторы либо ограничивались общими формулами²¹, либо предвосхищали некоторые элементы правил идентификации, о которых они говорили далее²². Уже в этом заметна характерная тенденция к пренебрежению определениями и акциденциями в пользу идентификационных свойств. Однако эти группы свойств далеко не обязательно совпадают между собой. Более того, наиболее эффективно идентифицировать индивидов как членов той или иной категории обычно позволяют вторичные свойства, не попадающие в определение данной категории.

В рассматриваемых трактатах о дворянстве вопрос об идентификации обычно сводился к доказательству дворянства. На протяжении XVI–XVII вв. во Франции была разработана сложная система доказательства дворянства. Она была созданием как юристов, рассматривавших тяжбы о дворянстве, так и генеалогистов, использовавших для составления дворянских родословных разнообразную исследовательскую технику, созданную историками века эрудиции²³. Для доказательства разных форм дворянства предусматривалось

¹⁹ Таковыми категориями обычно оказывались родовитые дворяне, аnobлированные и простолюдины или дворяне шпаги, дворяне мантии и простолюдины.

²⁰ Обычно социальная категория называлась именем нарицательным во множественном числе (например, «дворяне»), и общим свойством её членов и сущностью категории считалось соответствующее абстрактное имя (например, «дворянство») – слово понималось почти исключительно не как собирательное, но как абстрактное имя, т. е. характеризующее не группу лиц, но их статус). При этом очевидны отсылки к аристотелевским категориям как к логической модели: «Сословие ... есть род достоинства., которое одинаково и под одним и тем же именем принадлежит многим лицам». В другом месте Луазо характеризует сословие как «неотделимую (от лица. – Н. К.) акциденцию, т. е. квалифицирует его как логическую категорию. Не менее характерны и замечания Луазо о том, что к сословию «нельзя принадлежать наполовину» и что «во Франции дерзкая фраза: "Я такой же дворянин, как и король" по сути, вполне правильна» Все это, конечно же, подразумевает логику необходимых и достаточных условий. Последняя фраза вообще может считаться настолько же классическим примером аристотелевской категории, насколько оруэлловское «некоторые животные равны между собой больше» является примером прототипической категории.

²¹ Например, Луазо понимал дворянство как «особую пригодность к получению должностей или сеньорий», т. е. к осуществлению публичной власти.

²² Например, Жан Баке определяет родовитых дворян как тех, «кто происходит из дворянских семей и чьи предки всегда жили по-дворянски, поступали по-дворянски и называли себя дворянами и никогда не облагались тальей, эд или другими налогами, которыми обычно облагают простолюдинов». Эта формула – лишь краткая версия даваемой Баке характеристики тех показаний, которые королевские комиссары должны получить от свидетелей для того, чтобы удостовериться в дворянстве того или иного человека.

²³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 146.

представление документов разных типов¹. Но подобные критерии, позволявшие позволявшие судить о дворянском происхождении отдельных лиц, носили слишком практический характер и никак не продвигали вперед с определением дворянства. **Критерии классификации были лишь слабо связаны со значением понятия.** В самом деле, можно ли считать правила представления доказательств дворянства логическим определением соответствующих категорий дворян? Естественно, что это – весьма неудачные определения, поскольку они мало что сообщают нам о сущности определяемых категорий. Кроме того, категорий дворян было много, и если для каждой можно было разработать правила идентификации, из суммы этих правил, вполне эффективных на практике, тем более никак не следовала «идея дворянства». Иными словами, между представлением о дворянстве как о некоторой сущности и суммой правил, разработанных для идентификации индивидов как дворян, существовал зазор, и преимущественное внимание, которое в трактатах о дворянстве уделялось проблемам идентификации, свидетельствует об ориентации мысли авторов трактатов не на значение понятия, но на индивидуальные случаи. С этой точки зрения характерно и то, что важнейшим источником развиваемых в трактатах теорий были не только королевские указы, кутюмы или комментарии знаменитых предшественников, но и судебная практика. Трактаты нередко цитируют судебные прецеденты. Создается впечатление, что перед умственным взором их авторов стоят целые серии классификационных суждений в виде судебных приговоров.

Ориентация мысли на индивидуальные случаи не менее очевидно выступает в деятельности генеалогистов, как королевских, так и частных, составивших родословные многих тысяч дворянских семей. В ходе «реформации дворянства» при Людовике XIV в провинции были разосланы комиссии, которые должны были проверить доказательства у всех дворян королевства, и в некоторой степени справились с этой задачей. На основе опыта таких комиссий были написаны дворянские трактаты (например, Бельгиза и Менетръе), и он, безусловно, проник в общественное сознание. Иными словами, элементарный опыт множества в условиях, когда королевская власть делала попытки «информационного освоения» королевства, стимулировал применение статистических форм мышления к обществу. Конечно, когда генеалогист выдавал дворянский сертификат или когда королевский комиссар признавал дворянство той или иной семьи, речь шла о распределении новых случаев по предсуществующим категориям социального словаря. Эмпирически упорядочивать множество в чистом виде здесь не приходилось, но все же ориентация мысли на индивидуальные случаи была несомненной, а количество этих случаев не могло не дать элементарного опыта множества². В итоге наряду

¹ Для дворян мантии, например, доказательством дворянства считалось представление документов, свидетельствовавших о том, что дед и отец претендента занимали аноблирующие должности и служили в них не менее чем по двадцать лет (или умерли, облеченные ими). Другие дворяне должны были представить не менее чем по три документа для каждого поколения своих предков, в которых эти предки именовались дворянами и выступали в роли дворян (например, упоминались в списках дворянского ополчения).

² В практике генеалогистов такие множества накапливались диахронически в виде собираемых из поколения в поколение многих тысяч фамильных досье, но, например, в работе разъездных комиссий элемент

наряду с представлением о множественности факторов социального статуса и об отличии идентификационных критериев от определения сущности разделенным опытом становилось ощущение подлежащего классификации множества – даже если пока речь шла лишь о распределении индивидов по предсуществующим категориям.

Идея множественности факторов социального статуса постепенно формулируется на протяжении XVII в. Еще в трактатах конца XVI – начала XVII в., в том числе и у Луазо, она появляется лишь в форме традиционного представления о различных социальных функциях, носителями которых выступали разные категории подданных короля. Эти категории никак не пересекались. Напротив, юристы мыслили их как параллельные и стремились по возможности последовательно разграничить их. Идея множественности факторов статуса каждого индивида, предполагающая модель пересекающихся иерархий, в каждой из которых индивид мог занимать весьма различное положение, постепенно распространяется на протяжении XVII в. К концу столетия представление об обществе как о множестве индивидов также стало достаточно обычным. Логические выводы из нового интеллектуального опыта общества были сделаны Жаном Дома, наиболее значительным юристом эпохи Людовика XIV и последним крупным представителем той традиции политической мысли, в рамках которой во Франции была выработана теория абсолютной монархии.

Жан Дома эксплицитно формулирует тезис множественности критериев социального статуса и решительно отрицает схему трех сословий¹. Ранее представлявшиеся параллельными категории, выделенные на основании различия их социальных функций, в его воображении пересеклись. Это было решающим разрывом с традиционной моделью общества. Дома, несомненно, мыслит в терминах подлежащего упорядочению на основе различных критериев множества. Правда, создается впечатление, что он колеблется между **пониманием этого множества как множества «состояний» (conditions)**, своего рода «минисословий», и множества индивидуальных рангов, хотя прекрасно понимает, что статус индивида далеко не равен статусу его сословия. Однако слово conditions, которое может значить и то, и другое, позволяет сохранять некоторую неясность в этом вопросе. С одной стороны, безусловно, главной темой Дома является соотнесение между собой индивидуальных рангов, с другой – он, очевидно, говорит **не только о множестве индивидов, но и о множестве «положений», «профессий» и «классов», об их группировке в сословия и в конечном итоге – об их объединении в «общество» (société)**. Но в любом случае, даже коллективных «рангов состояний» в его понимании настолько много, и они настолько различны между собой, что вполне оправдана аналогия между упорядочением индивидов и социальных категорий. Не пытаясь перечислить все слишком многочисленные «положения и профессии», Дома предпочитает просто выделить основные критерии, с помощью которых можно решать вопросы соотношения индивидуальных

синхронического множества был весьма силен.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 148.

рангов. Таких основных принципов, с его точки зрения, пять – честь, достоинство, власть, необходимость и полезность для общества. Опираясь на них, можно эмпирически классифицировать индивидов, соотнося их друг с другом¹.

Дома формулирует правила этой процедуры настолько недвусмысленно, что не остается сомнений, что речь идет именно о соотношении синтетических индивидуальных статусов. Создается впечатление, что до этого момента он рассуждает, прежде всего, в терминах многомерной модели: индивидуальные ранги соотносимы на основании множества критериев, но для описания общества бессмысленно перечислять слишком многочисленные ранги и лучше просто охарактеризовать основные принципы, т. е. основания частичных пересекающихся иерархий. Это – именно та позиция, которую на исходе спора о классах и сословиях заняли Ж.-К. Перро и Г. Шоссинан-Ногаре, отказавшись от поиска синтетической социальной иерархии в пользу модели пересекающихся иерархий, описания которых достаточно для характеристики социальной структуры. Но не случайно Дома не мог выбрать между пониманием множества как множества индивидов и множества минисословий. Группировка последних делала такую позицию невозможной. Как и участники спора о классах и сословиях, Дома пытался свести многомерное пространство к единой иерархии общества. И, подобно позднейшим историкам, он не имел лингвистических средств для выражения идеи синтетической иерархии. Дома предлагает свою рубрикацию, несколько модифицировав предшествующие схемы общества сословий, но тоже в основном опираясь на принцип параллельных выделенных на основе социальных функций категорий, иными словами, переходя от многомерной модели к одномерной частичной иерархии, однако с некоторыми логическими нарушениями, создающими ощущение приближенности к синтетической. Иначе говоря, не умея справиться с задачей описания синтетической иерархии, но, испытывая потребность в ней, Дома вместо проецирования своей многомерной модели на синтетическое измерение производит бриколаж, ориентирующийся на одномерную иерархию, сформированную по разным основаниям, о логических достоинствах которой можно сказать все то же самое, что и о классификациях современных историков. Иными словами, он проделывает ровно то же, что и социальные историки 1960-х гг., и мы видели предпосылки к этому в его мысли – стремление упорядочивать минисословия. Конечно, Дома ещё не знал, что эта неуловимая прямая будет называться подлинной социальной иерархией, но искал он именно её же – и по тем же причинам. Поэтому можно говорить о рождении социального из пространственных паралогик, подлежащих процессу эмпирической группировки, рождении первоначально в образе линии, в которую сворачивается многомерное пространство и вокруг которой позднее стали группироваться новые элементы, затем покрытые пришедшим из другой традиции именем общества².

Именно в такой интеллектуальной обстановке был выработан Тариф

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 149.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 151.

первой капитации. Как уже отмечалось, Ф. Блюш и Ж.-Ф. Солнон считают его выражением подлинной социальной иерархии Старой Франции. На наш взгляд, Тариф, хотя и с некоторыми погрешностями, отражает скорее иерархию богатств. Тем не менее, по своей форме он мог бы быть описанием той синтетической иерархии, которая рисовалась воображению и Жана Дома, и социальных историков 1960-х гг. Интеллектуальные процедуры, с помощью которых был выработан Тариф, были близки к тем, которые необходимы для конструирования «подлинной социальной иерархии», так что Ф. Блюш и Ж.-Ф. Солнон приписали авторам Тарифа свои собственные цели на том основании, что те использовали аналогичные методы. Для нас поэтому Тариф интересен тем, что использованные в нем процедуры показывают доступность современникам Короля-Солнца логики эмпирического упорядочения и возможность её применения при размышлениях об обществе. Наряду с трактатом Жана Дома Тариф капитации склоняет к мысли, что эмбрион понятия социального сформировался в конце XVII в. в виде пространственных паралогик, по сию пору с трудом отделимых от этого понятия.

Капитация была первым в истории Франции всеобщим прямым налогом, который Людовик XIV вынужден был ввести в тяжелые годы войны с Аугсбургской Лигой. «Дитя необходимости» (по словам М. Мариона), капитация была, тем не менее, не просто конкретной мерой покрытия бюджетного дефицита, подобной переплавке серебряной посуды. Она вписывается в несомненную, хотя и крайне неустойчивую, политику модернизации архаичной и неэффективной фискальной системы королевства и может считаться одной из относительно удачных в череде состоявшихся в основном из провалов финансовых реформ. Как и другие реформы Людовика XIV, она была половинчатой, тем более что именно в финансовой сфере модернизация слишком непосредственно задевала интересы привилегированных. В ней изначально был заложен компромисс между новаторской идеей подоходного налога и логикой общества сословий и корпораций, не считаться с которой отнюдь не обделенные чувством реальности руководители финансового ведомства, конечно, не могли.

Генеральному контролеру финансов Понтшартрену и его клеркам приходилось учитывать различные соображения, начиная от трезвой оценки эффективности собственного аппарата и взимаемости налогов, наличия информации, позиции общественного мнения (вплоть до опасности налоговых бунтов), реакции за рубежом и т. д. Надо было, чтобы новый налог стал относительно популярным и, следовательно, не очень походил на считавшиеся несправедливыми традиционные налоги. Но он не должен был и слишком нарушать привычные представления об обществе, чтобы не спровоцировать массу новых конфликтов необдуманном новаторством. Принцип всеобщего участия подданных в финансовом бремени тяжелой войны мог быть (и, действительно, в известной мере был) встречен с пониманием. Но механизмы реализации этого принципа должны были быть по возможности простыми, чтобы налог мог быть собран быстро и не вызвал ненужных осложнений. С этих позиций генеральный контролер и рассматривал предложенные проекты

капитации. Новаторские проекты капитации как подоходного налога были представлены двумя видными военными советниками Людовика XIV – маршалом Вобаном и маркизом де Шамле, проявлявшими интерес к экономической политике (Вобан был одним из крупнейших экономистов своего времени). Поскольку практически оценить подлежащие обложению доходы без вмешательства «в секреты семей» было затруднительно, речь шла об обложении в соответствующей пропорции всей приносящей доход собственности. Эффективность такого подхода, однако, вызывала сомнения (причем не только у генерального контролера, но и у самих авторов проекта), поскольку оценка доходности, например, поместий должна была быть поручена местным финансовым чиновникам, а никакого доверия к ним правительство не испытывало. Возникал риск злоупотреблений, бесконечных жалоб, судебных процессов, а в итоге – общественного недовольства и затяжек с уплатой налога¹.

Поэтому Понтшартрен предпочел воплотить идею подоходного налога в форме налога с «положения». Здесь, конечно, существовала возможность явного несоответствия ранга и платежеспособности, но генеральному контролеру это представлялось меньшим злом, поскольку всегда можно было сделать индивидуальные скидки (известно, что в итоге их было сделано столько, что налог принес гораздо менее ожидаемого). К тому же перечень в Тарифе всех должностей и рангов, начиная от дофина, должен был иметь пропагандистский эффект, демонстрируя разделённость бремени войны. Иными словами, отсутствие надежного инструмента для исчисления индивидуальных доходов привело к тому, что первый подоходный налог был реализован в более привычной форме налога с «положения». Но если на первый взгляд может показаться, что составители Тарифа мыслили категориями Луазо, то более внимательный анализ показывает характерные отступления от этой логики.

Главная трудность для авторов Тарифа заключалась в соотношении «положений». В их распоряжении не было единой оценочной шкалы. **Как, в самом деле, сопоставить титул и должность?** Далее, даже для должностей не существовало единой иерархии. Должности делились на военные, судейские и финансовые (не говоря о более мелких категориях), и для каждой из этих групп имела особая, хотя порой и небесспорная, иерархия. Такое положение одновременно и облегчало, и усложняло задачу составителей. С одной стороны, они получали для каждой категории должностей оценочную шкалу, с другой – оказывались связанными её авторитетом. Для учёта соображений богатства здесь просто не оставалось места. Несколько большую независимость составители Тарифа могли проявить при наложении шкал друг на друга, и именно здесь они проявили тенденцию мыслить в терминах богатства.

Сравнение оценок Тарифа с данными о состояниях некоторых социальных категорий показывает довольно правдоподобный учет реального положения дел, при том, что некоторые категории пользовались благосклонностью правительства (военное дворянство), а некоторые, напротив,

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 153.

были систематически переобложены (финансисты), что также только могло приветствоваться общественным мнением и с самого начала входило в намерения авторов проекта. Иными словами, при составлении классов капитации клерки Понтшартрена стремились схватить их соотношение между собой именно по частичной имущественной иерархии. Однако поскольку в классификационное суждение вмешивалось несколько типов соображений – от социальных симпатий правительства и мифов о сказочных богатствах финансистов до оценки перспективности взимания налогов со знати и необходимости считаться с традиционными шкалами, – классификационное суждение носило синтетический характер, т. е. было структурно таким же, как если бы составители Тарифа пытались описать синтетическую социальную иерархию. В самом деле, всего клерки выделили 569 рангов, названных настолько пестрыми терминами, что масса их наименований производила эффект притупления аналитической интуиции. Именно поэтому группировка рангов в 22 класса была подобна группировке имен собственных. Ибо иначе, чем с помощью абстрагирующегося от коннотаций синтетического суждения, соотнести между собой это обилие терминов было невозможно. Иными словами, суть процедуры состояла в распределении по универсальной шкале обобщенных образов индивидов – типичных представителей рангов. При небольших подвижках такая схема позволяла уловить разные иерархии, но в любом случае слова Тарифа должны были пройти семантическое опустошение, чтобы быть соотнесенными с квотами налога. Поэтому Ф. Блюш и Ж.-Ф. Солнон так легко приняли Тариф за выражение той самой синтетической иерархии, которую они искали².

Итак, интеллектуальный аппарат, необходимый для конструирования синтетической социальной иерархии, сформировался к концу XVII в., и можно сказать, что важнейший элемент понятия социального был тем самым выработан с помощью невербальных ресурсов. Это явилось характерным проявлением свойственного эпохе стиля мысли. Имеющаяся социальная терминология оказалась слишком тесно связана с привычными способами думать и традиционными репрезентациями социального мира. Лексического материала решительно не хватало для формулировки новых идей. Постепенная, болезненная выработка новой системы понятий, причем понятий нового типа, – по-видимому, один из важнейших элементов формирования нового мира. Решающим этапом этого процесса обычно считают вторую половину XVIII – первую половину XIX в., «переломное время» (Sattelziet), в терминологии Райнхарда Козеллека. Именно тогда окончательно сформировались и современные понятия общества и государства.³ набросанная здесь предыстория социального – прелюдия переломного времени. Но она связана с семантическими трансформациями переломного времени не только по своему содержанию, но и по мобилизованным ею интеллектуальным ресурсам. Остановимся на этом подробнее.

Две основные концепции семантических трансформаций переломного

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 156.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 156.

времени принадлежат М. Фуко и Р. Козеллеку⁴. Оба автора говорят о некотором высвобождении социальной мысли по отношению к словам. По мнению М. Фуко, «эпистема» научной мысли этого периода, в отличие от классической эпистемы XVII–XVIII вв., уже не исходит из обязательного соответствия слов и вещей, что создает основу для формирования понятий нового типа. Р. Козеллек приходит к близкому заключению, анализируя изменение темпоральных структур социальных понятий. По Козеллеку, каждое понятие отражает некоторый наличный опыт и набрасывает определённый проект будущего. Поэтому можно говорить о двух по-разному ориентированных во времени частях понятия – об области опыта и о горизонте ожиданий. В средние века и в раннее новое время социальные понятия характеризовались преобладанием области опыта, поскольку в них описывалось чрезвычайно гетерогенное общество партикуляристского типа, общество привилегий. Напротив, в «переломное время» социальные понятия решительно устремляются в будущее, разрывают связи с областью опыта и ориентируются на горизонт ожиданий. В них формулируется, оспаривается, переформулируется проект общества будущего, зачастую лишь весьма слабо подкрепленный наличным социальным опытом. Но ведь проект будущего не может быть столь же детальным, как описание наличного бытия. Новые понятия по необходимости являются, прежде всего, общими понятиями, так что над пестрым словарем партикуляристского общества как бы надстраивается новый словарь более абстрактных социальных категорий. Иными словами, социальная мысль отчасти высвобождается из-под власти слов прошлого, и несовпадение структуры общества будущего, описанного в новых абстрактных категориях, со структурой общества прошлого, описанного в конкретных понятиях, лучше всего показывает это. В итоге происходит приблизительно то же, о чём говорит и Фуко: понятия, создавая для себя новые формы языкового воплощения, получают большую, чем раньше, независимость от слов.

Мы не будем подробно анализировать эти теории. Подчеркнём только то обстоятельство, что высвобождение мысли из-под власти слов по необходимости предполагало её ориентацию на иные когнитивные носители, и среди последних особое место принадлежало пространственному воображению. Мы видели связь описываемых Фуко и Козеллеком трансформаций со становлением нового типа реализма, проявившегося в обострении скрытого в социальных понятиях конфликта опыта слов и опыта вещей⁶⁶. Анализ предыстории социального приводит к аналогичному выводу, поскольку, как мы видели, именно пространственные паралогики способствовали оформлению интуиции особого уровня бытия, позднее названного социальным, и кристаллизации понятия общества, прообразом которого послужила идея множества. Такая ориентация мысли на пространственные паралогики была в значительной мере обусловлена

⁴ Foucault M. Les mots et les choses. Paris : Gallimard, 1966 ; Koselleck R. Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. Характерна хронологическая близость этих концепций – 1960-е гг., когда формируется и интеллектуальная задача социальной истории, мобилизующая те же ресурсы воображения.

происшедшей в XV–XVII вв. революцией в визуальной культуре⁵.

Историки искусства многократно описывали эту революцию, открытую изобретением перспективы в ренессансной Италии и достигшую апогея в галилеевской науке и классической живописи XVII в. Её результатом стала актуализация опыта зрения и зрительных форм пространства как референциального кадра абстрактного мышления. Рациональное пространство декартовых координат становится непререкаемой метафорой мира, оттеснив на второй план опыт как других чувств, прежде всего слуха и осязания, так и других форм пространства⁶. Это явилось важнейшей интеллектуальной предпосылкой отмеченных выше перемен в образах общества, которые произошли за время, разделяющее Шарля Луазо и Жана Дома. Интеллектуальным аналогом теории Луазо выступает неопределённо мобилизованное пространство списка, тогда как аналогом теории Дома – напряженно прочувствованное пространство декартовых координат. Мысль Луазо следует логике имен, обозначающих сущности. Дома стремится мыслить в пространстве, где вещи повинуются власти координат.

Однако родившееся из пространственных паралогик понятие социального *avant la lettre* – или, точнее, его эмбрион – не получило непосредственного развития в общественной мысли XVIII в. Ориентация на сложную многомерную модель, проецируемую на одно результирующее измерение, была сравнительно кратким моментом в истории социальных теорий Старого Порядка. Этого момента оказалось достаточно для того, чтобы сформировался один из элементов будущего понятия социального, одна из воплощенных в образе фигур мысли, вошедших в семантический комплекс данного понятия. По-видимому, возникновение образа синтетической иерархии существенно облегчило формирование идеи общества и, возможно, послужило исходным пунктом кристаллизации различных семантических элементов в единый комплекс⁷.

Век Просвещения не благоприятствовал развитию сложных интеллектуальных моделей, скрывавших попытки найти компромисс между

⁵ Конечно, специализация мысли не была исключительно уделом этой эпохи. По-видимому, она свойственна периодам усиления рациональности мышления и усложнения классификационных схем. А. Рей показал взаимосвязь развития евклидова пространства как источника логических инференций со становлением рационалистической науки и философии в Древней Греции (Rey A. *La science dans l'Antiquité*. Vol. 1. Paris, 1930. P. 440 – 450). Жак Ле Гофф подчеркивает роль специализации мысли для важнейших интеллектуальных перемен XII–XIII вв., т. е. периода схождения «с небес на землю», важнейшего этапа секуляризации европейской мысли (Le Goff J. *La naissance du purgatoire*. P. 11, 13, 17, 305; см. также: Ле Гофф Ж. *С небес на землю: Перемены в системе ценностных ориентации на христианском Западе XII–XIII вв.* // *Одиссей* 1991. М.: Наука, 1991. С. 25 – 47).

⁶ Среди многих других Февр подчеркивал роль этой переориентации на зрение в формировании рационалистического мировоззрения и картины мира галилеевской науки (Febvre L. *Le problème de l'incroyance au XVI^e siècle: La religion de Rable*. Paris: A. Michele, 1962. P. 461–475. См. также: Mandrou R. *Introduction à la France moderne (1500-1640): Essai de psychologie historique*. Paris: A. Michele, 1961. P. 76 - 82). Другие исследователи проследили связь развития логики с ориентацией мысли на опыт зрения, в частности, с превращением трехмерного пространства в непререкаемый кадр логических референций. На связь между специализацией мышления и стремлением юристов второй половины XVI в. к точным классификациям обращал внимание Э. Леруа Ладюри (Le Roy Ladurie E. *Les structures de la monarchie au XVI^e siècle* // *Historia*. № 484. 1987. Avril. P. 11). В этот процесс и вписывается использование пространственных паралогик для конструирования социального *avant la lettre*.

⁷ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 159.

традициями общества привилегий и более современными представлениями о человеческой природе. Утонченная интеллектуальная культура «юрисконсультов», в рамках которой взаимодействие традиционного социального словаря с новым пространственным воображением впервые породило интуицию социального, уходила в прошлое. Лишь намеченное в образе синтетического измерения многомерной структуры, не вполне отделившееся от традиционной модели лингвистического описания, еще не имеющее имени и, как мы знаем, противоречащее важным языковым интуициям, новое представление о социальном оказалось весьма непрочным, и уже в XVIII в. происходит зарождение классовой модели общества, типологически гораздо более близкой к отвергнутой в XVII в. модели общества сословий. Главным местом выработки новых представлений об обществе стала политическая экономия. Новая школа, забыв о тех трудностях, которые были связаны с осознанием многообразия факторов социальной дифференциации, строила свое понимание общества, прежде всего на основе анализа экономических функций различных групп населения. После достигнутого в какой-то момент баланса между концепцией общества сословий и осознанием роли денежного богатства, когда зародилась пространственная интуиция синтетической социальной иерархии, вновь началось движение к одномерной модели, сопровождаемое переменой в типе профессиональной культуры главных теоретиков общества. Эта новая тенденция становится доминирующей на столетие–полтора.

Уже в конце царствования Людовика XIV некоторые элементы концепции классов использовались зарождающейся либеральной оппозицией. Именно в связи с критикой первой капитации, главный недостаток которой он видел в очевидном несовпадении «положений» и богатств, Буагильбер писал: «Классов имеется столько же, сколько степеней богатства»⁸. Физиократы говорили о классе сельскохозяйственных производителей, промышленном классе и т. д. А накануне Французской революции у авторов типа Антуана Барнава исследователи констатируют вполне сложившееся классовое видение общества⁹. Опыт революции привел к дополнению концепции классов идеей классовой борьбы, которая с тех пор стала неотъемлемым элементом понятия класса. Но, несмотря на то, что именно с этими концепциями обычно связывают окончательное формирование понятия общества, в известном смысле теории классовой борьбы были менее последовательны по сравнению с Жаном Дома и клерками Понтшартрена, поскольку «автономия социального» в их теориях оказалась утрачена. Именно поэтому **последующие попытки обнаружить «социальное в собственном смысле», в том числе и социальная история 1960-х гг., интеллектуально ближе к Дома, чем к Марксу.**

На протяжении значительной части XIX в. понятийный аппарат для анализа общества оставался примерно таким же, каким он сложился в послереволюционные десятилетия. С одной стороны, имелась теория

⁸ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 160.

⁹ Mousnier R. Les institutions de la France sous la monarchie absolue. Vol. 1. Paris : Presses Universitaires de France, 1974.

гражданского общества, с другой – теории классов и классовой борьбы. Дальнейшее развитие идеи социального приходится уже на последние десятилетия XIX в., и оно было связано, прежде всего, с двумя факторами: во-первых, с возникновением «социального вопроса» и его выдвиганием на авансцену политической борьбы и, во-вторых, с формированием новых концепций сознания. Именно тогда понятие социального в полной мере сложилось в его современном виде, а именно, в качестве предмета социальных наук. Однако прежде чем перейти к этим сюжетам, мы должны остановиться на проблеме формирования социальной истории, ибо она стала местом выработки одного из важнейших для понимания спора о классах и сословиях аспектов понятия социального. Речь идёт о стратифицированном образе истории, в рамках которого сложилось «узкое» понимание социального, являвшееся коррелятом идеи синтетической социальной иерархии и входящее наряду с ним в одну систему исторического воображения¹⁰.

¹⁰ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 161.

Глава 4. Невроз рубрикации

А. Маслоу называл рубрикацией «патологическую категоризацию» – одну из свойственных учёным «когнитивных патологий», невротических реакций, скрывающих страх перед познанием живой действительности, который порождает стремление укрыться в мире формализованных научных объектов и дискурсивных категорий¹¹. Видимо, «невротическую составляющую» науки имел в виду и Х. Кёльнер, подчеркивая, что «области формальных исследований суть комплексы защиты против состояний беспокойства». Эти состояния, по Кёльнеру, вызываются навязчивым, хотя и скрытым, присутствием в общественном сознании некоторых болезненных тем, равно как и нарушениями когнитивного комфорта, который обеспечивается благодаря соблюдению предписываемых интеллектуальной практикой профессии правил мышления и вытеснению порождающих тревогу фигур мысли. Если следовать этим оценкам, рубрикация истории – и, шире, метадискурс социальных категорий – представляет интерес с двух точек зрения. В той мере, в какой рубрикация обеспечивает когнитивный комфорт, её можно рассматривать как проявление работы некоторых когнитивных механизмов, иными словами, как проявление форм разума, проецируемых на историю. Но вместе с тем рубрикация позволяет на языке формальной тематизации мира выражать внеположенное своему буквальному смыслу содержание. Именно поэтому она служит важнейшим семиологическим механизмом исторического дискурса, основой современной историографии как символической формы¹².

С когнитивной стороны рубрикация истории в значительной степени является делом пространственного воображения. Анализ небольшого текста Люсьена Февра послужит нам введением в эту тему. Речь идет о рецензии на вышедшую в 1929 г. с предисловием Шарля Сеньобоса «Историю России». В этой рецензии Февр подверг критике интеллектуальную модель позитивистской историографии, проявившуюся (если воспользоваться словами Сеньобоса) в «раздельном и последовательном изложении групп фактов различной природы – политической, социальной, экономической, интеллектуальной». По этому поводу Февр пишет: «Вот то, что я называю системой комода, доброго старого комода из красного дерева, гордости хозяйства скромного буржуа. Всё так хорошо разложено, в таком замечательном порядке! Верхний ящик – политика, "внутренняя" – справа, "внешняя" – слева. Второй ящик: правый угол – "движение населения"; левый угол – "организация общества" (организация кем? Полагаю, политической властью, которая с высоты ящика номер один

¹¹ С точки зрения Маслоу, для науки характерен постоянный конфликт между стремлением к познанию и страхом познания, так что «познание включает защиту от самого себя», и при соответствующих обстоятельствах наука становится «защитной реакцией.., философией спокойствия.., изощрённым способом избегать состояний тревоги и неприятных проблем. В пределе она может стать бегством от жизни». Подробнее А. Маслоу анализирует психологию рубрикации в книге: Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. С. 285–308.

¹² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 163.

руководит, управляет и повелевает всем). – Это концепция. Концепция и в том, чтобы поместить "экономику" после "общества". Но она не нова. Я был зеленым юношей, искавшим свой путь, когда в лависсовской "Истории Франции" появился "Шестнадцатый век" Анри Лемонье. Я до сих пор вспоминаю свое искреннее возмущение (мне было двадцать лет!), когда я с ужасом обнаружил, что автор в простоте душевной рассматривал "классы" общества до того, как рассказать нам об экономической жизни... С тех пор прошло тридцать лет. И мы можем оценить достигнутые успехи, видя, как, победоносно заперев организацию общества во второй ящик, "История России" помещает в третий... экономические явления? Нет, всё тех же трёх старух...: агрикультуру, промышленность и торговлю, за которыми следуют литература и искусство»¹³.

Приведённый отрывок типичен для февровской полемики против «позитивистской» историографии, воплощением которой для него именно и являлся Шарль Сеньобос¹⁴. Нам отрывок интересен, прежде всего, потому, что наряду с обычными мотивами этой полемики, красной нитью проходящими через работы Февра (такими, как призыв к историческому синтезу – не случайно цитированная рецензия озаглавлена «За синтез против истории-картинки»), в нём содержится, пусть в несколько беглой и метафорической форме, пронизательный анализ парапространственных принуждений мысли, заложенных в рубрикации исторического дискурса. Рассмотрим поэтому метафору старого комода более внимательно и попытаемся эксплицировать скрытую в ней логику февровского анализа¹⁵.

Понятно, что визуальный образ комода, вещи грубой и старомодной, служит для того, чтобы наглядно показать упрощения, свойственные позитивистской концепции истории. По словам Гастона Башляра, «метафора ящичков является рудиментарным полемическим инструментом», часто используемым «в несложных текстах для отрицания стереотипных идей»¹⁶. В эпоху, когда происходило интеллектуальное формирование Февра, метафора ящичков была типична для риторики недолюбливаемых им бергсонянцев¹⁷. Превращаясь в риторическую конвенцию, метафора банализируется, утрачивает спонтанность и суггестивность образа. Но если Февр всё же

¹³ Febvre L. Pour la synteheèse contre l'histoire-tableau : Une histoire de la Russie modern : Politique d'abord? // Combats pour l'histoire. Paris : A. Colin, 1965. P. 72.

¹⁴ О создании Л. Февром «черной легенды» о Ш. Сеньобосе как воплощении «историзирующей истории» см.: Noiriell G. Sur la «crise» de l'histoire. Paris: Belin, 1996. P. 277-278. См. также: Prost A. Seignobos revisité // Vingtiem siecle. 1994. № 43. P. 100-118.

¹⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 164.

¹⁶ Bachelard G. La poétique de l'espase. Paris: Presses Universitaires de France, 1967. P. 81. Ср. весьма похожее описание позитивистской модели истории у Бенедетто Кроче, осуждающего историю, «которая по очереди излагает в отдельных главах разные типы фактов, как страты, или (если использовать обычное сравнение критиков) разложенными по коробочкам – политическая история, история промышленности и торговли, история костюма, история религии, история философии и науки, история литературы и искусства и так далее» (1966. P. 111). На основе таким образом упорядоченных фактов невозможно, по Кроче, написать историю. Зато эти воображаемые рубрики имеют тенденцию в силу «натуралистической иллюзии» восприниматься как исторические факты (P. 117).

¹⁷ Bachelard G. La poétique de l'espase. Paris: Presses Universitaires de France, 1967. P. 80. Об аллергии Февра к Бергсону см.: Бродель Ф. Свидетельство историка // Французский ежегодник 1982. М.: Наука, 1984. С. 187.

работает с этой метафорой, то, прежде всего потому, что, модифицируя её логику, он находит в ней новые семантические ресурсы. В форме школьной метафоры он предлагает далеко не банальный анализ.

Хорошо известно, что Люсьен Февр отстаивал необходимость изучать исторические явления в их многообразных взаимосвязях и выступал против наложения на единую органическую действительность социальной жизни искусственной решетки абстрактных категорий. «Идти прямо к проблемам», чтобы схватить в них «единство человеческого духа»¹ было главным принципом его «практической эпистемологии»². Но неправильно было бы видеть в рассматриваемой метафоре только протест против «перегородок и этикеток»³. Не случайно в подзаголовок своей рецензии Февр помещает вопрос: вопрос: «Прежде всего, политика?» То, что он отрицает, – это не столько упрощения, свойственные учебникам, – ведь, в конце концов «хорошие учебники хороши»⁴, – сколько концепцию истории, скрытую за внешней объективностью методичного изложения исторических фактов. В самом деле, изоляция групп фактов «различной природы» в «ящиках» позитивистской историографии лишь кажущаяся. Жёсткая логика связывает их воедино таким образом, что порядок изложения материала не допускает иной истории, чем та, где главенствует политика. И если этот «порядок» вызывал постоянные нападки Люсьена Февра, то, прежде всего потому, что он навязывал логику событийной, «историзирующей» истории, которой основатели «Анналов» бросили вызов. Именно эта логика – главная мишень рассматриваемой метафоры. «Раздельное изложение» разных групп фактов служило только сокрытию концепции, имплицитно содержащейся в их последовательном изложении.

Именно эффекты последовательного изложения Люсьен Февр пытается проанализировать с помощью метафоры старого комода. Рассказать сначала о политике, затем – об обществе, затем – об экономике и культуре означает установить между этими группами фактов иерархические отношения, подсказывающие выбор соответствующей экспликативной модели. Иначе говоря, это означает спроецировать на историю внутреннюю логику структуры текста. Методичность последовательного изложения, как бы демонстрирующая верность фактам и стремление описать прошлое таким, каким оно было на самом деле, оказывается риторическим приёмом, предназначенным для того, чтобы заставить читателя принять логику текста за логику вещей⁵. Здесь есть от от чего прийти в раздражение и менее вспыльчивому человеку, чем Люсьен Февр.

Но как формальная структура изложения может нести в себе

¹ Febvre L. Combats pour l'histoire. P. 105.

² Massicotte G. L'histoire-problème: la methode de Lucien Febvre. Quebec ; Paris, 1981 ; Mann H.D. Lucien Febvre : La pensée vivante d'un historien. Paris : A. Colin, 1971.

³ «Долой перегородки и этикетки!» (Febvre L. Combats pour l'histoire. P. 425). О борьбе Февра против «метафизики каменщика», как он называл стратифицированный образ истории, см.: Noiriél G. Pour une approche subjectives du sociale // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1989. Vol. 44. №6. P. 1443.

⁴ Febvre L. Le problèmes de l'incroyance au XVI-e siècle : La religion de Rablais. Paris : A. Michel, 1962. P. 1.

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 165.

концепцию? Самое простое объяснение в том, что для понимания получаемой информации мы обычно используем ту, которая уже известна. К тому же в исторических текстах мы редко имеем дело с простой линейной последовательностью причин и следствий¹. Обычно, чтобы понять новую информацию, её соотносят с разными аспектами сообщённой ранее, и ранее сообщённая информация в свою очередь многократно учитывается при интерпретации последующей. Отсюда чем более факт способен объяснять другие факты, тем важнее, чтобы он был сообщен с самого начала (если, конечно, речь не идёт об инверсии, когда история рассказывается как детектив). Именно поэтому в метафоре Февра политика управляет организацией общества, именно поэтому странно говорить о классах, ничего не сказав об экономической жизни (тем более что само слово «класс» отсылает к представлению о выделяемых по экономическим критериям социальных группах).

Мы без труда понимаем смысл, вкладываемый Февром в рассматриваемую метафору. Но попробуем задуматься, за счёт чего возникает этот смысл. Весь анализ позитивистской концепции истории основан здесь на образе комода. Конечно, Февр подчеркивает роль организации текста (Лемонье «рассматривал "классы" общества до того, как рассказать нам об экономической жизни»), но затем немедленно возвращается к своей метафоре, как если бы в ней заключалось нечто подобное эффекту последовательного изложения, как если бы визуальный образ комода содержал внеязыковое принуждение мысли, параллельное принуждению языковому, заложенному в организации текста. Иными словами, в метафоре старого комода есть нечто, заставляющее нас поверить, что некая примитивная модель навязала авторам «Истории России» свою нелепую логику. Но запирающие факты в ящики комода не имеют отношения к установлению логических связей между ними. Действительно, чем ящик, в котором заперты политические факты, лучше ящиков, где помещены факты социальные или экономические? Единственная разница состоит в их взаимном расположении – именно «с высоты ящика номер один» политика «руководит, управляет и повелевает всем». Но к этому уже не имеет отношения образ старого комода из красного дерева. Чтобы возникло значение февровской метафоры, этот образ должен трансформироваться в образ другого типа. Политика правит не из ящика, но сверху. Иначе говоря, метафора соскальзывает на другой уровень абстракции, где чувственный образ комода растворяется и от него остается только конфигурация точек в абстрактном пространстве, точек, соответствующих исчезнувшим ящикам. Такую конфигурацию точек принято называть пространственным образом, а пространство, в котором такие образы являются нам, – ментальным

¹ См. анализ структур исторического повествования М. Мандельбаумом, который подчеркивает многообразие его форм, в том числе и наличие сложных повествовательных структур (например, основанных на инверсии): Однако зависимость Мандельбаума от теорий исторического повествования сказывается в том, что он пренебрегает проблемой рубрикации истории, которая неизбежно заставляет задуматься над структурами исторических описаний. Анализируемая модель позитивистской историографии весьма характерна в этом плане потому, что она показывает роль в историческом дискурсе не только эффекта развития интриги, но и эффекта упорядочения с помощью описания.

пространством.

В отличие от чувственных образов, будь то визуальные, тактильные или аудитивные, пространственные образы мобилизуют не опыт какого-то конкретного чувства, но коренятся в синтетическом опыте пространства. Конечно, пространственный образ легко визуализировать, представив себе материальную вещь или нарисованную на листе бумаги геометрическую фигуру. Граница между визуальным и пространственным образом остается весьма размытой, но все же, по-видимому, это – разные образы, формирующиеся на разных уровнях абстракции и функционирующие по разным правилам.

Ментальное пространство далеко не нейтрально. Напротив, оно наделено определенной логикой, или, точнее, множеством различных логик¹. Так, в метафоре Февра пространственный образ черпает свою принудительную силу из различия в «энергетическом потенциале» точек, соответствующих разным ящикам комода. В данном случае у верхней точки более высокий потенциал. Но легко представить себе образ, где нижняя точка окажется сильнее: вспомним хотя бы марксистскую метафору базиса и надстройки, где экономика из своего подвала «руководит, управляет и повелевает всем». Конфигурации точек и их динамические взаимоотношения могут быть самыми различными, но это не отменяет принудительной силы пространственных образов по отношению к мышлению. Именно отсюда и происходит суггестивность метафоры Люсьена Февра².

В самом деле, нам не кажется странным, что из одного ящика можно управлять другим. Конечно, читая Февра, мы не думаем, что это авторы «Истории России» воображали себе комод. Нам понятно, что метафору изобрёл Февр, чтобы осмеять их логику. Но если метафора достигает цели, то не потому ли, что она схватывает нечто важное в этой логике, что она предъявляет её нам в узнаваемом виде, позволяя мобилизовать нашу собственную способность воображения? Иначе говоря, мы не смогли бы получить метафорическое послание Февра, если бы сами не имели опыта подобных принуждений мысли, если бы не испытывали влияние пространственных паралогик на наше собственное мышление.

В приведённом примере влияние парапространственной логики испытала тройственная операция мысли. Именно, речь идёт об идентификации целостностей (групп исторических фактов), репрезентации некоторой группы целостностей как системы и наделении системы той или иной логикой функционирования. Подчеркнём, что это – триединая операция, ибо идентификация целостностей как раз и происходит в рамках определённым образом функционирующей системы. Излишне подчёркивать значение этой операции для разума – в том числе и для ментальности историков. Мы уже

¹ Ср. анализ принудительных сил визуального пространства у Ф. Сен-Мартен: «Визуальное поле определяется как силовое поле, где данные энергии производят особые эффекты, приводящие к возникновению различных типов пространств». Речь здесь идет о фиксируемых глазом особенностях специфически визуального поля, провоцирующих определенное напряжение сетчатки. Но аналогия с пространственным медиумом мысли – при всех различиях «визуального говорящего» и пространственного визионера – очевидна.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 168.

имели возможность убедиться, что именно такая триединая операция даёт рождение образам общества. В данной главе мы продолжим исследование её роли в конструировании Проблематики социальной истории, и, прежде всего, рассмотрим этапы и механизмы формирования пространственного образа истории. Возникновение и развитие социальной истории неотделимы от эволюции этого образа. Сложившийся в рамках позитивистской историографии, он сыграл решающую роль в формировании идентичности как истории в целом, так и отдельных её областей, «частных историй». Именно поэтому при всем своем грубо упрощающем характере и, несмотря на всю адресованную ему критику этот образ по сию пору остается имплицитным кадром исторических исследований. В его рамках сформировалась и та «узкая» концепция социального, которая определила проблематику социальной истории 1960-х гг. и сделала возможным спор о классах и сословиях. **Стратифицированный образ истории, однако, далеко не является её единственным пространственным образом.** Более того, он сформировался довольно поздно, и ему предшествовала череда других ментальных визуализаций, составляющих важнейший аспект меняющегося понятия истории. Последнее с самого своего возникновения было, по-видимому, связано с пространственным воображением, которое в значительной степени определило интеллектуальную возможность истории. Целый ряд исследователей исторической мысли подчеркивал связь между идеей истории и пространственным воображением. Из их наблюдений вырисовывается следующая картина.

Прежде всего, о роли пространственных паралогик в формировании современного понятия истории говорил Райнхарт Козеллек. С его точки зрения, это понятие, как и другие базовые понятия современного социального словаря, формируется в «переломное время» европейской истории, а именно – во второй половине XVIII–первой половине XIX в. Именно в эпоху Просвещения появляется, по выражению Козеллека, собирательное имя истории (kollektiv-singular Geschichte), иначе говоря, слово «история» начинает пониматься как имя собирательное, выражающее идею некоторой абстрактной сущности. Ранее преобладающей формой употребления этого слова в немецком языке было множественное число (Geschichten или Historien), **причём обычно уточнялось, об истории чего именно идет речь.** Такое словоупотребление отражало, по Козеллеку, **модель истории – учительницы жизни** (historia magistra vite), когда прошлое воспринималось как амальгама поучительных историй. Именно на смену этой модели приходит уже не требующее никаких уточнений понятие единственной в своем роде Истории, схватывающей как целостное единство прошлое, настоящее и будущее человечества¹. Это понятие и имело тенденцию быть визуализированным. Ментальная визуализация позволяла помыслить историю как абстрактное целое, как собирательное понятие для входящих в нее эпизодов.

¹ Koselleck R. Historie /Geschichte // Geschichte Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-soziale Sprache in Deutschland. Bd 2 / Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. Stuttgart: E. Klett, J.G/ Cotta, 1972 – 1993. Bd 2. S. 647 – 717.

Однако при всей суггестивности¹ своих размышлений Козеллек несколько преувеличивает контраст представлений об истории до и после «переломного времени». **Идея истории как судьбы человечества, безусловно, старше XVIII в.** Вспомним, например, христианскую концепцию истории, которая, в свою очередь, опиралась на некоторые традиции эллинистической и римской историографии². По-видимому, интуиция созерцаемого извне целостного объекта была условием возникновения идеи истории и с самого момента её рождения в Древней Греции неизменно сопутствует ей, иногда притупляясь и отступая на задний план, иногда же, напротив, властно направляя нашу мысль. Именно стремление возвыситься над повторяющимися, частными эпизодами и осознать их совокупность как значимое целое выражает самое имя истории. Если следовать Франсуа Артогу, историк для Геродота – это очевидец, *histor*, который «знает потому, что видел», причём видел не обычным человеческим зрением, но божественным взором Аполлона, охватывающим всю панораму дел человеческих, взором, который историк присваивает себе, называя свой труд историей³. Конечно, здесь речь может идти не более чем о первом проблеске идеи всеобщей истории⁴, но всё же у её истоков мы встречаем ту же **интеллектуальную установку внешнего наблюдателя**. Это, естественно, не значит, что образ глобальной истории всегда стоял перед глазами историков⁵. Скорее, периодически происходили его возвращения, вызываемые, в частности, чувством разрыва преемственности, начала новой эпохи, которое актуализировало проблему самолокализации во времени. Нечто подобное – с особой силой, но отнюдь не впервые – произошло в «переломное время». Важнейшим из таких периодов до эпохи Просвещения был, конечно, Ренессанс. Неудивительно, что применительно к Возрождению исследователи также констатируют роль пространственного воображения для концептуализации истории. Так, Эрвин Панюфски обратил внимание на то, что формирование в эпоху Возрождения трёхчленной концепции истории, разделённой на древнюю, среднюю и новую, концепции, рождённой ощущением прихода нового времени и до сих пор остающейся основой нашего восприятия истории, было связано со способностью осознать исторические эпохи, и, прежде всего – античность, как целостные феномены, как некоторые абстрактные объекты, основанные на системе внутренних взаимосвязей составляющих их элементов. Эту способность он поставил в связь с изобретением перспективы как базовой символической формы современного

¹ Суггестивный [лат. *suggestio* подсказывание, внушение] – 1) внушающий, вызывающий собою какие-либо представления; 2) связанный с внушением.

² Коллингвуд Р. Д. *Идея истории: Автобиография*. М.: Наука, 1980. С. 32–37.

³ Hartog F. *Miroir d'Herodot: Essai sur la representation de l'autre*. Paris : Gallimard, 1991. P. VIII, XIII.

⁴ Сегодня панорама греко-персидских войн может показаться локальным эпизодом, но самому Геродоту она казалась событием вселенского масштаба.

⁵ Видимо, между осознанием истории как целого и разложением её на эпизоды всегда существовало определенное напряжение, и даже наличие всемирной истории как литературного жанра вовсе не свидетельствует об остроте переживания пространственного образа глобальной истории. Так, в средневековой историографии ощущение всеобщности судьбы человечества, логически подлежащее жанру всемирной истории, во многих формально принадлежащих к этому жанру произведениях ослабляется настолько, что они представляют собой лишь локальные хроники с крайне ограниченным кругозором, и только краткая преамбула напоминает об этой идее.

искусства. По этому поводу Панофски пишет:

«Подобно тому, как средневековье было неспособно выработать современную систему перспективы, основанную на обнаружении фиксированной дистанции между глазом и объектом и позволяющую художнику создавать целостные и непротиворечивые образы видимых вещей, точно так же оно не могло выработать современную идею истории, основанную на обнаружении интеллектуальной дистанции между настоящим и прошлым и позволяющую историку создавать целостные и непротиворечивые понятия об ушедших эпохах»¹.

Конечно, эпоха Возрождения была лишь началом той «визуальной революции», которая преобразовала интеллектуальную культуру нового времени. Апогей её пришёлся уже на XVII в., и именно тогда её плоды в полной мере сказались на новых научных и социальных теориях, в том числе и на понимании истории. Панофски рассматривает рождение перспективы в ренессансной Италии как художественное предвосхищение концепции пространства и, шире, картины мира галилеевской науки и философии нового времени в целом, как эстетическое открытие, сделавшее возможным появление новых интеллектуальных форм². Изобретение перспективы способствовало, в частности, и развитию исторического воображения особого типа. Оно повлияло, прежде всего, на формы тех образов, в которых проявилась работа «структурного воображения»³. Язык таких образов – это язык «понятных», несущих в себе смысл пространственных конфигураций. Козеллек приводит многочисленные примеры «структурных» пространственных метафор, к которым, говоря об истории, охотно прибегали авторы XVII–XVIII вв., включая и знаменитую фразу Фенелона о том, что **историк, желающий хорошо расположить материал своего повествования, должен уметь «единым взглядом охватить целое истории»**⁴. Именно соотнесение между собой в ментальном пространстве составных элементов повествования позволяет сконструировать «целое истории». Речь идёт о пространстве внешнего наблюдателя, в котором упорядочиваются в интеллигибельное целое иначе рационально не

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 172.

² Panofsky E. *La perspective comme forme symbolique*. Paris: Minuit, 1975.

³ Это термин Коллингвуда, который противопоставляет структурное воображение, организующее историческое повествование, орнаментальному воображению, которое служит лишь украшению его (Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории...* С. 230). Конечно, во все времена, как историки, так и их читатели могли визуализировать, и визуализировали, отдельные сцены истории или её героев. Насыщенные театральными метафорами названия исторических сочинений (типа «Сцен истории», «Театра истории» и т. д.), типичные для XVIII в. и отражающие характерную для эстетики классицизма мобилизацию зрительного опыта, отсылают к орнаментальному воображению. Историческая живопись позволяет представить, как могут выглядеть орнаментальные визуализации (и она же одновременно приучает нас к определенному их стилю). Для иллюстрированных хроник средневековья изображение отдельных сцен или персонажей было не менее свойственно, чем для учебников истории нового времени. Любопытно, что об основополагающей роли воображения в истории писал и Ш. Сеньобос, подчеркивавший, что исследователи в области социальных наук работают «не с реальными объектами, но с репрезентациями», с воображаемыми «людьми, объектами, поступками, мотивами». Из этого Сеньобос заключает: «Именно эти образы являются эмпирическим материалом (*matier pratique*) социальных наук. Именно эти образы мы анализируем» (Seignobos Ch. *La methode historique appliquée aux sciences sociales*. Paris: F. Alcan, 1901. P. 118). Но характерно, что Сеньобос при всей радикальности своего утверждения имел в виду исключительно «образы фактов», но отнюдь не образы тех конфигураций, в рамках которых эти факты конституировались и наделялись смыслом.

⁴ Koselleck R. *Vergangenheit und Zukunft*. S. 188.

соотносимые между собой элементы. Помысленная в пространстве история как бы течёт перед нашим умственным взором, который тем самым выступает её когнитивным условием, но вместе с тем неизбежно проецирует на неё свои собственные разрешающие возможности. Она дана и внятна нам постольку, поскольку упорядочена нами¹. Конституирование истории как абстрактного объекта, как интеллигибельного целого неразрывно связано с работой пространственного воображения. Актуализация этого воображения в XVII–XVIII вв. создала возможность становления в логически завершённой форме идеи истории. Именно напряжённое ощущение пространственного образа, называемого этим именем, делало излишним уточнять, об истории чего идёт речь. История была именем собственным этого образа.

Но парাপространственное упорядочение позволило не только помыслить идею истории. Оно же позволило представить историю как структуру, основанную на взаимодействии различных «уровней» бытия. Пространственный образ истории как бы подсказывал такого рода задачи, поскольку он был идеальной формой репрезентации целого как состоящего из частей. Такими частями едва ли могли быть отдельные эпизоды, слишком многочисленные для того, чтобы образовать имеющую смысл конфигурацию. Мышление в пространстве несло в себе императив рубрикации. Помысленная в пространстве история должна была быть разделена на составные элементы. Повидимому, первоначально подобными элементами были исторические эпохи, представленные как «ансамбли» культурных форм. Постепенно наряду с ними стали появляться другие деления, в том числе и спроецированная на прошлое оппозиция общества и государства. Анализируя взгляды Лоренца фон Штейна, в теории прусской конституции которого получило развитие гегелевское противопоставление государства и общества, Козеллек подчеркивает невозможность помыслить историю как стратифицированную структуру вне парাপространственного кадра:

«Если история переживается как движение различных потоков (в данном случае – социального и политического. – Н. К.), взаимоотношения, которых постоянно изменяются – интенсифицируются, окостеневают, ускоряются, – её общее движение можно схватить только с некоторой сознательно избранной точки зрения»².

Распад истории на параллельные потоки, у каждого из которых могли быть свои ритмы движения (вспомним позднейшее утверждение Броделя о том, что «каждая социальная реальность порождает собственное время»³), делал, таким образом, необходимой мобилизацию пространственных ресурсов мышления, в частности, фиксацию постоянной точки наблюдения, которая становится с тех пор условием *sine qua non* истории. Механизм, который имеет в виду Козеллек, в точности тот же, что и подразумевавшийся Фенелоном: парাপространственное упорядочение выступает инструментом соотнесения

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 174.

² Koselleck R. *Vergangene Zukunft*. S. 92.

³ Braudel F. *Ecrils sur l'histoire*. Paris: Flammarion, 1969. P. 119.

между собой частей целого. Чем сложнее структура репрезентации, тем значительнее роль ментального пространства в её формировании (впрочем, лишь до определённого предела сложности, точнее, до свойственного нам порога различия). Именно поэтому возникновение стратифицированного образа истории, весьма усложнившего традиционную «линейную» структуру исторического повествования, в решающей степени зависело от пространственного воображения¹.

Подчеркнём, что эта идея всеобщей истории отсылала к трехмерному пространству, доминировавшему в живописи XVIII в., но при этом непосредственно опиралась на его сокращенные формулы, и, прежде всего – на его линейный и плоскостной парафразы. Как и время, текущее слева направо в системе декартовых координат, история в эпоху, увидевшую возникновение религии прогресса, представлялась прочерченной на плоскости перед нашими глазами линией. Её образ принадлежал к той же культуре пространственного воображения, основанной на интуиции рационального линейного пространства с варьирующей мерностью, что и образ синтетической социальной иерархии, и неудивительно, что эти образы оказались тесно взаимосвязанными. Именно такая линия, «расслоившаяся» на несколько параллельных «частных» историй, взаимодействие между которыми должно было объяснять движение целого, послужила основой для возникновения стратифицированного образа истории.

Мобилизация пространственного воображения для усложнения нарративных структур – хорошо известный литературной критике феномен². Он исследован, в частности, на примере литературы модернизма, с помощью парапространственного упорядочения дискурса стремившейся отойти от доминировавших в традиционном романе структур линейного повествования. Нечто подобное такому усложнению в XIX в. происходило с историей. Связь между романом и историей как жанрами была многообразной³. Порой они выступали альтернативами и самоопределялись по отношению друг к другу, но иногда развивались параллельно, и в рассматриваемом нами случае в усложнении структур повествования история шла впереди: роман всемирной истории был своего рода метароманом, складывавшимся из множества самостоятельных повествований, которые необходимо было организовать в единое целое, тогда как литература не ставила задачи сюжетного соотнесения между собой отдельных произведений.

История до XIX в. сообщала преимущественно о «деяниях» (*res gestae*), она была событийной, политической историей. Какие бы сюжетные конфигурации она ни принимала, основная масса входивших в неё фактов были фактами одного порядка. Однако уже в исторической мысли XVIII в. распространяется восходящая к Возрождению тенденция понимать историю

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 175.

² Genette G. Espace et langage // Figures I. Paris : Seuil, 1966 ; Idem. La littérature et l'espace // Figures II. Paris : Seuil, 1969.

³ Gossman L. History and Literature: Reproduction or Signification // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding / Ed. by R. H. Canary, H. Kozicki. Madison: The University of Wisconsin Press, 1978. P. 16 – 17.

как смену культурных эпох. Поначалу характеристики культуры и быта народов прошлого без труда умещались в рамки рассказа о событиях их истории. Античные историки служили здесь примером, а характерный для просветителей жанр рассуждения благоприятствовал сочетанию элементов повествования и описания. Однако ощущение некоторой разнородности культурных и политических фактов присутствовало в сознании историков, и по мере становления обновленного жанра всеобщей истории распространялось обыкновение сопровождать рассказ об отдельных периодах краткими главками, дающими систематический обзор быта и нравов эпохи. И хотя вкрапление таких главок пока не нарушало плавного течения повествования, начало тематической рубрикации истории, когда для фактов разной природы выделялись соответствующие элементы структуры текста, было положено.

Если следовать Козеллеку, роль катализатора в процессе «расслоения» истории сыграло оформление оппозиции государства и общества, отчетливо зафиксировавшее представление о разных уровнях общественного бытия. Однако рубрикация истории развивалась из разных источников. Помимо только что упомянутых историко-культурных экскурсов, из которых во второй половине XIX в. вырастает **самостоятельная история культуры**, важный толчок в этом направлении дало становление в середине столетия экономической истории. Именно она, по-видимому, и может считаться первой выделившейся из всеобщей истории «частной историей», со своими собственными теориями, специальными научными исследованиями, а позднее – и своими журналами¹.

Такое опережающее развитие экономической истории неудивительно: ведь она опиралась на интеллектуальный опыт политической экономии, а эта последняя, как мы уже подчеркивали, была тогда едва ли не единственной вполне сложившейся «социальной наукой». Впрочем, «хозяйство», предмет как политической экономии, так и экономической истории, понималось в XIX в. не столько как заключенное в формулы движение финансовых и товарных потоков (каким оно является для сегодняшней экономики, фактически превратившейся в область прикладной математики), сколько как **подлежащие качественному анализу отношения людей по поводу производства**. Иными словами, автономия экономического, помысленного как система количественных отношений, не получила еще современного развития. Скорее, экономическое и социальное (или, точнее, один из полюсов социального) сливались тогда в рамках социально-экономического. Неудивительно, что экономическую историю, в недрах которой начинали формироваться элементы истории социальной и которая изучала не только формы хозяйства, но и формы организации общества, в XIX в. часто называли **историей социально-экономической**, и это название надолго закрепилось в профессиональной памяти: даже социальную историю 1960-х гг., насквозь пронизанную пафосом автономии социального, часто называли социально-экономической историей. И хозяйственные, и социальные формы историки XIX в. нередко рассматривали сквозь призму истории права и учреждений, но во второй половине столетия эта последняя

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 177.

стала формироваться и как самостоятельное направление исследований, как особая «частная история», предметом которой были прежде всего государственные учреждения. Иными словами, к концу столетия в основных чертах сложилась близкая к современной рубрикация истории.

Социальная история возникла, наверное, последней из частных историй. Характерно, что когда мы сегодня говорим о социальной истории применительно к XIX или даже к началу XX в., мы имеем в виду, прежде всего Мишле, Лампрехта или Робинсона, т. е. социальных историков в весьма широком смысле слова. Подобно тому, как зарождающаяся социология в XIX в. претендовала на положение универсальной науки об обществе, социальная история в таком понимании была скорее подходом к всеобщей истории, нежели одной из частных историй. Во французской традиции такое понимание истории, в значительной мере предвосхитившее программу дюркгеймовской социологии, было представлено, прежде всего, крупнейшим историком Н.-Д. Фюстелем де Куланжем¹. Тем не менее, происходило постепенное вычленение проблем истории социальной стратификации как основы «частной» социальной истории², и, вероятно, не последним по важности фактором её формирования была подлежащая заполнению ячейка, в значительной мере авансом, за счет общей логики схемы, отведенная ей в стратифицированном образе истории. В итоге к концу XIX в. понята в узком смысле социальная история занимает свое место в таксономии исторических сюжетов наряду с историей политической, экономической и культурной³.

Итог развития стратифицированного образа истории был подведён в книге, обобщившей практику позитивистской историографии XIX в., – во «Введении в изучение истории» Шарля-Виктора Ланглуа и Шарля Сеньобоса⁴.

¹ Характерно, что Фюстель резко протестовал против претензий социологии на роль теоретической науки об обществе, заимствующей у истории фактический материал, говоря, что настоящая история и есть социология (Hartog F. *Le XIXe siècle et l'histoire: Le cas Fustel de Coulanges*. Paris: Presses Universitaires de France, 1988). Это предвосхищало будущую полемику Симиана и Сеньобоса, непримиримый тон которой в гораздо большей степени был следствием соперничества дисциплин, нежели принципиальных расхождений во взглядах (Mucchielli L. *La découverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870-1914)*. Paris: La Deouverte, 1998. P. 420, 425. Ср.: Riberioux M. *Le debat de 1903: historiens et sociologues // Au berceau des «Annales» / Pub. par Ch. O. Carbonnel, G. Livet*. Toulouse: I. E. P., 1983. P. 219-230).

² Материалы по истории социальных структур накапливались в работах по смежным проблемам (прежде всего, по экономической истории, но также и по истории права и государственных учреждений, иногда включавших, например, данные об «административном персонале»). В конце столетия стали появляться и первые специальные исследования отдельных социальных групп, которые предвосхищали будущую историю общества «в собственном смысле». Любопытно, что одним из важнейших мест накопления этого материала были многочисленные в XIX в. генеалогические и просопографические словари, остававшиеся, однако, маргинальным историографическим жанром, поскольку в большинстве своем были делом эрудитов-любителей и местных антикваров, т. е. группы, отличной от складывающейся среды профессиональных историков и не разделявшей приверженности к вырабатываемым этой средой исследовательским приемам, критериям иерархии фактов и т. д. За редкими исключениями «профессиональная» социальная история до 1950-х гг. не обращалась к этим работам, и в её проблематике лишь косвенно отражался порождаемый ими интеллектуальный опыт множества.

³ Рубрикация истории своеобразно проявлялась в преимущественно «классификационном» историографическом жанре – публикации источников. При публикации рубрики имели особое значение, поскольку здесь было невозможно установление связей между фактами с помощью повествования. Естественно, что в разных публикациях использовались самые различные типы рубрикации.

⁴ Langlois Ch.-V, Seignobos Ch. *Introduction aux études historiques*. Paris: Hachette, 1897. P. 200-203.

Вполне консервативный даже по меркам конца прошлого столетия¹, этот текст содержит описание рубрикации истории, какой она сложилась в эмпирических исследованиях. Ланглуа и Сеньобос перечисляют три способа «группировки исторических фактов» – по их «времени, месту и природе». Последний они считают главным и предлагают схему из следующих шести элементов: материальные условия (историко-географические и демографические факты), интеллектуальные устои (язык, религия, искусство, наука), материальные обычаи (то, что после Броделя называют материальной цивилизацией), экономические обычаи (производство, торговля), социальные институты (семья, социальные классы) и публичные институты (государственные учреждения, право). Из этих шести рубрик вторую и третью (т. е. духовную и материальную культуру) они считают желательными, но необязательными элементами исторического исследования. Эта схема из четырех уровней заставляет вспомнить февровскую «систему комода» (если изгнать географические условия – к слову сказать, столь дорогие Февру – и вернуть духовную культуру, сходство становится совершенным)². С небольшими вариациями такой и была доминирующая модель, положенная, в частности, в основу «Истории Франции» Эрнеста Лависса – канонического текста, ставшего символом республиканской истории и исторической профессии во Франции³.

Рассмотрим, к примеру, три тома «Истории» Лависса, посвященные XVI–XVII вв.⁴ Пятый том (тот самый «Шестнадцатый век» Анри Лемонье, по поводу которого иронизировал Люсьен Февр) посвящен периоду 1492 – 1559 гг. и включает следующие разделы: «Итальянские войны», «Франция в период Итальянских войн» (главы «Политика Карла VIII и Людовика XII» и «Начало Французского Возрождения»), «Политика Франциска I» (главы «Король и его окружение» и «Монархическая система»), «Социальная эволюция» (главы «Дворянство и чиновничество», «Клир», «Буржуа и ротюрье» и «Экономическое положение»), «Интеллектуальная эволюция», «Религиозная

¹ Конечно, наиболее консервативным историкам всякая теория (включая методологический курс Ланглуа и Сеньобоса в Сорбонне) казалась избыточной, но, как показал Л. Мюкьелли, большинство французских историков начала столетия рассматривало книгу Ланглуа и Сеньобоса как устаревшую и было готово бросить им упреки, аналогичные тем, которые позднее бросили Блок и Февр (Mucchielli L. Une relecture de Langlois et Seignobos // *Espaces Temps*. 1995. № 59-61. P. 130-136).

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 181.

³ Эта рубрикация с небольшими вариантами воспроизводится и сегодня – например, библиотечными каталогами или официальными отчетами – и составляет основу традиционного «образа историографии». Так, опубликованный Национальным центром научных исследований в 1980 г. доклад о состоянии исторических исследований во Франции в разных разделах воспроизводит следующие рубрикации: история политическая, экономическая, социальная, ментальностей, религиозная, международных отношений. Или: политическая, права и учреждений, экономическая и социальная, церкви, цивилизации, искусства. Или: права и учреждений, экономическая, социальная, религиозная, культуры, колонизации. Или: политическая, военная, экономическая, социальная, религиозная. См.: *La recherche Historique en France depuis 1965*. Paris : C.N.R.S., 1980. Более или менее сходные рубрикации используют и другие историографические обзоры. Характерно, что все эти списки постоянно колеблются между двумя логическими моделями: стабильный набор базовых категорий отсылает к стратифицированному образу истории, т. е. к исчерпывающей закрытой таксономии, тогда как периодическое появление меняющихся и явно второстепенных рубрик заставляет думать о модели открытого списка. В этом последнем случае из суммы категорий гораздо менее очевидно вырисовывается интеллигибельное целое, зато гораздо ближе оказывается «измельченная история».

⁴ Lavissee E. *Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Revolution*. Vol. 5 – 7. Paris: Hachette, 1911. О поли этого коллективного труда в истории французской историографии см.: Nora P. *L'Histoire de France de Lavissee // Les lieux de memoire / Pub. par P. Nora*. Paris: Gallimard, 1984-1993. Vol. 2. Livre 1. P. 317-375.

эволюция», «Борьба между Франциском I и Карлом V», «Политика Генриха II», «Французский кальвинизм», «Возникновение духа классицизма во Франции», «Люди и творения» (имеются в виду произведения литературы и искусства). Шестой том, написанный Жаном Марьежолем, охватывает период с 1559 по 1643 г. и включает книги: «Начало религиозных войн», «Религиозные войны при Карле IX», «Царствование Генриха III», «Генрих IV», «Политика Генриха IV» (главы «Итоги религиозных войн», «Восстановление королевской власти», «Сюлли», «Производство материальных благ», «Интеллектуальное и моральное положение», «Генрих IV и внешняя политика», «Смерть Генриха IV»), «Мария Медичи и Людовик XIII», «Министерство Ришелье» (наряду с главами по политической истории включает главы «Армия и флот», «Политические идеи и государственная политика Ришелье», «Ришелье и церковь», «Дворянство, парламенты и провинциальные штаты», «Администрация Ришелье», «Литература и искусство при Генрихе IV и Людовике XIII»). Наконец, седьмой том, написанный самим Эрнестом Лависсом, посвящен времени между 1643 и 1685 гг. и состоит из следующих разделов: «Период Мазарини», «Приход к власти Людовика XIV», «Экономическая политика» (главы «Финансы», «Производство», «Торговля и колонии»), «Политика в области государственного управления», «Управление обществом» (главы «Ремесленники и крестьяне», «Сословие чиновников», «Дворянство», «Клир»), «Религиозная политика», «Культурная политика», «Внешняя политика», «Конец периода».

Какие выводы следуют из такой структуры текста? Прежде всего, конечно, мы видим господство политической, событийной истории, которая служит организующей нитью повествования в целом и с точки зрения которой нередко рассматривается материал социальной, экономической или культурной истории (характерны названия ряда разделов: не «Общество», но «Управление обществом» и т. д.). Более того, только политическая история рассказывается подряд, как непрерывная серия событий. Все прочие частные истории появляются в «Истории» Лависса лишь более или менее частым пунктиром, как если бы, например, в годы Религиозных войн или в период между правлениями Генриха IV и Людовика XIV в экономике, социальной сфере или культуре не происходило никаких серьезных перемен, достойных большего, нежели беглое упоминание в других разделах. Иными словами, экономическая или социальная жизнь описываются только применительно к периодам относительной политической стабильности и, конечно, не случайно, что тогда они рассматриваются с точки зрения политики сильной государственной власти, как если бы у них самих не было независимых от неё источников движения. Но дело не только в этом¹.

Создается впечатление, что авторы «Истории Франции» просто не знали, как совместить описание структур с рассказом о событиях. Только тогда, когда события останавливаются или хотя бы замедляют свою калейдоскопическую смену, историки обретают способность на время

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 182.

отвлечься от развития интриги и посмотреть, как выглядела та сцена, на которой действовали их герои. Следы той практики истории, когда отдельные главы о быте и нравах вкрапливались в рассказ о событиях, отчётливо видны в этой организации текста. История ещё не в полной мере превратилась в параллельное движение непрерывных потоков, каким она представлялась воображению Броделя. По-видимому, для того, чтобы это произошло, было необходимо изгнать из истории рассказ о событиях¹. И, тем не менее, все основные частные истории, названные Ланглуа и Сеньобосом, в полной мере присутствуют в «Истории» Лависса – история «организации общества», «экономических явлений», культуры (из которой периодически в самостоятельную рубрику выделяется история религии и церкви – но не забудем, что речь идёт об эпохе Реформации и Религиозных войн) и, конечно же, история государства, которое «с высоты ящика номер один руководит, управляет и повелевает всем». В февровской метафоре старого комода узнаваемы, следовательно, не только наши ментальные механизмы, но и реальная практика критикуемой им позитивистской историографии².

Для того чтобы в полной мере оценить значение рубрикации истории, следует учесть её когнитивные и социальные функции. В самом деле, если любая группировка исторических фактов условна, то почему из-за «границ», будь то хронологические или предметные, между «отделами» истории столь часто возникают споры, и столь значительные³?

Остановимся сначала на когнитивных функциях стратифицированного образа истории и вспомним, прежде всего, идейную программу позитивистской историографии в целом и, более конкретно, некоторые логические проблемы, с которыми она имела дело (и с которыми – подчеркнем это – до сих пор имеет дело историческая наука). Как известно, **позитивистская историография стремилась к открытию законов истории**⁴. Что, однако, понимать под законом? Обычно под законом подразумевается установление причинно-следственных связей между фактами, а тем самым – и объяснение этих фактов. Однако **выведение такого закона предполагает выполненной другую операцию, которая кажется логически предшествующей, – установление подлежащих объяснению фактов, фактов-следствий, которые и соотносятся в процессе объяснения с фактами-причинами (они, естественно, тоже должны быть предварительно установлены).** При этом предполагается, что речь в обоих случаях идет не об отдельных фактах, но о категориях фактов⁵. Даже если в истории объяснению обычно подлежат отдельные события, в той мере, в какой они объясняются с

¹ Иными словами, для окончательного формирования «частных» историй был необходим отказ от политической истории как организующего начала истории. Не в этом ли одна из причин агрессивного неприятия «Анналами» событийной истории?

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 183.

³ Таковы, например, все споры о периодизации истории, включая и длительную полемику о роли Французской революции в становлении современного общества. Но таковы же и многие споры, основанные на стремлении «частных историй» к экспликативной автономии, например, споры советских историков 1960-х гг., связанные со становлением истории культуры, безусловно, находящие параллель в становлении «истории ментальностей» во французской историографии.

⁴ См., например: Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1906.

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 184.

помощью законов, они выступают как члены категорий. Ведь закон – нечто, обладающее регулярностью, когда определенные причины всегда производят определенные следствия. Иными словами, речь идет о повторяющихся связях между повторяющимися фактами, так что регулярность относится не только к связям, но и к фактам¹.

Следовательно, установление законов неразрывно связано с классификацией². Но тогда возникает вопрос об относительной независимости повторяемости фактов от повторяемости связей, иначе говоря – о независимости классификации от открытия законов. Входит ли установление повторяемости фактов в открытие закона? Мыслимы ли регулярные факты вне регулярных связей и если да, то какая операция позволяет устанавливать регулярность фактов? Из знаменитой формулы Ипполита Тэна – «после сбора фактов – поиск причин» (*après la collection des faits, la recherche des causes*) – совершенно выпадает систематизация фактов, не связанная с открытием законов³. Следует ли думать, что позитивисты представляли себе открытие законов на основе хаотической массы фактов? Тогда выведение закона означало и группировку фактов, и установление причинно-следственных связей между ними.

Применительно к естественным наукам, которые позитивисты принимали за образец, этот вопрос стоял гораздо менее остро, чем применительно к истории, поскольку естественнонаучный факт как бы имманентно содержит в себе категорию. В таком случае сбор фактов включает в себя их классификацию. Что касается наук об обществе, то применение к ним двухступенчатой позитивистской схемы оставляло несомненную лауну, поскольку нам гораздо труднее абстрагироваться от индивидуальных аспектов «дел человеческих». Однако довольно долго эта лауна не была замечена – даже тогда, когда противопоставление повторяющихся естественнонаучных фактов и уникальных явлений, изучаемых науками о человеке, стало общим местом.

Можно указать на некоторые психологические механизмы, делавшие эту лауну менее заметной. Во-первых, идет ли речь о классификации фактов или об открытии законов, в обоих случаях предполагается индуктивная процедура. Ведь законы эмпирических наук – по необходимости индуктивные законы. Формальное сходство процедур способно создать иллюзию тождества описываемых с их помощью явлений. Во-вторых, в поле зрения наук о человеке индивидуальные факты попадали уже в известной мере разнесёнными по категориям. Таковыми были, конечно же, категории языка. Даже если имена

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 184.

² Ср. теорию коллигации в истории, согласно которой имеется особый этап трансформации исторических данных в интеллигибельные концепции, который до известной степени уже является объяснением и поэтому делает ненужными дальнейшие объяснения.

³ Разумеется, одной из причин невнимания к проблеме систематизации было то, что понимание причинности как действия законов, где одна серия фактов определяет другую, применительно к истории постоянно смешивалось с образом индивидуальных фактов, организованных в хронологически упорядоченные цепочки причинно-следственных отношений. См. также: Carbonell Ch.-O. Histoire et historiens: Une mutation ideologique des historiens français, 1865—1885. Toulouse: Privat, 1876. P. 301.

истории никогда не бывают совершенными нарицательными именами¹, использование нарицательных имен как элементов имен собственных, имен отдельных исторических событий, вводит категории в состав значения собственных имен, создавая иллюзию упорядоченности мира.

Следует также учесть, **что жёсткое разведение сбора фактов и открытия законов является, конечно же, упрощением**. С точки зрения позитивистов, факты предстают независимыми и от нашего сознания, и друг от друга, атомарными, изолированными сущностями. Напротив, сегодняшние теории классификации подводят к выводу, что такого рода «чистая индукция» есть абстракция и что **наш разум, устанавливая факты, одновременно осуществляет предварительную интерпретацию их, т. е. воспринимает их уже как принадлежащие к тем или иным категориям**. Разум руководствуется при этом некоторыми общими представлениями о мире, о месте в нем устанавливаемых фактов, об их взаимосвязи с другими фактами и т. д.² Иными словами, **факты устанавливаются в рамках некоторой системы, наделённой определённой логикой функционирования. Это означает, что классификация включает элемент объяснения**. В частности, частью значения категории может быть регулярность тех или иных взаимоотношений её членов с членами других категорий³. В этом смысле, если считать подлежащую объяснению группу фактов логическим субъектом, а закон предикатом, то их отношение выразимо в лейбницевской формуле «предикат содержится в субъекте» (*predicatum inest subjecto*). Речь здесь, следовательно, может идти лишь о степени эксплицирования⁴ логики системы, в рамках которой происходит классификация. Но в таком случае психологически вполне понятно, почему позитивисты не задавались вопросом **об особой процедуре группировки фактов, отличной от установления законов**. Эти две процедуры достаточно взаимосвязаны в мысли для того, чтобы их логическая неразведённость не казалась нонсенсом⁵.

Не забудем также и некоторых особенностей мысли XIX в. по сравнению с современной. Сегодня тематизация мира в общих понятиях, в терминах предметов наук стала для нас привычной данностью. Напротив, в XIX в. такая тематизация мира была ещё завоеванием, которое предстояло совершить. Сегодняшние исследователи обращают внимание на почти маниакальную тягу мыслителей XIX в. к классификации наук, иными словами, к систематизации мира как предмета науки, к созданию целостной картины

¹ Passeron J.-C. Le raisonnement sociologique: L'espace non-popperien du raisonnement naturel. Paris : Nathan, 1991. P. 60 – 61.

² Murphy G. L., Medin D. L. The Role of Theories in Conceptual Coherence // Psychological Review. 1985. Vol. 92. №3. P. 289-316; Medin D. L. Concepts and Conceptual Structure // American Psychologist. 1989. Vol. 44. №12. P. 1469-1481.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 186.

⁴ Экспликация, экспликации, ж. [латин. explicatio] (спец.). 1. Разъяснение, объяснение. 2. Текст, содержащий разъяснение различного рода символов и условных обозначений на планах, картах и т. п.

⁵ Ср. анализ М. Мандельбаумом функционирования идеи причинности в исторических объяснениях, когда иногда оказывается, что, например, причина и следствие могут восприниматься не как разные факты, а как аспекты одного факта. Mandelbaum M. The Anatomy of Historical Knowledge. Baltimore; London: The John Hopkins University Press, 1977. P. 75,109).

соотнесенных между собой форм бытия¹. Открытие законов вписывалось в это гигантское движение систематизации, названия, выведения мира из хаоса вещей, освободившихся от власти старых слов, осознания его в абстрактных понятиях нового типа. Открытие законов было тогда гораздо более широким открытием регулярностей мира, в котором классификационные задачи и задачи причинно-следственного объяснения не могли быть разведены между собой. Ещё точнее – **открытие регулярностей с особой легкостью подменяло открытие законов**, с тем большей легкостью, что такого рода синкретическое понимание открытия законов было, как мы видели, и более психологически реалистичным, нежели последовательно аналитическое разделение классификации и объяснения².

С учётом изложенных соображений становится понятнее **когнитивная роль рубрикации истории**. Она была попыткой, вполне в духе времени, упорядочить добываемые историками факты, но вместе с тем и попыткой дать этим фактам первоначальное объяснение. Названные и разнесённые по рубрикам факты уже не были подлежащим объяснению сырым материалом. Имя и место в образе истории сообщали им минимальную интеллигибельность. Конечно, в теории позитивисты понимали задачу объяснения истории как эксплицитное формулирование законов, но в историографической практике нередко достаточным объяснением факта была его «квалификация», способное придать ему смысл классификационное суждение о нем. Понятно, что такая роль классификации была возможна ровно в той мере, в какой система категорий имплицитно³ наделялась определённой логикой функционирования. Только в таком случае назвать факт и поместить его в ту или иную рубрику могло означать приписать ему некоторые гипотетические отношения с фактами других категорий. Последние далеко не обязательно должны были формально идентифицироваться в качестве причин. Было вполне достаточно, если рубрикация отсылала к невысказанной экспликативной модели, к некоторому образу, который мы отвергли бы в качестве формулировки исторического закона, но которым мы вполне могли довольствоваться на уровне обыденного понимания связи вещей.

Именно такую роль играл стратифицированный образ истории. Та или иная **интерпретация взаимоотношений между его различными «уровнями»** обычно составляла основу экспликативных моделей, придающих смысл историческому процессу, – то ли политика из верхнего ящика комода, то ли экономика из своего «базиса» определяла движение всеобщей истории. Иными словами, **движение объяснялось из разницы в динамическом потенциале отдельных элементов этого образа**⁴. Социальная история, когда принадлежность человека к группам считалась детерминирующей всё его поведение, конечно же, была лишь одной из версий такого объяснения, но, как и другие, она

¹ Dolby R. G. A. Classification of the Sciences: The Nineteenth-Century Tradition // Classifications in Their Social Context / Ed. by R. F. Ellen, D. Reason. London; New York; San Francisco, 1979. P. 167-193.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 187.

³ Имплицитный, имплицитная, имплицитное [от лат. *implicite* включая, в том числе] – (лог.). Содержащийся внутри, подразумеваемый, внешне не проявляющийся скрытый; неявный.

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 188.

коренилась в том же воображаемом мире. Связывая рубрики в схему, логика функционирования которой подсказывалась пространственным образом, позитивистская историография могла позволить себе отказаться от второй части программы Тэна (после сбора фактов – открытие законов). Это последнее оказывается не таким уж обязательным, если в нашем распоряжении имеется стратифицированный образ истории. **Функция упорядочения, а имплицитно и функция объяснения, уже выполнена в тот момент, когда мы разнесли факты по рубрикам¹.** Рубрикация выступает, по меньшей мере, столь же важным когнитивным инструментом истории, как нарративная форма, о которой в последние десятилетия так много говорится².

Однако **рубрикация истории не просто делает исторические факты элементарно интеллигибельными: она конституирует их.** Следует оценить все следствия такого положения дел. Минимальное значение является элементом бытия факта. Но если факт не существует для нас вне минимального значения, то же самое относится и к реальности в целом, которая невозможна вне системы категорий, в которых мы её представляем. Не просто исторический факт обычно не может быть установлен без первоначального придания ему смысла с помощью предварительного классификационного суждения, но и история не может существовать вне некоторой организующей связи, столь же имплицитно присутствующей в её фактах. Наделение факта, и истории в целом, значением есть момент проецирования структур разума на прошлое, иными словами – конституирования исторической реальности. **Поэтому рубрикация истории, равно как и её репрезентация в пространственном образе, является не просто интерпретацией, но конституированием истории.**

В этой связи характерна критика стратифицированного образа истории как грубого упрощения. Так, Дж. Хекстер писал:

«Для собственного удобства мы разделяем область человеческого опыта на более или менее пригодные к употреблению рубрики – социальную, экономическую, политическую – и затем приобретаем обыкновение воспринимать наши классификационные инструменты как реальности, как сущности, противопоставляя, их друг другу и даже высказывая предположения об их сравнительной важности. Мы забываем, что их значение определяется количеством конкретных вещей, которые мы сами, часто произвольно, решаем отнести к этим рубрикам»³.

Это рассуждение замечательно тем чувством хозяина, которое историк испытывает по отношению к своим интеллектуальным инструментам, как если

¹ Ср. аналогичную оценку когнитивной роли периодизации истории А. Про: «Периодизация... делает историю если и не интеллигибельной, то уже, по крайней мере, мыслимой». Про А. Двенадцать уроков по истории. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. С. 118.

² Поэтому напрасна ирония Коллингвуда, противопоставлявшего энтузиазм, с которым «историки включились в первую часть позитивистской программы» (т. е. приступили к сбору фактов), их неловкости по поводу собственной неготовности перейти ко второй части, т. е. к открытию законов (Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. С. 122 – 123).

³ Hexter J. H. Fernand Braudel and the Monde Braudelian // On Historians. Cambridge (Mass.) Harvard U. P., 1979. P. 138.

бы в его власти было совершенно изменить их, как если бы, например, мы могли писать историю, не реифицируя собственные ментальные категории¹. Но ведь реальность для нас именно и конституируется в процессе реификации категорий, так что мы в лучшем случае можем только выбирать, какие категории реифицировать. Впрочем, даже и здесь наше право выбора сильнейшим образом ограничено, поскольку свойственные нам когнитивные стандарты обычно требуют реификации определенного типа категорий. Так вот, **именно структуры стратифицированного образа истории «ответственные» за важнейшие черты нашего чувства исторической реальности.** История «предфигурирована» для нас в этом образе, он служит для нас залогом её реальности, его мы чувствуем тем внутренним чувством, которым мы отличаем реальное от нереального. Иными словами, именно этот образ мы проецируем на некоторый абстрактный план сознания, который называем реальностью². Неудивительно, что когда историки в 1980-е гг. слишком далеко зашли в стремлении избавиться от реифицируемых категорий, результатом стало «исчезновение прошлого», которое не удавалось помыслить вне категорий, отвечавших привычным когнитивным стандартам.

Вполне естественно, что конституирование этой реальности происходит с учетом разрешающих способностей нашего разума и в свойственных ему формах. **Категории, в которых мы конструируем историческую реальность, не произвольны, прежде всего, как выражение некоторых когнитивных ограничений нашего разума.**³

Поясним это на самом общем примере. Какая бывает история? Древняя, средневековая, новая и новейшая. Или: первобытного, рабовладельческого, феодального и капиталистического общества (по всей вероятности, список можно не продолжать). Или: экономическая, социальная, политическая и культурная. Историческая протяженность бывает длительной, средней или краткой (Бродель, естественно, отмечал, что протяжённостей на самом деле множество⁴, но работал всё же с тремя). Такими же бывают экономические циклы. Общество состоит из духовенства, дворянства и третьего сословия, или из дворянства, крестьянства, буржуазии и пролетариата, или из высшего, среднего и низшего классов. Во всех этих примерах число составляющих целое элементов не превышает 3–4. **Самые дробные из известных нам социальных классификаций не превышают 7–9 элементов. Если же элементов оказывается больше, они неизбежно объединяются в несколько категорий более высокого порядка**⁵.

¹ Уже Симиан подчеркивал необходимость пользоваться общими понятиями, не приписывая им онтологического статуса, относиться к ним как к инструментам нашего разума, и полагал, что страх историков перед общими понятиями как раз и приводит к реификации этих последних.

² Конечно, кроме заложенных в этом образе структурных черт в наше построение реальности входит много других факторов, и прежде всего – некоторая тактильная интуиция, некоторое ощущение плотности мира, и нам предстоит проследить в дальнейшем влияние изменений в этой интуиции на эволюцию понятия «социальное».

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 190.

⁴ Braudel F. *Ecrits sur l'histoire*. P. 112.

⁵ Desrosieres A., Thevenot L. *Les categories socio-professionnelles*. Paris: La Decouverte, 1988. P. 68. Респонденты современных социологических опросов выделяют в современном обществе от 2 до 11 групп, но последнее

Но почему историки (и не только они) всегда работают с ограниченным (и всегда на примерно одном и том же уровне) количеством категорий, на которые разлагается то или иное целое? Конечно, не потому, что история на самом деле была древней, средневековой, новой и новейшей, а общество состоит из высшего, среднего и низшего классов. Скорее, существует определенный порог различения, свойственный нашему когнитивному аппарату, определенный интеллектуальный стандарт, форма разума, схема, априори, Гештальт или что-нибудь в этом роде, что налагает ограничения на нашу способность представить себе историю, общество или иные абстрактные объекты. Психологам известны такого рода ограничения. Не вдаваясь сейчас в обсуждение достаточно спорного вопроса о происхождении этих ограничений, отметим, что связь с ними некоторых формальных сторон понятийного аппарата нашей дисциплины не кажется невероятной. Совсем напротив, было бы странно, если бы исторические понятия не отражали некоторых особенностей нашего когнитивного аппарата¹.

Перейдем теперь от когнитивных к семиологическим функциям стратифицированного образа истории. Образ истории служил также образом исторической профессии. Он упорядочивал не только события прошлого – указывая каждому исследователю его законное место в общем труде², он структурировал профессиональное сообщество. По словам Д. Мило, «историки... мыслят себя в терминах областей и периодов (своих исследований. – Н. К.)»³. Речь, конечно, идёт далеко не только о мнемонистических средствах или об этически нейтральном коде. Стратифицированный образ истории достаточно антропоморфен, и то или иное соотношение в динамическом потенциале между его отдельными элементами в состоянии достаточно

редкость, кроме того, здесь может вмешиваться механизм открытого списка. Респонденты Э. Ботт в зависимости от типа их видения общества выделяли в разных случаях от 2–3 до 4–8 категорий. Историки используют приблизительно такие же классификации. Выше мы подробно проанализировали одну из них – классификацию А. Д. Люблинской (см. гл. 1). Детальный анализ французского общества XVII в. приводит Р. Мунье к необходимости выделить 9 «страт» (Mousnier R. Recherches sur la stratification sociale a Paris aux XVIIe et XVIIIe siecles: Lechantillon de 1634. 1635. 1636. Paris: A. Pedone, 1975). Но, даже сконструировав столь детальные схемы, историки, как мы отмечали выше (гл. 1), обычно забывают о них, едва от описания переходят к повествованию. Характерно с этой точки зрения замечание А. Д. Люблинской в другой её работе: историку Старого порядка чрезвычайно трудно анализировать классовую борьбу, поскольку участвовали в ней не два, а целых четыре класса (Люблинская А. Д. Франция при Ришелье. Л.: Наука, 1982. С. 217–218). В текстах XVII–XVIII вв. мы встречаемся с таким же «порогом различения». Возьмем наиболее детальные из классификаций того времени. Шарль Луазо выделяет 9 светских и 8 или 9 духовных «подсословий», однако объединяет их в три сословия. Жан Дома выделял во французском обществе 9 групп, Л.-С. Мерсье – 8 или 9 (Perrot J.-C. Rapports sociaux et villes au XVIIIe siecle // Ordres et classes: Colloque d'histoire sociale (Saint-Cloud. 1967) / Pub. par D. Rosch. Paris; La Haye: Mouton, 1973. P. 147).

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 192.

² О возникновении основанной на разделении труда социальной солидарности исторической профессии как факторе формирования современной историографии см.: Keylor W. R. Academy and Community. P. 103–104; Noiriel G. Naissance du metier d'historien // Cenèses. 1990. №1. P. 58–85; Idem. Le jugement des pairs: La soutenance de these au tournant du siecle // Ibid. 1991. Na 5. P. 132–147 обе статьи воспроизведены в: Noiriel G. Sur la «crise» de l'histoire. Paris: Belin, 1996. P. 211–260). Характерно, что современный кризис историографии, распавшейся на несоизмеримые между собой дискурсы, Ж. Нуарьель рассматривает, прежде всего как социальный кризис исторической профессии, распавшейся на непонимающие друг друга сообщества (Noiriel G. Sur la «crise» de l'histoire. Paris: Belin, 1996. P. 12–32).

³ Milo D. S. Pour une histoire experimentale, ou le gai savoir // Alter Histoire: Essais d'histoire experimentale / Pub. par D. S. Milo, A. Boureau. Paris: Les Belles Lettres, 1991. P. 43.

непосредственно выразить ту или иную концепцию личности, тот или иной культурно-антропологический идеал, который историк стремится воплотить в самом себе и об универсальной значимости которого он заявляет на символическом языке своей науки, объективируя его с помощью своего дискурса и «открывая» соответствующие пласты исторического материала¹. Мы не думаем, чтобы удалось найти иной, более значительный смысл истории, её иное, более существенное означаемое, нежели личность её создателя – историка. В других работах² автор попытался показать, как на этом метаязыке макроисторических категорий говорили о себе советские историки. На нём же «представляли себя» и историки других стран. Политика, правящая из верхнего ящика комода, была словом о себе школы французских республиканских историков – Лависса, Рамбо, Моно, Сеньбоса и др. Французская позитивистская историография, разработавшая рубрику истории в XIX в., была историографией политически ангажированной, официальной наукой «республики профессоров». Главным содержанием истории для этих историков были политические конфликты, государственное строительство, борьба за свободу совести против религиозного фанатизма, создание национального государства, т. е. актуальные политические темы 70–80-х гг. прошлого века, ставшие основой концепции истории, где политика занимала первое место. Идеал патриота и гражданина, который выражали в своих трудах основатели французской позитивистской историографии, видевшие в истории, прежде всего форму патриотического воспитания, со всей очевидностью определял их концепцию истории³. Подобным же образом в марксистской историографии история классовой борьбы была провозглашением долга самоидентификации личности со сражающимся коллективом, а история культуры, поднятая на щит поколением Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа, А. Я. Гуревича, Ю. Л. Бессмертного и Л. М. Баткина – утверждением прав личности – носителя культуры⁴. Именно в этих конфликтах самоидентификаций заключена одна из разгадок поразительного порой упорства, отмечаемого в полемике о сравнительном значении макрокатегорий, по поводу которой иронизировал Хекстер в приведённой выше цитате. Эти категории не произвольны не просто потому, что в них отразились формы нашего разума и сковывающие нас архивы нашей науки. Они не произвольны и потому, что выражают серию экзистенциальных выборов, по отношению к которым каждый из нас только и может сделать свой собственный выбор. Ибо выбор может иметь только относительный смысл.

Итак, на формировании стратифицированного образа истории сказались

¹ По справедливому замечанию Н. З. Дэвис, «все историки исходят в своей работе из некоторых общих представлений о личности, о человеческих желаниях и реакциях». Подчеркнем, однако, что эти представления для него сильнейшим образом лично окрашены, т. е. соотношены с образом себя, что Дэвис подчеркивает немедленно вслед за приведённым замечанием, связывая направление своих собственных исследований с представлением о себе как об интеллектуале, а не профессионале.

² Копосов Н. Е. Советская историография, марксизм и тоталитаризм: К анализу ментальных основ историографии // Одиссей 1992. М.: Кругъ, 1994. С. 51–68.

³ Keylor W. R. Academy and Community. P. 90–100. Ф. Фюре говорил о Ланглуа и Сеньбосе: «Их рубрикация истории – это рубрикация историков-республиканцев» (L'historien entre l'ethnologue et le futurologue / Pub. par J. Dumoulin. M. Moisi. Paris; U Hays: Mouton. 1972. P. 62).

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 193 – 194.

весьма разнородные факторы, начиная от когнитивных ограничений «воплощённого разума» и кончая особенностями визуальной культуры нового времени и семиологическими механизмами, работа которых превращает этот образ в основу современной историографии как символической формы. На наш взгляд, он играет настолько фундаментальную роль для нашего понимания истории, что без него история просто невозможна, – вернее, невозможна та **«университетская история»**, которую мы сегодня единственно и знаем под именем истории, та культурная практика, архивы и фундаментальные образы которой восходят к эпохе Просвещения и которая окончательно сформировалась в рамках позитивистской историографии к началу XX в. Конечно, **эта история не сводится к стратифицированному образу, но именно он является её ядром, создает её основу и как когнитивной, упорядочивающей, и как семиологической системы**¹.

Как формирование, так и дальнейшая эволюция социальной истории неотделимы от судьбы стратифицированного образа истории. Но для того чтобы понять эту эволюцию, нам необходимо остановиться на метаморфозах понятия социального в конце XIX – начале XX в. В этот период произошло настолько значительное обновление рассматриваемого понятия, что иногда говорят об «изобретении» или «открытии» социального². В какой-то мере такие оценки справедливы, потому что на грани веков социальное становится центральным понятием социальных наук. Все прежние значения понятия социального перегруппировываются теперь вокруг нового ядра. Можно выделить две основные, и тесно взаимосвязанные, линии модификации понятия социального в этот период – речь, с одной стороны, шла о новом понимании общества как предмета социальной политики, с другой – о становлении так называемой «парадигмы социального», иначе говоря – **интеллектуального проекта социальных наук, основанного на представлении о социальной природе разума**.

Идеологическая сторона «изобретения социального» изучена достаточно хорошо³. В политической борьбе конца столетия происходит, как известно, смена линий размежевания. Клерикализм и монархическая реставрация перестают быть главной опасностью для Третьей республики. На первый план политической борьбы выдвигается «социальный вопрос», имеет место общее «полевение» политической жизни и распространение социалистического движения. На смену республиканскому националистическому консенсусу 1880-х гг. **к концу 1990-х приходит всеобщий интерес к социальному, причем в политических дебатах социальное имеет тенденцию пониматься, прежде всего,**

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 194.

² Donzelot J. L'invention du social: Essai sur le declin des passions politiques. Paris: Seuil, 1994; Mucchielli L. La decouverte du social...

³ Donzelot J. L'invention du social; Noiriel G. Pour une approche subjectiviste du social // Annales: Economies. Societes. Civilisations. 1989. Vol. 44. №6. P. 1438. Семантическая связь между «социальным вопросом» и социальной историей сохраняется поныне. Например, Р. Ремон писал: «Напиши я историю какой-либо забастовки, я стал бы специалистом по социальной истории» (Remont R. Le contemporain du contemporain // Essais d'Ego-histoire / Pub. par P. Nora. Paris: Gallimard, 1987. P. 344).

в узком смысле этого слова¹. Доминирующей политической силой становятся движения радикальной и социалистической ориентации.

Однако обоснование радикальной политики требовало существенного обновления интеллектуального аппарата, разрыва с привычными мыслительными ходами классического позитивизма и политической экономии. Радикалы искали средний путь между либерализмом и революционным марксизмом, которые в равной мере основывались на атомарной модели общества². Попытки найти этот средний путь были связаны со стремлением так изменить структуру модели, чтобы снять дихотомию общественного и частного, предполагавшую крайние варианты политических решений. Это можно было сделать, показав, что между государством и атомарными индивидами имеется промежуточный уровень, иными словами, что индивиды естественным образом принадлежат к общностям, обладающим особой формой бытия. В таком случае «социальный вопрос» приобретал статус легитимного объекта государственной политики, а это значит – получала обоснование более широкая социальная политика, направленная на создание нового демократического консенсуса. Более того, консенсус оказывался естественным состоянием общества, поскольку обнаружение особого уровня бытия социальных групп позволяло говорить о том, что для общества естественна солидарность, а солидарность воспринималась как условие социальной стабильности, поставленной под сомнение в период разложения патриотического консенсуса и поляризации политических сил³. Главной задачей новой идеологии, проявившейся, прежде всего в солидаристских теориях⁴, было осуществить переход от либеральной концепции атомарного гражданского общества к социальным теориям, подчеркивающим невозможность рассматривать общество как механическую сумму индивидов. Именно в этот контекст вписывается рождение социальных наук⁵.

В известном смысле речь шла о решении все той же логической

¹ Важной основой осознания социального в узком смысле как особой сферы бытия было развитие статистики и, в частности, огромная работа по составлению кодексов социoproфессиональных категорий (социальная история 1960-х гг., стремившаяся создать «исторические» социoproфессиональные кодексы по образцу современных, в значительной мере унаследовала именно эту интеллектуальную традицию). Опыт составления подобных кодексов в XIX в. был одним из важнейших факторов накопления – и осознания – того материала, с которым постепенно, прежде всего, и стали связывать понятие социальное. См.: Desrosieres A. La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique. Paris: La Decouverte, 1993.

² Атомарный характер либеральной модели, в значительной мере основанной на интеллектуальном аппарате классической политэкономии, вполне очевиден. Марксизм рисовал в соответствии с той же моделью капиталистическое общество, которое следует уничтожить и в котором все формы солидарности были уничтожены рынком. Так что в обеих моделях воплощенной государством всеобщности противостояла атомарная структура. См.: Donzelot J. L'invention du social. P. 49 – 72.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 196.

⁴ Weisz G. The Emergence of Modern Universities in France, 1863 – 1914. Princeton: Princeton U. P., 1983. P. 270; Mucchielli L. La decouverte du social...; Donzelot J. L'invention du social; Haywood J. E. S. Solidarity: The Social History of an Idea in XIXth Century France // International Review of Social History. 1959. Vol. 4. P. 261 – 284.

⁵ «Развитие социальных наук... отражало политическую потребность в социальной интеграции» Weisz G. The Emergence of Modern Universities in France, 1863 – 1914. Princeton: Princeton U. P., 1983. P. 369). Характерна фраза Дюркгейма из его программной вводной лекции курса по теории социальной солидарности в Бордо: «Наше общество должно вновь обрести сознание органического единства. Индивид должен чувствовать присутствие и влияние социальной массы, которая охватывает его и проникает в него, и это чувство должно постоянно направлять его поведение».

проблемы, с которой столкнулись социальные теоретики начиная, по крайней мере, с Руссо, а именно, о возможности разумного и гуманного общественного устройства, не сводимого ни к торжеству частных интересов, ни к деспотизму государства. В конце XIX в. у старой дилеммы стало намечаться новое решение, связанное с акцентом на роли сознания в формировании социальных групп. Общности в значительной мере рассматривались как преодолевающий индивида феномен, и благодаря этому они обретали особый уровень бытия, становились неразложимыми на индивидов. Самым надежным способом снять проблему разложимости общества на индивидов было показать невозможность индивидов вне общества¹. Но поскольку атомарный индивид был прежде всего индивидом рациональным и ответственным, группам по необходимости приписывалось свойство ограничивать рациональность индивидуального сознания. Именно здесь возникает переплетение двух логик изобретения социального – осознания толщи общественных связей и понимания разума как социального факта.

Атомарная либеральная модель была возможна лишь при наличии абсолютно сознательных субъектов. Таковыми и были субъекты классической политической экономии, действовавшие на основании точного знания рынка и рационального учета своих интересов, таковыми же были и субъекты либеральных политических теорий XIX в. Все эти теории основывались на представлении о рациональности как о естественном свойстве сознания, от природы наделенного способностью адекватно познавать мир. Подобный образ разума, однако, был решительно поколеблен к концу столетия. Благодаря Марксу, Ницше и Фрейдю разум перестал казаться спонтанно рациональным, в нём открылась способность к ложному сознанию, в той или иной форме порождаемому отношениями между людьми. Отсюда также открывался путь к пониманию сознания как социального явления. Следовательно, параллельно тому, как сознание оказывалось сутью общества, общество превращалось в источник сознания. В известном смысле общество и сознание оказывались тождественны².

Именно такое сознание-общество становится предметом социальных наук, чьё формирование также стало существенным фактором развития понятия социального. В этом проявился важнейший механизм тематизации мира в культуре XIX в. Тот или иной уровень бытия считался особой реальностью, если существовала наука, которая его изучала, иными словами, если он имел статус предмета самостоятельной науки. В свою очередь условием легитимности науки являлось наличие особого уровня бытия как её предмета. Социальное во всей гамме его сегодняшних употреблений мыслимо только как предмет социальных наук, самое существование которых выступает важнейшим фактором нашей тематизации мира. Для того чтобы науки,

¹ Именно критика либерализма и идеи индивида была исходным пунктом интеллектуального проекта Дюркгейма, как, впрочем, и французской неокантианской философии в лице Ренувье и Бугру (Mucchielli L. La découverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870-1914). Paris: La Découverte, 1998. P. 90–91, 158–162).

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 197 – 198.

изучающие сознание, были социальными, само сознание должно было быть социальным фактом. Именно в обнаружении социальности сознания состояло то главное, что конец XIX в. привносит в понятие социального. Основным интеллектуальным инструментом «парадигмы социального» становится концепция разума-культуры¹.

Подробнее об этом речь пойдет в Заключение. Здесь мы ограничимся констатацией, что эволюция конца XIX в. имела двойственный эффект для понятия социального. С одной стороны, злободневность социального вопроса способствовала кристаллизации понятия социального в узком смысле слова, как особого уровня общественного бытия. С другой стороны, социальное оказывалось универсальным свойством дел человеческих вообще. И сколь бы важным не был первый аспект, второй был бесконечно важнее. Отметим к тому же, что социальное в узком смысле в этот период рассматривалось, прежде всего, как выражение солидарности между людьми, так что интерес к разделению людей на группы, а тем самым и к проблемам социальной структуры, под влиянием марксизма постепенно распространявшийся в общественном сознании, был все же сравнительно второстепенен. Поэтому социальное, почти уже превращенное в материализованный пласт фактов, вдруг вырывается из ящика комода и становится всеобъемлющим эфиром истории.

Дереификации понятия социального способствовала и общая интеллектуальная эволюция конца XIX в., определившая, в частности, своеобразие научного воображения эпохи. Это была порожденная революцией в естествознании «великая драма относительности», когда то, что в картине мира классической механики казалось осязаемой, тяжелой материей, вдруг оказалось, скорее, энергией. Подстановка сублильного сознания² на место вещественного факта в социальных науках³ сродни этой эволюции естествознания.

Именно мобилизация форм немеханистического воображения позволяла снять противопоставление множества и точки, заменив его более сложной картиной, где эфир сознания не менее важен, чем телесность индивида, где, более того, индивиды возможны только в той мере, в какой они создаются этим эфиром, и где границы физических тел оказываются проницаемыми для вновь открытых форм действительности. Заполнение пустоты между атомарными индивидами и государством было теснейшим образом взаимосвязано со сменой научного воображения. Одновременно референциальная⁴ безусловность декартовых координат была нарушена обнаружением зависимости

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 198.

² Сублильный, сублильная, сублильное; сублилен, сублильна, сублильно [от латин. subtilis, букв. тонко сотканный] (разг.). Тонкий, нежный, кажущийся совсем хрупким, неосновательным.

³ Г. С. Хьюгс резюмировал эту эволюцию социальной мысли конца XIX в. в следующих словах: «Психологический процесс занял место внешней реальности в качестве важнейшего предмета для изучения. Самым главным казалось теперь не то, что существовало на самом деле, но то, что люди полагали существующим» (Hughes H. S. Consciousness and Society: The Reorientation of European Social Thought 1890–1930. London: MacGibbon and Kee, 1967. P. 66).

⁴ Референция, референции, ж. [фр. référence]. 1. отношение языкового знака к чему-либо вне себя, к реальной или воображаемой действительности. 2. Рекомендация, отзыв о ком -, чем-н. (офиц., спец.).

пространства-времени от меняющейся позиции наблюдателя¹. Пространство галилеевской науки перестало быть безусловным кадром логических референций. Это пространство было поставлено под сомнение и **импрессионистскими экспериментами** с пространством зрения, удивительно совпавшими по времени с естественнонаучными открытиями. Конечно, эти перемены в картине мира естественных наук и изящных искусств лишь постепенно, фрагментарно и нерешительно осваиваются социальной мыслью. И всё же образ стратифицированной истории с тяжёлой реальностью фактов в подобном интеллектуальном климате оказывался такой же устаревшей диковинкой, как добрый старый комод из красного дерева².

Именно сложившееся в контексте новых политических теорий и нового интеллектуального климата понятие социального определило программу дюркгеймовской социологии и сформировавшийся под её влиянием проект социальной истории, прежде всего – школы «Анналов». Социология Дюркгейма, наиболее полное выражение солидаристской идеологии и почти официальная социальная доктрина Третьей республики в начале века, была обязана своим огромным успехом в значительной мере именно разработке нового понятия социального. Социальное было символом смены идеологических поколений, когда на место патриотически настроенного историка первого периода Третьей республики пришли социально и космополитически ориентированные социологи и социальные историки республики радикалов.³

Дюркгеймовская социология мыслила себя отнюдь не в качестве одной из дисциплин об обществе, она претендовала на всеобщность охвата дел человеческих. Начиная от Огюста Конта слово «социология» во французской традиции было синонимом «социальной науки» (нередко в единственном числе), и такое понимание было в высшей степени характерным для Дюркгейма. Если сознание социально, то социальными оказывались не какая-либо одна, но все вообще формы человеческого бытия, ибо все поведение опосредовано сознанием. Именно поэтому для Дюркгейма «социология – это прежде всего новый взгляд на человека, новый инструмент анализа человеческой природы»⁴. Социальное для Дюркгейма было прежде всего социально-психологическим⁵, пронизывающим все человеческое поведение, и

¹ По словам А. Лефевра, «к 1910 году происходит распад пространства здравого смысла, знания, социальной практики и политической власти... Эвклидово перспективное пространство вместе с другими общими местами перестает существовать в качестве референциальной системы» (Lefebvre H. La production de l'espace. Paris: Anthropos, 1974. P. 34). В этой работе показаны глубокие трансформации в восприятии пространства на рубеже веков, и, прежде всего, осознание множественности пространств и нарушение безусловности апеллирующих к пространственным парадигмам традиционных иерархий.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 200.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 200.

⁴ Цит. по: Mucchielli L. La decouverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870-1914). Paris: La Decouverte, 1998. P. 162. Мюккелли прав, подчеркивая, что проблематика творчества Дюркгейма – глубоко философского происхождения, так что социология была для него, прежде всего средством разрешить вопросы философского характера (Mucchielli L. La decouverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870-1914). Paris: La Decouverte, 1998. P. 167–170). В том же смысле высказывался и Д. Ла Капра, подчеркивая, что деятельность Дюркгейма означала одновременно и кульминацию классической философии, и рождение социологии (La Capra D. Emile Durkheim: Sociologist and Philosopher. Ithaca; London: Cornell U. P., 1972. P. 4).

⁵ Д. Ла Капра правильно подчеркивал, что Дюркгейм идентифицировал разум и общество (La Capra D. Emile

неудивительно, что его социология являлась чрезвычайно широкой программой исследования самых разных аспектов человеческого бытия, и в особенности – коллективных представлений, ментальности, морали и религии. Характерно, что ни у Дюркгейма, ни у его учеников (за исключением **Мориса Альбракса**) проблема классов не приобрела сколько-нибудь самостоятельного значения (сам Дюркгейм видел в классовых теориях подкоп под понятие солидарности)¹, а экономические явления (в частности, обмен) рассматривались ими, прежде всего как символические формы². **Экономическая социология, например, Симиана была, прежде всего «социальной психологией экономической жизни»³.**

В этих условиях неудивительно то замедленное формирование социальной истории в качестве особой частной истории, о котором мы говорили выше. Правда, в начале XX в. имеет место некоторое наверстывание упущенного, когда во французской историографии проявляется несомненный интерес к истории экономического быта, условий труда и истории классов, прежде всего – народных, который со всей очевидностью был связан с распространением социалистического движения⁴. **Недавние исследования подчеркивают, что социальная история фактически сложилась во Франции начала XX в. в трудах таких историков, как А. Озе, П. Буассонад, Ф. Саньяк, А. Сэ⁵.** Ранее эти труды терялись в гигантской тени «Анналов», которым приписывалась честь создания социальной истории во Франции в противовес «историзирующей», «событийной» истории. Сейчас становится очевидным, что такое толкование несколько односторонне⁶. Уже в поколении историков, пришедших в профессию в последние годы XIX в., происходит смена сложившейся у предшествующего поколения, поколения Лависса, модели

Durkheim: Sociologist and Philosopher. Ithaca; London: Cornell U. P., 1972. P. 10).

¹ Mucchielli L. La decouverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870-1914). Paris: La Decouverte, 1998. P. 202. Характерно название посвященной экономике рубрики «Социологического Ежегодника»: «Психология экономических систем».

² Mauss M. Essai sur le don // Sociologie et anthropologie. Paris: Presses Universitaires de France, 1950.

³ Mucchielli L. La decouverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870-1914). Paris: La Decouverte, 1998. P. 492.

⁴ О социальной истории, равно как и о социологии, можно сказать: «От социального до социализма – один шаг» (Noiriel G. Pour une approche subjectiviste du social // Annales: Economies. Societes. Civilisations. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1438.). Этот шаг со всей очевидностью был сделан, например, в произведениях одного из ключевых персонажей французской политики этого времени – Жана Жореса, и, прежде всего – в его «Социалистической истории Французской революции», которая в значительной мере являлась её социальной историей (Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. 1–6. М.: Прогресс. 1977–1983). Но для большинства социальных историков начала века характерна левая ориентация в политике.

⁵ О связи интереса Анри Озе к социальной истории с его симпатией к синдикализму см.: Weisz G. The Emergence of Modern Universities in France, 1863–1914. Princeton: Princeton U. P., 1983. P. 288.

⁶ Le Goff J., Rousellier N. Preface // L'Histoire et le metier d'historien en France, 1945-1995 / Pub. par F. Bedarida. Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 1995. P. 7. По словам Л. Мюкелли, «вопреки мифу, созданному наследниками школы «Анналов» после второй мировой войны, уже на грани веков во Франции родилась та традиция, которую Берр в 1919 г. впервые назвал "новой историей" – выражением, которому было суждено большое будущее» (Mucchielli L. La decouverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870-1914). Paris: La Decouverte, 1998. P. 452). См. также: Mucchielli L. Aux origines de la Nouvelle Histoire en France: L'evolution intellectuelle et la formation du champs des sciences sociales (1880–1930) // Revue de synthese. 1995. 4e serie. №1. P. 55–98. О роли мифа о событийной истории для программы «Анналов» см.: Carrard Ph. Poetics of the New History: French Historical Discourse from Braudel to Chartier. Baltimore; London: The John Hopkins U. P., 1992. P. 1-2.

патриотической, ориентирующейся на проблематику политической борьбы историографии. Молодые историки, выпускники Высшей нормальной школы, разделяли интеллектуальный и политический опыт, пережитый их сверстниками-философами, превратившимися в социологов и вставших под знамена Дюркгейма¹. Поколение, сформированное делом Дрейфуса, не могло смотреть на историю глазами поколения, пережившего позор поражения при Садовой². И все же, **несмотря на распространение социальной истории в узком смысле слова, магистральный путь социальной истории гораздо больше напоминал путь дюркгеймовской социологии**³.

С этой точки зрения характерна программа школы «Анналов»⁴. Вопреки любимому афоризму Блока, основатели журнала были в чем-то больше похожи не на свое время, а на своих отцов. Даже младший из них, Блок, безусловно, принадлежал к поколению дела Дрейфуса. **В известном смысле создание «Анналов» можно рассматривать как продолжение той революции в социальной мысли, которая во Франции была осуществлена дюркгеймианцами на грани XIX–XX вв.**⁵

Концепция социального у основателей «Анналов» была размытой и двойственной. Февр подчеркивал, что именно неопределенность привлекала их в этом понятии⁶. С одной стороны, социальная история рассматривалась как тотальная история («история... как единое целое... социальна по своей

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 202.

² Smith R. J. L'Atmosphère politique à l'École Normale Supérieure à la fin du XIXe siècle // Revue d'histoire moderne et contemporaine. 1973. Vol. 20. №2. P. 248-268; Sirinelli J.-F. Génération intellectuelle. Khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres. Paris: Fayard, 1988; Charles C. Naissance des «intellectuels», 1880-1900. Paris: Minuit, 1990; Prochasson C. Les intellectuels, le socialisme et la guerre. 1900-1938. Paris: Seuil, 1993.

³ Характерна с этой точки зрения критика Франсуа Симианом понятия социального в узком смысле слова как основы социальной истории, рассмотренной в качестве элемента стратифицированного образа истории. Эта критика, сформулированная по поводу рубрикации истории Ланглуа и Сеньобоса, очевидно предвосхищает аналогичные высказывания Люсьена Февра: «Что означает противопоставление социальных институтов другим, которые, по-видимому, таковыми не являются? Слово социальный имеет так много значений, что следовало бы сказать, каким образом его можно определить так, чтобы собственность, семья, образование и общественные классы считались социальными, а религия или феномены присвоения и передачи – нет» (Simiand F. La méthode historique et science sociale // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1960. Vol. 15. №1. P. 108). Здесь мы встречаемся с тем же феноменом растворения социального в узком смысле в социальном в широком смысле, который заставлял социальных историков 1960-х гг. форсировать слова, чтобы подчеркнуть идею синтетической социальной иерархии – «общество в собственном смысле», «социальное само по себе». По этому поводу Ж. Рансьер пишет о двойственном смысле слова «социальное», которое «обозначает совокупность отношений, но также и отсутствие слов для того, чтобы называть их адекватно» (Rancière J. Les mots de l'histoire: Essai de poétique du savoir. Paris: Seuil, 1992. P. 73-74).

⁴ Обзор употребления понятия социальной истории историками школы «Анналов» см.: Stoianovich T. French Historical Method: The Annales Paradigm. Ithaca; London: Cornell U. P., 1976. P. 95-97.

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 204.

⁶ Люсьен Февр следующим образом комментировал название «Анналов экономической и социальной истории» (таким, как известно, было первое название журнала): «Строго говоря, экономической и социальной истории не существует... Когда мы, Марк Блок и я, поместили эти два традиционно связанных слова на обложке наших "Анналов", мы хорошо понимали, что, в частности, прилагательное "социальное" принадлежит к числу тех слов, с помощью которых в разное время пытались обозначить столь много различных вещей, что оно, в конце концов, почти совершенно утратило значение. Именно поэтому мы его использовали... Мы единодушно считали, что столь неопределенное слово, как "социальное", было создано... историческим Провидением, чтобы стать эмблемой журнала, который не хотел замыкаться в узких рамках... Нет экономической и социальной истории. Есть просто история как единое целое... Эпитет "социальное"... напоминает нам, что предмет наших исследований – не фрагмент реальности, не изолированный аспект человеческой деятельности, но сам человек, рассмотренный внутри групп, к которым он принадлежит» (Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 19–21).

природе»)¹, с другой – она могла пониматься и в более узком смысле, как «история организации общества, классов и так далее»². При этом два смысла легко переходили один в другой³. Иными словами, **соблазн объяснить историю, поведение человека из его принадлежности к группе делал социальную историю в узком смысле слова ключом к глобальной истории**, т. е. к социальной истории в широком смысле слова, и более или менее искусное лавирование между двумя смыслами этого слова придавало социальному глубину вневходимости и вместе с тем – конкретность и суггестивность⁴, реализм и свободу от вульгарного социологизма. Такое лавирование, постоянное соскальзывание на другой уровень анализа определяет поэтику социальной истории – поэтику континуума, *Zusammenhang* а, неуловимой идентичности дел человеческих.

Конечно, в рамках модели были возможны варианты. По-видимому, Февру было ближе более дюркгеймовское, более широкое понимание социального, в то время как Блок сравнительно больше внимания уделял социальному в узком смысле слова⁵. Но это различие было далеко не абсолютным. В интерпретации Блока «материя социального» была соткана из нитей сознания, из многообразных связей между людьми, интерпретируемых им, прежде всего с точки зрения их восприятия самими субъектами социальной жизни. Иными словами, реальность социального представлялась Блоку реальностью его психологического переживания⁶ и, например, **социальную классификацию он понимал как синтез её различных образов, как гибкую, подвижную и внутренне конфликтную систему коллективных репрезентаций**⁷. К такой иерархии едва ли применима метафора «игра в кубики». И все же влияние Блока сказалось на развитии во французской историографии интереса к истории социальных структур, на её отделении от истории экономической. Во всяком случае, для участников спора о классах и сословиях Блок (наряду с Жоржем Лефевром) был родоначальником социальной истории в узком смысле слова⁸.

В этом контексте понятнее как ирония Февра по поводу

¹ Febvre L. *Combats pour l'histoire*. Paris: A. Colin, 1965. P. 20.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 204.

³ Например, Жорж Лефевр, который, подчеркивая, что значение термина социальная история «размыто, поскольку необъятно», в следующей же фразе определяет её как «описывающую различные виды структур человеческих сообществ» (Lefebvre G. *Reflexions sur l'histoire*. Paris: Maspéro, 1978. P. 154). Собственные исследования Ж. Лефевра, как мы уже подчеркивали (см. выше, гл. 1), заложили во Франции фундамент социальной истории «в узком смысле слова».

⁴ Суггестивный [*лат. suggestio* подсказывание, внушение] — 1) внушающий, вызывающий собою какие-либо представления; 2) связанный с внушением.

⁵ См., например, подробный анализ Блоком социальной стратификации в «Феодальном обществе» (Bloch M. *La société féodale*. T. 2. Livre 1. Paris: A. Michel, 1939 – 1940).

⁶ **«Исторические факты – это факты психологические по преимуществу**. Стало быть, их antecedентами, как правило, являются другие психологические факты. Конечно, судьбы людей включены в мир физический и несут его бремя. Но даже там, где вмешательство этих сил кажется наиболее грубым, их действие осуществляется только как направленное человеком и его разумом». В другом месте Блок пишет: «Предмет (истории. – Н. К.), **в точном и последнем смысле, – сознание людей**». (Блок М. *Апология истории или ремесло историка*. М.: Наука, 1973. С. 104, 83).

⁷ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 205.

⁸ Labrousse C.-E. *Introduction // L'Histoire sociale: Sources et méthodes: Colloque de Saint-Cloud* (1965. Paris: Presses Universitaires de France, 1967. P. 3.

рубрикационных схем позитивистской историографии, так и ограниченный характер его критики позитивизма, постоянно нацеленной на **подсказываемые школьной механикой формы научного воображения**. Хорошо известно стремление Февра на место традиционных механистических метафор поставить новые, ориентирующиеся на картину мира современной науки, на образы электричества, напряжения, токов, зарядов¹. Наблюдая за эволюцией социального, мы видим вмешательство в рассуждения историков некоторой тактильной интуиции, своего рода чувства плотности мира. Эта интуиция была, в частности, важнейшим аспектом изменения понятия социального, его колебаний между «эфиром социального» у Блока и Февра и «тяжелой материей» социального у историков 1960-х гг. Следует отметить, что резкие изменения тактильной интуиции чреваты последствиями для структурных черт конструируемого нами мира. Так, «эфир социального» у основателей «Анналов» существенным образом смягчал жёсткость стратифицированного образа истории, однако некоторые элементы его, связанные, например, с сохранением социальной истории в узком смысле слова, сохранялись в первом поколении «Анналов», и вряд ли можно счесть случайностью, что в следующем поколении историки вернулись к подвергнутой уничтожающей, казалось бы, критике системе научного воображения. Критикуя ригидные схемы² и ратуя за гибкое применение исторических понятий, Блок и Февр не ставили задачи создать новую их систему, разрывающую связи со стратифицированным образом истории³. При всём блеске своего творчества Блок и Февр в известном смысле работали на полях традиционной историографии, и интеграция результатов осуществленной ими эпистемологической революции в дискурс исторической профессии потребовала возврата к той тематизации исторического мира, которую выработала позитивистская историография и которую ничем не смогли заменить основатели «Анналов». В этом смысле их попытка сломать «искусственные рамки» и отказаться от «перегородок и этикеток» не имела (и не могла иметь) долговременных последствий⁴.

Уже в следующем поколении школы «Анналов» мы видим

¹ «Любопытно отметить, что сегодня, в мире, перенасыщенном электричеством, которое могло бы дать нам массу отвечающих нашим умственным потребностям метафор, мы упорно и с важным видом спорим по поводу метафор, пришедших к нам из глубины веков, тяжелых, давящих, непригодных. Мы с упорством уподобляем исторические явления слоям, этажам, прослойкам, основам и надстройкам, в то время как движение токов по проводу, их интерференции и замыкания с легкостью доставили бы нам немало образов, способных гораздо более тонко встроиться в наше мышление» (Febvre L. *Combats pour l'histoire*. Paris: A. Colin, 1965. P. 26).

² Ригидность [лат. *rigidus* окоченелый, оцепенелый] — негибкость, оцепенелость, вызванная напряжением мышц.

³ См., например, раздел «Апологии истории» о «номенклатуре», т. е. системе исторических понятий (Блок М. *Апология истории...* С. 86–97). Если же иногда основатели «Анналов» подходили к задаче пересмотра рубрикации истории, то результаты были не на высоте их таланта: вспомним хотя бы очевидно наивную и до странности безыскусную попытку Марка Блока предложить периодизацию истории «по поколениям» (Там же. С. 99–100). Стоит ли объяснять, почему она не смогла заменить собой столь неудовлетворительную модель древней, средней и новой истории? Помимо этого единичного эпизода Блок и Февр не ставили вопроса о смене понятийного аппарата позитивистской историографии, и никакой системы понятий, порвавшей связи с механистическими метафорами и систематически обращавшейся, например, к метафорам электричества, в их сочинениях обнаружить не удастся, несмотря на мечту Блока о создании «идеального языка» общепринятых и однозначных терминов.

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 206 – 207.

существенную смену акцентов в интерпретации социального. Свойственное Блоку и Февру, равно как и всему поколению основателей социальных наук, «напряжённое единство» позитивизма и субъективизма в 1930–1940-е гг. сменяется **размежеванием субъективистского и неопозитивистского подходов**¹. Для второго поколения школы в значительной мере характерны **неопозитивистские настроения, иногда сочетающиеся с влиянием марксизма, для которого представления субъектов истории не играли существенной роли**. Социальная реальность, для основателей «Анналов» почти идентичная с коллективными репрезентациями, теперь более или менее эксплицитно противопоставлялась сознанию². **Интеллектуальный климат начала века сменился новой материалистической чувственностью**. На смену игре представлений пришла «игра в кубики». Иными словами, **к середине XX в. происходит определённая реанимация стиля мысли, отвергнутого Блоком и Февром, и она захватывает, среди прочих, их наследников**³.

В поколении Броделя и Лабрусса механистическое, если не всегда по своим формам, то по своей логической природе, воображение торжествует в образах и метафорах социальной истории. В частности, стратифицированный образ истории оказывается одним из главных интеллектуальных орудий не только Лабрусса, но и Броделя. Более того, именно на нём построена **программа вторых «Анналов»**. Характерно уже название журнала, которое он сохранял с **1946 по 1995 г., – «Анналы: Экономика. Общества. Цивилизации»**. Эта трёхчастная формула, равно как и заглавие первых «Анналов», выражала **амбицию глобальной истории, но вместе с тем недвусмысленно указывала, что глобальная история состоит из истории экономической, социальной и культурной**. В заглавии первых «Анналов» («Анналы экономической и социальной истории») амбицию глобальной истории выражало слово «социальная». Оно подчеркивало, что **экономические факты не изолированы от тотальности человеческого бытия**⁴. Теперь эта амбиция выражается с помощью формулы, претендующей охватить основные страты исторического опыта, иными словами – с помощью отсылки к стратифицированному образу истории.

¹ Hughes H. S. *Consciousness and Society: The Reorientation of European Social Thought 1890–1930*. London: MacGibbon and Kee, 1967. P. 393–430.

² Характерно, что когда в споре о классах и сословиях заходила речь о сознании, оно рассматривалось как совсем иная субстанция наряду с реальностью социальных отношений. В дебатах в Сен-Клу звучал пафос доказательства того, что сознание исторических персонажей – тоже реальность, пусть и особая, и именно из этого впоследствии развилась противопоставившая себя социальной истории история социокультурная. Например, медиевисты – авторы проекта изучения социального словаря средневековья считали необходимым подчеркнуть: «Пренебрегать этим словарем – значит отказываться признать, что он тоже являлся исторической реальностью, составлявшей единое целое с другими реальностями, которые он описывал» (Batany J., Contamine P., Guenée B., Le Goff J. *Plan pour l'étude historique du vocabulaire sociale de l'Occident medievale // Ordres et classes ...* P. 87). См. также спор Мунье и Лабрусса об исторической реальности правовых понятий (см. гл. 1). Но в рамках дебатов о классах и сословиях сознание рассматривалось еще не в меньшей мере как источник рабочих гипотез для понимания реальности, нежели как часть этой реальности – и уж тем более как собственно реальность.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 207 – 208.

⁴ Люсьен Февр так комментировал смысл слова «социальная» в формуле «социальная и экономическая история»: «Именно это и означает слово социальная, которое ритуально добавляют к слову экономическая. Оно напоминает нам, что предмет наших исследований – не фрагмент реальности, не один из изолированных аспектов человеческой деятельности, но сам человек, рассмотренный в среде тех групп, к которым он принадлежит» (Febvre L. *Combats pour l'histoire*. Paris: A. Colin, 1965. P. 21).

Пространственные метафоры были общепринятым способом выражения этой программы глобальной истории. Примерами подобных трёхчастных схем могут служить «трёхуровневая история» Лабрусса, теория трёх скоростей исторического времени Броделя, повлиявшая на историков теория инстанций Альтюсера¹. Все они были чем-то большим, нежели просто группировкой фактов, – из расположения и взаимного соотношения страт в каждой модели объяснялось движение истории². Особенно важно, что конституирование новых областей исследований происходило, прежде всего, с помощью указания на их место в пространственной схеме. Так, за историей культуры или ментальностей, стремительное развитие которой началось с 1960-х гг., т. е. ещё в условиях господства экономической и социальной истории, надолго закрепилось название «истории третьего уровня», как если бы её нельзя было легитимизировать, не вписав в пространственную схему, объяснявшую движение истории³. При этом не только сторонники школы «Анналов», но и посторонние ей историки, а позднее и её критики, обычно представляли классическую социальную историю 1950–1960-х гг. с помощью пространственного образа, который им, как до них Люсьену Февру, казался чрезвычайно доходчивым способом передать содержание этих концепций и подвергнуть их критике⁴. Вот как, например, Лоренс Стоун описывает

¹ О теории инстанций Луи Альтюсера и её связи с марксистским пониманием проблемы уровней общественной жизни, с очевидностью опирающемся на пространственные и, в частности, на строительные метафоры, см.: *Dictionnaire critique du marxisme* / Pub. par. G. Labica. Paris: Presses Universitaires de France, 1982. Instance. P. 463–465.

² Для Лабрусса теория трёх уровней, когда «к самостоятельности социального по отношению к экономическому добавляется самостоятельность психологического по отношению к социальному» (*Atti del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche*. Roma: 1955. Roma, 1957. P. 530), объясняла ритмы исторического развития, когда социальное запаздывает по сравнению с экономическим, а ментальное – по сравнению с социальным (Labrousse C.-E. *Introduction // L'Histoire sociale: Sources et methodes: Colloque de Saint-Cloud* (1965. Paris: Presses Universitaires de France, 1967. P. 5). Поэтому теория трёх уровней была основополагающей для исторической концепции Лабрусса, объясняя и роль материального производства как двигателя истории, и революционные конфликты, приводившие в соответствие экономику, общество и культуру. Для Броделя также теория трёх уровней объясняла ритмы истории, но только уровни выделялись по другим принципам. Неподвижное историческое время было, прежде всего, временем общих условий исторического процесса, как географических, так и ментальных, средняя скорость относилась к фактам экономическим и социальным (которые Бродель часто предпочитал объединять под этикеткой социэкономии, но иногда он говорил об этом среднем уровне именно как о социальной истории, поясняя при этом, что под социальной историей он имеет в виду «историю групп и сообществ», т. е. «экономик, государств, обществ и цивилизаций»). См.: Braudel F. *La méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Vol. 1. Paris: A. Colin, 1990. P. 17), в то время как верхний, самый переменчивый слой истории составляли события. Здесь также, естественно, огромную роль играло расположение слоев – базовые факты человеческого бытия риторически объявлялись глубинными морскими течениями. Наконец, у Альтюсера разделение трёх инстанций – экономики, общества и культуры – служило как подчеркиванию базовой роли экономики, так и – в духе марксизма 1960-х гг. – обоснованию самостоятельности духовных явлений.

³ Chaunu P. *Un nouveau champ pour l'histoire sérielle le qualitatif au troisième niveau // Melange en l'honneur de Fernand Braudel*. Vol. 2. Toulouse: Privat, 1973. P. 105–125.

⁴ Эта критика началась в момент распада парадигмы социальной истории и была связана, прежде всего, с экспансией истории культуры, не желавшей довольствоваться отведенным ей местом на третьем этаже социального здания, но пытавшейся показать роль сознания для понимания всей социальной действительности. Такие претензии неизбежно заставляли её пересматривать схему трех уровней. О критике в адрес «Анналов» в связи с моделью трёх уровней см.: Dosse F. *Histoire en miettes*. P. 256. Характерна, в частности, критика Шартье, одного из создателей социокультурной истории во Франции: «Согласно типичному представлению (особенно шокирующему в практике "серийной истории на третьем уровне"), культура является инстанцией (отметим формулу Альтюсера. – Н. К.) социального целого, расположенной "над" экономической и социальной сферами, которые, соответственно, являются двумя первыми ступенями лестницы. Это трехчастное деление... по сути

«стандартное иерархическое упорядочение» истории в 1960-е гг.:

«Первыми по порядку и по значению шли экономические и демографические факты, затем – социальные структуры и, наконец, интеллектуальные, религиозные, культурные и политические процессы. Эти три элемента представлялись как этажи дома – каждый покоился на нижестоящем»¹.

Конечно, метафоры Броделя, человека с живым поэтическим воображением², гораздо богаче метафор Лабрусса. Для Броделя характерны гидравлические метафоры, такие, например, как образ океанских течений, казалось бы, напоминающий Люсьена Февра выраженным в нём чувством зыбкой подвижности и сложного пересечения разнонаправленных потоков, или образ сообщающихся сосудов, прямо воспроизводящий идею напряжения, зарядов³. Но по своей логической природе, а не по художественному воплощению, метафоры Броделя гораздо ближе к механистическому воображению позитивистов. При всей своей поэтичности и очевидной связи с идеей взаимопроникновения потоков метафора трех скоростей исторического времени или трёх уровней океанских течений воспроизводит трёхэтажную

дела повторяет марксистскую категоризацию, систематизированную Луи Альтюсером» (Chartier R. *Intellectual History of Sociocultural History? The French Trajectories // Modern European Intellectual History / Ed. by S. Kaplan, D. La Capra. Ithaca; London: Cornell U.P., 1982. P. 44*). Шартье подчеркивает и то, что при всех своих отличиях от модели Лабрусса теория трех скоростей исторического времени Броделя, по сути, усиливала стратифицированный образ истории (Chartier R. *Cultural History Between Practices and Representations. Cambridge: Polity Press, 1988. P. 59*). Как мы видели, Бродель отнюдь не считал базовый уровень истории экономикой. Скорее, туда могли попасть некоторые наиболее долгосрочные экономические явления вместе и в связи с явлениями географическими и ментальными, однако Шартье, по-видимому, прав, подчеркивая именно такое прочтение, и влияние, Броделя. Вместе с тем Шартье несколько прямолинейно приписывает марксизму трехчленную модель – она, как мы видели, коренится в более глубокой традиции, хотя и была лишь усилена влиянием марксизма, в частности, во французском контексте – влиянием Альтюсера. Аналогичную критическую позицию по отношению к трехчастной модели заняли и сами руководители «Анналов», о чем свидетельствует и состоявшаяся в 1995 г. смена названия. Так, в одной из статей, начавших «критический поворот» «Анналов» в конце 1980-х гг., подвергается критике броделевская «метафора этажей истории» и говорится, что история – не сумма «горизонтальных страт человеческого опыта» (Tentons l'expérience // *Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. № 6. P. 1318, 1320*). «Сегодня кажется, что школьные разграничения (история экономическая, политическая, социальная, культурная) утратили свое значение», – утверждал в том же номере журнала А. Буро (Boureau A. *Propositions pour une histoire restreinte des mentalités // Ibid. P. 1491*). В советской историографии трехчленная модель была совсем другой, к французской трехчленной модели ближе была скорее сложившаяся под её непосредственным влиянием четырехчленная модель. См.: Копосов Н. Е. *Советская историография, марксизм и тоталитаризм*.

¹ Stone L. *The Revival of Narrative: Reflection On a New Old History // The Past and the Present. Boston; London, 1981. P. 79*.

² См. воспоминания жены Фернана Броделя, говорившей о нем как о великом визионере: «Зрелище... Вот ключевое слово для понимания интеллектуальной биографии Броделя, его демарша, который никогда не был демаршем логика или философа. Может быть, это был демарш художника?». Далее Поль Бродель говорит, что впервые осознала это, когда прочитала книгу о визуальной перцепции, где приблизительно так описывается работа художника: «Он видит все, рассматривает все, запоминает множество материальных деталей. Но манит его еще неясное, не до конца осознанное значение, которое он ощущает за этим нагромождением деталей. Писать для него означает передать на картине это внутреннее восприятие, как бы дешифровать смешение, обнаружить и прояснить значимые контуры. Когда я прочла эти строки..., я сразу же подумала о том, что я сама бессознательно замечала, наблюдая внутренний демарш Броделя-историка» (Braudel P. *Les origines intellectuelles de Fernan Braudel: un témoignage // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1992. Vol. 47. № 1. P. 244*).

³ Rosental P.-A. *Méthaphore et stratégie épistémologique // La Méditerranée de Fernan Braudel // Alter Histoire / Pub. par D.S. Milo, A. Boureau. P. 109 – 126*.

схему комода из красного дерева. Бродель говорит о «расслоении истории на горизонтальные уровни»¹, о том, что разные уровни обладают различным динамическим потенциалом, и вес масс воды передается метафорой океанских течений никак не меньше, чем ажурные узоры морской пены. Решающие перемещения происходят на самом низу, на уровне тяжёлых масс. Конечно, Бродель не мог не видеть, что трёхчастная схема – грубое упрощение, не говоря уже о том, что она находилась в несомненном противоречии с поэтичностью образа моря. Он писал:

«История расположена на разных уровнях, я охотно сказал бы – на трёх уровнях, но это – только выражение, причем упрощённое. Изучению подлежат десять, сто уровней, десять, сто различных протяженностей... Каждая социальная реальность порождает свое время»².

Но, конечно, сведение многообразия протяженностей к трёхчастной схеме было отнюдь не «просто выражением». В значительной мере такого сведения требовала самая возможность построить историческую концепцию из логики взаимодействия трёх уровней. Это правильно подчеркивает Дж. Хекстер:

«История как диалектическое взаимодействие двух или даже трёх протяженностей, во всяком случае, мыслима. Но ста протяженностей? Бедлам, вавилонское столпотворение»³.

И все же, несмотря на смену акцентов, положение социальной истории в рамках этой трехчастной схемы было столь же двусмысленным, как у Блока и Февра. С одной стороны, её постоянно сужали до истории социальной структуры, с другой – расширяли в пределе до отождествления с историей в целом. При этом тот факт, что социальная история, пусть и с самым неопределённым предметом, всё же существует, кажется, не подвергался сомнению. Впечатление, что залогом существования социального было место в стратифицированном образе истории. В каком-то смысле социальная история может быть уподоблена сосюровскому означающему – оно не имеет собственного содержания и может быть идентифицировано и иметь значение только в силу отличий от других, в данном случае более определённых знаков (экономическая, политическая и даже культурная история, по-видимому, никогда не лишались с такой легкостью позитивного содержания). Показательна в этом плане фраза **Поля Рикёра**:

«Под социальной историей следует понимать широкий ряд явлений, простирающихся от того, что Фернан Бродель называл "материальной

¹ Braudel F. *Ecrits sur l'histoire*. Paris: Flammarion, 1969. P. 13.

² Braudel F. *Ecrits sur l'histoire*. Paris: Flammarion, 1969. P. 112, 119.

³ Hexter J. H. *Fernand Braudel and the Monde Braudélien // On Historians*. Cambridge (Mass.) Harvard U. P., 1979. P. 100.

цивилизацией" ... , до того, что некоторые другие называют историей мировосприятия»¹.

Собственно, именно в рамках этой механистической схемы только и был возможен спор о классах и сословиях. Идентичность социального здесь очевидна постольку, поскольку для него остается место в парапространственной модели. Оно чувственно воспринимается как тяжелая материя, однако его бытие логически доказуемо лишь в том случае, если удастся «схватить» его как особый уровень бытия, иными словами, как образ линии в рамках стратифицированного образа истории. Интуиция этого особого уровня и у Мунье, и у Лабрусса питалась образом горизонтальных линий.

Но с возвращением стратифицированного образа истории и интуиции социального как особого уровня бытия возвращается и связанный с той же культурой воображения образ синтетической иерархии. В ней тоже заключена идея особого уровня бытия, который также «схватывается» прежде всего, в образе линии. То, что этому образу есть место в общих представлениях об истории, только укрепляет стремление обнаружить синтетическую социальную иерархию. Когда мы встречаемся с сильной интуицией особого уровня социального в рамках стратифицированного образа истории, поиск синтетической социальной иерархии оказывается запрограммированным. Речь идет о том, чтобы оценить социальное в его собственных терминах, не проецируя на него структуру других «этажей» общественного здания, других страт истории, других иерархий. Нельзя описать структуру общества, опираясь на экономические или политические критерии. Нельзя написать социальную историю, исходя из циклов и ритмов экономической или культурной истории. Логика двух линий абсолютно тождественна – в обоих случаях доказательством своеобразия социального служит правильная фигура линии с идеей присущих ей, и только ей, форм членения. Обе линии являются элементами одной и той же системы научного воображения. Их взаимосвязь – вплоть до возможности соскальзывания одного образа в другой – усиливает непосредственную паралогическую убедительность модели социальной истории.

Возможно, мы понимаем некоторые из причин, по которым программу социальной истории выполнить не удалось. **Историки не сумели совладать именно с задачей, навязываемой логикой пространства, той логикой, без которой задача не была очевидной. Не сумели в силу неадекватности словесного материала².** Тогда историки потянулись к словам, которые неожиданно предстали идеальными фальсификаторами логики пространства. Следом стала распадаться модель глобальной истории. **Одним из мотивов перехода к микроистории была, по-видимому, именно возможность нарушить в микромасштабе достаточно жёсткую логику привычных макроисторических категорий³.** Вся система воображения, неразрывно связанная с понятийной

¹ Ricoeur P. The Contribution of French Historiography to the Theory of History. Oxford, 1980. P. 29.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 214.

³ Вот как Алан Буро подытоживает опыт в этом отношении итальянской микроистории: «Рубрикация дисциплины была таким образом нейтрализована: в пределе, история более не нуждается в именах своих

системой и программой глобальной и социальной истории, перестала быть несомненным референциальным¹ кадром.

Как и в предшествующих случаях, здесь **соблазнительно предположить связь между распадом социальной истории и эволюцией современной визуальной культуры.** Известно, что в 1950–1960-е гг. имела место актуализация пространственного опыта как источника логических интуиций, причём, по всей вероятности, это было связано с подъемом сциентизма и рационализма. Классическим примером может служить **структурализм, но спасиализация мысли достаточно широко распространилась в культуре этого времени**². Видимо, реанимация стратифицированного образа истории может считаться одним из проявлений этого движения мысли. Что же касается современного этапа, то, вероятно, **есть основания связать распад стратифицированного образа истории с новым кризисом рационального пространства под влиянием опыта аудиовизуальных средств информации**³. Этот опыт привёл к усложнению и увеличению разнообразия структур визуального мира, а следом – и визуального воображения, и в таком случае, возможно, **в современном периоде следует видеть продолжение тех перемен в восприятии пространства, которые начались революцией в естествознании в конце прошлого века и состояли в актуализации подавленных классической культурой форм пространственности. Но это, вероятно, означает и ослабление паралогических опор традиционной рациональности, связанной с попытками создать законченную модель мира и истории.**

На этом мы можем завершить анализ форм мышления, сказавшихся на социальной истории 1960-х гг. Мы надеемся, что этот анализ показал, среди прочего, возможность и продуктивность эмпирического исследования сознания историков. Но в таком случае уместно задаться вопросом, **почему мы так мало знаем о том, как думают историки.** Анализ истории конструктивистской гипотезы, предлагаемый в следующей главе, позволит нам ответить на этот вопрос⁴.

рубрик. Современная история конструирует локальные объекты в локальных кадрах, освобождаясь тем самым от жестких принуждений лингвистического и риторического порядка... Строительные леса теоретических понятий теперь кажутся бесполезными» (Boureau A. Propositions pour une histoire restreinte des mentalités // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1989. № 6. P. 1492-1493).

¹ Референция, референции, ж. [фр. référence]. 1. отношение языкового знака к чему-либо вне себя, к реальной или воображаемой действительности. 2. Рекомендация, отзыв о ком-, чём-н. (офиц., спец.).

² Matore G. L'espace humain: L'expression de l'espace dans la vie, la pensée et l'art contemporain. Paris : La Colombe, 1962.

³ Mongin O. face au scepticisme: Les mutations du paysage intellectuel (1976— 1998). Paris: Hachette, 1998. P. 217–224. О резком увеличении роли визуальных образов писал П. Франкастель (Francastel P. Etudes de sociologie de l'art. Paris: Denoël / Gonthier, 1970. P. 57–58). А. Леруа-Гуран, говоря о революции в восприятии пространства и времени в результате распространения аудиовизуальных средств, подчеркивал, что аудиовизуальная информация приводит к потреблению непосредственно образов и к выстраиванию самостоятельного образного языка, не нуждающегося в опосредовании линейным словесным языком (Le Roy-Gourhan A. Le geste et la parole. Paris: A. Michel, 1964-1965. Vol. 1. P. 296; Vol. 2. P. 261).

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 215.

Глава 5. Три критики исторического разума

В докладе «Ренессанс гегелевской философии в Германии», прочитанном в Кантовском обществе в 1926 г., Генрих Леви отмечал эволюцию немецкой философии, и, прежде всего неокантианства, в направлении «ярко выраженной диалектической метафизики в духе Гегеля», причем усматривал в этом отнюдь не влияние философской моды, но внутреннюю неизбежность, характеризуя неокантианство как «предназначенное для гегелевского ренессанса движение».

Доклад Леви носил, конечно же, эпатажный характер. В число представителей «гегелевского ренессанса», наряду с Дильтеем, Гуссерлем или Зиммелем, у него попали Коген, Кассирер, Виндельбанд, Риккерт – ключевые фигуры неокантианства. Впрочем, время благоприятствовало подобному эпатажу. Основатели обеих неокантианских школ лежали в могиле, само движение стремительно распалось, недавние приверженцы, и даже вожди, отходили от него. Оставался лишь год до выхода «Бытия и времени» и три – до дебатов в Давосе, и одинокое недовольство стареющего Риккерта («Разве можно так сказать по-латыни? То, что непереводаемо на латынь, для меня не существует»²) не могло заглушить звучание хайдеггеровского слова¹.

И всё же наблюдения Леви кажутся гораздо более проницательными, чем это свойственно надгробным речам по отжившим свой век школам мысли. Такие речи обычно фиксируют для потомства образы интеллектуальных движений – если не создают post factum самые движения. Посмертные образы неокантианства – более позднего происхождения, и созданная Кассирером золотая легенда, изображающая его фундаментом современной демократии, и чёрная легенда Лукача и Гадамера, обвинявших неокантианцев в релятивизме, «разрушении разума», а следом и в идейной подготовке фашизма. Леви, напротив, подчеркивает то внутреннее противоречие неокантианства, которое выступает всё более отчетливо в свете недавних исследований: **неокантианство было не просто крайне гетерогенным², но и предельно далеким от кантианства течением.** Оно могло позволить себе задавать по-кантиански звучащие вопросы ровно в той мере, в какой для ответа на них рассчитывало на чуждые критической философии фигуры мысли, и, прежде всего – на наследие Гегеля³. Этот конфликт европейская мысль пронесла через весь XX в. Именно благодаря ему зародившаяся в рамках неокантианской философии истории конструктивистская гипотеза получила лишь весьма одностороннее развитие и не благоприятствовала эмпирическому исследованию мышления историков.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 216.

² Гетерогенный, гетерогенная, гетерогенное [от греч. heteros – иной и genos – род] (науч.). Разнородный по существу или происхождению.

³ На эту черту немецкого неокантианства обращал внимание Раймон Арон (Aron R. Introduction a la philosophie de l'histoire: Essai sur les limites de l'objectivite historique. Paris: Gallimard, 1986. P. 123). О близости к неогегельянству взглядов Зиммеля и Дильтея см.: Mesure S. Dilthey et la fondation des sciences historiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1990. P. 17–18.

Чтобы убедиться в этом, мы рассмотрим три попытки критики исторического разума – критическую философию истории, школу «Анналов» и «лингвистический поворот».

По ходу обзора мы встретимся с тремя основными версиями конструктивистской гипотезы, которые можно условно назвать герменевтической, позитивистской и постмодернистской. Границы между этими версиями оставались размытыми, и элементы разных версий нередко сочетались в рассуждениях одного и того же автора. В целом для немецкой критической философии была характерна герменевтическая версия конструктивистской гипотезы, во французской традиции (будь то социология Дюркгейма или школа «Анналов») преобладала позитивистская версия (хотя и здесь присутствовали элементы герменевтической версии), а лингвистический поворот основывается на постмодернистской версии конструктивизма (достаточно близкой к герменевтической).

Суть этих версий можно резюмировать следующим образом. Герменевтическая версия исходит из убеждения в консубстанциональности субъекта и объекта исторического познания. Именно консубстанциональность позволяет познающему сознанию **понять сознание познаваемое**. Тезис о том, что история является конструктом разума, здесь понимается в том смысле, что **история является результатом действия наделенных сознанием людей и, следовательно, воспроизводит формы их сознания**. Целью исторического исследования в таком случае, оказывается, **понять сознание действующих в истории людей**. В итоге вопрос о том, как сказываются формы сознания историков на формах истории, оказывается излишним. Его место занимает изучение форм самой истории. Сознание субъектов исторического процесса в качестве предмета анализа подменяет собой сознание историков¹.

Для позитивистской версии конструктивистской гипотезы характерно жёсткое разведение познающего субъекта и объекта познания. **История понимается здесь как продукт сознания историков**. Однако этот продукт способен приблизиться к исторической истине. Конструирование истории историками рассматривается как контролируемый разумом **процесс выдвижения и верификации гипотез**. Предпосылкой такого подхода оказывается идея эпистемологической купюры. Если разум историка не очищен от предрассудков обыденного сознания, конструирование истории носит неосозанный и ненаучный характер. В таком случае структуры разума историка произвольно проецируются на историю. Но этот донаучный подход (обычно приписываемый оппонентам) преодолим. Историк способен занять критическую позицию по отношению к формам обыденного сознания и рационально конструировать историю. Тогда история, как и любая другая наука, станет создателем своих объектов и сможет приблизиться к исторической реальности. Если для герменевтической версии из тезиса о том, что история есть конструкт сознания, следовал вывод о необходимости изучать сознание субъектов истории, то для позитивистской версии из указанного

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 218.

тезиса следовал вывод о необходимости **лучше пользоваться познающим сознанием**. В обоих случаях, однако, для изучения сознания историков не оставалось места.

Постмодернистская версия конструктивистской гипотезы исходит из представления о том, что мир дан нам только в языке и благодаря языку и что, следовательно, наши представления об истории являются лишь результатом действия «лингвистических протоколов», которыми порождены исторические тексты. Отсюда – внимание к лингвистическим аспектам сознания историков. Действительно, именно в рамках лингвистического поворота сознание историков, пусть только в своей лингвистической части, впервые стало предметом эмпирических исследований. Однако концепция языка, на которой основывается лингвистический поворот, сближает постмодернистскую версию конструктивистской гипотезы с герменевтической. **В обоих случаях речь идет о преодолении дуализма субъекта и объекта познания**. Если сознание XX в. действующих лиц и исследователей истории в равной мере сводится к языку, то в конечном итоге история предстает как диалог текстов. Это позволяет снять проблему познающего сознания и рассматривать историю как продукт языковых механизмов, действовавших в сознании субъектов исторического процесса. Неудивительно, что лингвистический поворот имеет тенденцию пониматься именно в герменевтическом смысле.

В противоположность трём перечисленным версиям конструктивистской гипотезы мы исходим из следующего её понимания. **Разум историка не сводится к лингвистическому модулю, но и не является абсолютно рациональным. Историк не может обойтись без проецирования на историю форм своего разума (независимо от того, считает ли он эти формы достаточно точно воспроизводящими формы истории или нет), ибо мир, включая историю, дан ему только как проекция форм его собственного сознания**. Несмотря на то, что разум историка и разум субъектов истории принадлежат к одному порядку явлений, история всё равно остается конструктом разума историка, который полагает её как объект познания. **Иными словами, история – это то, что историк полагает в качестве трансцендентального наблюдателя¹, и такая ситуация непреодолима, поскольку позиция трансцендентального наблюдателя – одна из свойственных нашему разуму форм полагания мира. Отсюда задача изучения того, как историки конструируют историю, оказывается самостоятельной исследовательской задачей².**

Теперь мы можем перейти к обзору истории конструктивистской гипотезы.

¹ Трансцендентальный, [от латин. transcendō — переступаю, перешагиваю] (филос.). Прил., по знач. связанное в идеалистической философии с признанием независимых от опыта, априорных форм познания, сверхопытный, априорный. Трансцендентный, [от латин. transcendō — переступаю, перешагиваю]. В идеалистической философии — лежащий за пределами опыта, недоступный опытному познанию; противоп. имманентный (филос.).

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 220.

1. Критическая философия истории

В последние два десятилетия наметился подъём интереса к неокантианству. Причиной стало осознание того обстоятельства, что опыт неокантианства «парадигматичен для понимания нашей собственной эпохи». В перспективе данного исследования фундаментальная роль неокантианства для современной мысли выступает особенно отчетливо: ведь **именно неокантианство стало центральным элементом того интеллектуального перелома, из которого рождается парадигма социальных наук.**

В этой связи уместно сказать несколько слов о терминах. Авторов, на творчестве которых нам предстоит сейчас остановиться, трудно поместить под общую этикетку. Правда, Дильтея, Зиммеля, Риккерта и Вебера привычно характеризовать как критических философов истории (несмотря на острые споры, например, Дильтея с баденскими неокантианцами), но этот термин слишком явно отсылает к кантианской традиции, и его применение к неогегельянцу Кроче или позитивисту Дюркгейму может вызвать протест. Всё же за неимением лучшего обозначения мы будем пользоваться этим. С одной стороны, как мы увидим, не только немецкая критическая философия истории, но и параллельные ей попытки эпистемологического обоснования социальных наук в других странах испытали заметное влияние кантианства. В этом смысле ко всему поколению основателей социальных наук применима знаменитая формула Виндельбанда: **«Мы все, философствующие в XIX веке, – ученики Канта»¹**. С другой стороны, все эти ученики без исключения достаточно вольно обращались с наследием учителя. Даже «формальные» неокантианцы были весьма далеки от Канта. По выражению К.-Х. Конке, они «не были кантианцами. Они были НЕО-кантианцами»².

Иными словами, критическая философия конца XIX в. являлась самостоятельным интеллектуальным течением (или, точнее, целой группой самостоятельных течений), а отнюдь не механическим продолжением кантианства. Кант служил ей одной из главных философских референций, но её проблемный горизонт был уже иным. В частности, для критических философов истории, как в Германии, так и за её пределами речь шла не столько о распространении критицизма на новую для него территорию истории (как это обычно представляли сами критические философы истории от Дильтея и Зиммеля до Коллингвуда), сколько об использовании этой новой территории для переосмысления эпистемологической проблематики, иными словами – для ревизии кантианства.

¹ По словам Виндельбанда, «кантовская критика настолько широко преподавалась в качестве отправной точки всего философского мышления, что она повлияла на многих ученых, не являвшихся профессиональными философами». В аналогичном смысле высказывались и другие видные учёные, например, В. Вундт: «Кантовская критика познания представляет собой основу, на которой стоят эмпирические и философские науки нашего столетия... (Она) является главной и чаще всего неосознанной составной частью всего нашего научного образования» (цит. по: Зандкюлер Г. И. Действительность знания: Историческое введение в эпистемологию и теорию познания. М.: Изд-во РАН, 1996. С. 219).

² «Критика в кантовском смысле не занимает центрального места ни в доктрине Дильтея, ни в доктрине Зиммеля. А неокантианство Риккерта – это философия ценностей». Aron R. La philosophie critique de l'histoire: Essai sur une theorie allemande l'histoire. Paris: Vrin, 1969. P. 18.

Наш анализ мы начнём с Германии. Критическая философия истории была неразрывно связана здесь с традицией историзма – важнейшего для немецкой культуры интеллектуального течения¹, а это значит – с рядом глубоко укоренённых в этой культуре установок сознания. Возникновение набора этих установок, равно как и историзма, относится к концу XVIII – началу XIX в., т. е. к периоду, отмеченному влиянием неогуманизма и романтизма. Именно к указанным интеллектуальным движениям восходят основные темы и фигуры мысли, свойственные немецкой критической философии истории².

Важнейшим убеждением немецкого неогуманизма было представление о творческой деятельности как о высшем предназначении человека, как об отличительном свойстве человеческой природы. Творческая деятельность рассматривалась как привнесение человеком в мир порядка и смысла. Отсюда логически дополнительной к идее творческой личности являлась идея неупорядоченности мира. Конструктивизм был заложен в неогуманизме.

Однако творчество рассматривалось гораздо более широко, нежели только как созерцание. Напротив, существовала сильная тенденция подчинять созерцание деятельности. Человек неогуманизма – это не столько противопоставленный миру абстрактный наблюдатель, сколько частица одухотворенной, неупорядоченной и бесконечно богатой природы. Если ощущение принадлежности к природе могло совмещаться с ощущением собственной духовности и причастности к мировой культурной традиции (иными словами, с идеалом Bildung, то только в силу свойственной эпохе пантеистической установки, невысказанной уверенности в неизбежном присутствии духа в мире³).

Романтическое недоверие к разуму вело к представлению о принципиальной бедности понятий по сравнению с жизнью, о зависимости теоретического разума от практического, а понятий – от этических суждений. Конструируя мир, теоретический разум обедняет его, но вместе с тем подчиняет собственной логике⁴. Между разумом и миром, между структурой понятий и структурой бытия предполагался разрыв (hiatus irrationalis). В этом контексте и следует понимать знаменитое противопоставление естественных и исторических наук. Историческое познание тоже рассматривалось как творчество, как упорядочение и наделение смыслом мира, оно тоже обедняло мир и подчиняло его логике своих понятий, но все же эти последние в известном смысле больше соответствовали структурам реальности, поскольку схватывали индивидуальные явления, а не сводили их к абстрактным генерализациям. Именно поэтому исторические науки могли именоваться науками о реальности⁵. Уже здесь заметен присущий историзму конфликт

¹ Тот же Коллингвуд подчеркивал, что за освоением новой философской территории с необходимостью следовал второй этап – «радикальный пересмотр всех философских проблем в свете результатов, полученных философией истории» (Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 10, 221).

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 222.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 223

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 223

⁵ «Эмпирическая действительность для нас абсолютно иррациональна» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий: Логическое введение в исторические науки. СПб.: Наука, 1997. С. 386). Зиммель характеризовал историю как «науку, занимающуюся единственно действительностью». На эту

между конструктивизмом и метафизикой. Но **идея противопоставленного природе исторического мира** имела и другие метафизические основания. Она опиралась на представление о противоположности двух областей реальности – царства необходимости и царства свободы. Излишне подчёркивать фундаментальность этого противопоставления, **восходившего к тысячелетнему спору о свободе воли**, для традиции европейского гуманизма. В частности, понимание истории как царства свободы, где **вместо безличных законов действуют морально ответственные индивиды**, было важнейшим элементом наследия Канта. Таково же было и базовое убеждение историзма¹.

Тезис о неподводимости исторического мира под общие понятия наук о природе имел особое значение в контексте отношения к традициям Просвещения с его стремлением создать науку о неизменной человеческой природе. Главным инструментом такой науки должно было служить понятие естественного права. **Универсализм Просвещения воспринимался в Германии после Наполеоновских войн едва ли не как орудие французской экспансии**. Ему противопоставлялась идея самобытности отдельных исторических индивидуумов в широком смысле слова (таких, например, как немецкий народ). Человеческая история с точки зрения историзма – это череда несоизмеримых исторических эпох или культур, каждую из которых бессмысленно судить в терминах другой, поскольку каждая, по известной формуле Ранке, «находится в непосредственном отношении к Богу», т. е. имеет свою собственную неповторимую индивидуальность, свое предназначение, свой смысл.

Этот вывод, однако, имел несомненные релятивистские импликации. Ведь и **сам историк в таком случае ограничен понятиями, свойственными его собственной культуре**. Представление о зависимости историка от культуры его времени хорошо согласовывалось с идеей о зависимости созерцания от деятельности. Именно с погруженностью историка в жизнь связана главная трудность подлежащей историзму теории познания. Однако ставшая очевидной в конце XIX в. и вызвавшая к жизни критическую философию истории², эта трудность на протяжении нескольких десятилетий оставалась незамеченной, и причина здесь, по-видимому, все в том же пантеистическом настроении, свойственном немецкой профессуре первой половины XIX в. Ограниченный понятиями своей культуры, историк был вместе с тем причастен и к высшему разуму, который позволял ему возвыситься над этими ограничениями и проникать в смысл других культур³. Религиозное сознание XIX в. изучено

тему многократно и недвусмысленно высказывался Риккерт: историю «по сравнению с естествознанием ... можно охарактеризовать как подлинную науку о действительности; «эмпирическая действительность тождественна для нас с логическим понятием об историческом» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 223–225, 232, 319). Макс Вебер также называет социальную науку, в отличие от естествознания, «наукой о действительности. «Страстное стремление к реальности» было, по словам Дильтея, важнейшей чертой интеллектуального климата эпохи. О «вкусе» критических философов к реальности см.: 224.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 224

² Дильтей писал: «Как преодолеть (следующую из историзма. Н. К.) анархию мнений...? Ответу на этот вопрос я посвятил всю мою жизнь», и это вместе с ним могли повторить все остальные критические философы.

³ Именно таков смысл известной фразы Ранке, считавшего, что историк должен рассказывать о том, «как было на самом деле». Эту фразу обычно считают едва ли не классическим выражением позитивистской методологии. Подобная интерпретация основана на глубоко укоренившемся недоразумении. Заподозрить недоразумение заставляет уже то, что один из основоположников немецкого историзма выступает символом позитивизма. Эта

недостаточно, и мы мало знаем о механизмах постепенной секуляризации европейского разума, о том какой облик принимали свойственные христианству фигуры мысли, интегрируясь в новую светскую культуру. Как бы то ни было, представление о всеобщем присутствии духа в мире как о факторе гармонии высшего смысла было необходимо историцизму, иначе слишком очевидными становились его иррационалистические импликацияи.

Конечно, для интеллектуального климата в Германии XIX в. был характерен скептицизм, а наследие романтизма добавляло к нему иррационалистические нотки. Однако «трагическое сознание» нередко совмещалось с глубинным эпистемологическим оптимизмом. Разочарование в метафизических конструкциях, даже пробуждая сомнения в познаваемости мира, ещё не означало неверия в науку. Кант, показавший сложную природу и ограниченность возможностей познания, но, тем не менее, обосновавший достоверность последнего в известных рамках, стал символом этого умонастроения. Неокантианство было в полном смысле слова «профессорской идеологией». Но важным фактором сохранения эпистемологического оптимизма оставалось представление о причастности субъекта и объекта познания к некоторому общему началу, об их своего рода предустановленной гармонии.

Именно постепенная секуляризация сознания, по-видимому, ответственна за кризис историцизма в конце XIX в., когда имплицитная апелляция к пантеизму оказалась невозможной, и в «сумерках богов» обнаружилась недостаточность логических оснований науки. Ведущей темой немецкой философии конца XIX в. стало обоснование объективности познания в условиях погружения в мир или, точнее, историцизации субъекта познания. Тема обоснования объективности была, естественно, кантианской. Но утраченный

фраза взята из предисловия к «Истории романских и германских народов» (1824), где Ранке противопоставляет себя морализирующим историкам, которые приписывают истории «власть судить прошлое». Но главная мишень Ранке – философия истории Гегеля, который, по мнению приверженцев историцизма, игнорировал уникальность отдельных культур (в 1822 г. Гегель начал читать в Берлинском университете лекции по философии истории). В сущности, Ранке имел здесь в виду то же самое, что и в другой своей известной фразе – «каждая эпоха находится в непосредственном отношении к Богу». Поэтому и следует понимать не столько как противопоставление фактов теориям, сколько как противопоставление уникальности отдельных исторических явлений универсальным законам истории. При этом следует подчеркнуть, что фраза Ранке переводится обычно не совсем точно. её центральное слово – *eigentlich* – значило прежде всего «собственно» и даже «в сущности», отсылая к идее схватываемой историком индивидуальной, «собственной» сущности исторических явлений. Объективность в понимании Ранке означала некоторую божественную способность проникать в сущность исторических явлений. Это точно подметил Зигфрид Кракауер: «Объективность, к которой он (Ранке) стремится, – это объективность особого рода. Отчасти она основана на убеждении, что Бог манифестирует себя в развертывании всемирной истории. Ранке здесь находится под влиянием собственных религиозных чувств. Он заявляет, что историография выполняет свою высшую миссию, если она достигает сопереживания вселенной и внутреннего понимания её тайн. В таком случае историк должен аннигилировать свою личность не только для того, чтобы бесстрастно излагать ход прошлых событий, но в надежде превратиться в соучастующего наблюдателя... В идеальном историке Ранке неангажированный исследователь, стремящийся излагать факты, какими они были, сливается воедино с верующим, если не мистиком, который очищает свой разум, чтобы созерцать чудо божественной мудрости». О «телеологическом теизме» Ранке писал Т. Уилли. Сам Ранке совершенно недвусмысленно высказывался о квазибожественной природе исторического творчества: «Историк – всего лишь орган духа, который, говоря его устами, являет себе самого себя». Похоже рассуждал и Гумбольдт, согласно которому факты – «сырье истории, но не сама история», ибо подлинно историческое представление есть раскрытие недоступной наблюдению «внутренней правды» событий прошлого, правды, «схватываемой» историком в интуитивном творческом акте.

пантеистический ответ не имел ничего общего с критицизмом. Этому ответу надо было найти замену. Новый ответ, однако, должен был воспроизвести логическую структуру старого, в противном случае вся конструкция грозила распадом. Надо было дать новое имя познающей самое себя субстанции.

Конечно, **погружение субъекта познания в мир открывает и другие возможности рассуждений**. Можно, например, подвергнуть эмпирическому исследованию формы конструирования субъектом-в-мире объектов того, что он называет познанием, в том числе и такого объекта, как история. Но подобный подход возможен лишь при условии, что нам безразлична проблема объективности. Для критических философов истории наука оставалась непререкаемой ценностью. Поэтому их уделом было повторить опыт гегелевского преодоления кантовского дуализма. Метафизический монизм культуры стал воспроизведением абсолютной идеи и пантеистической веры в единство мироздания. На пути анализа исторического мира открывалась возможность создания новой метафизики. В этих условиях неудивительно, что конструктивистская гипотеза, постоянно появляющаяся в сочинениях немецких историков и философов XIX – начала XX в., воплотилась не в критике историографии, но в «исторической науке о культуре».

Мы можем перейти теперь к обзору взглядов критических философов истории. Программу критики исторического разума обычно связывают с «Введением в науки о духе» Вильгельма Дильтея, хотя многие её элементы гораздо старше¹. Но **именно Дильтей впервые эксплицитно формулирует задачу анализа исторического познания как развитие кантовской критической философии**². Однако Кант, исходивший из конструктивистской гипотезы в обосновании наук о природе, как известно, совершенно не касался проблем исторического познания. Главный тезис его философии истории состоял в **противопоставлении истории как царства свободы природе как царству необходимости**. Подобно Канту, Дильтей подчеркивает, что отличие человека от природы – в его суверенной воле, однако на первый план для него выдвигается вопрос об условиях исторического познания. Здесь Дильтей мог опираться не только на опыт кантовского обоснования наук о природе, но и на элементы конструктивистской гипотезы у учеников Гегеля (например, Эрдмана) и у приверженцев историзма (Гумбольдта, Ранке или Дройзена), которым **история также представлялась конструктором разума (правда, не столько субъективного разума историка, сколько абсолютного разума, которому**

¹ «Введение» увидело свет в 1883 г., но программа критики исторического разума сложилась уже в ранних произведениях Дильтея и фактически представляла собой теоретическую систематизацию историко-философских воззрений историзма. Дильтей был учеником Ранке, и неудивительно, что, по словам Лессинга, исследовавшего формирование его взглядов, «дух исторической школы... был главным источником интеллектуального развития Дильтея.

² «Он считал себя Кантом гуманитарных наук», – писал о Дильтее Э. Кракауер. В одном из текстов 1867 г. Дильтей так определяет свою задачу: «Наша цель ... – пройти до конца критический путь Канта и основать эмпирическую науку о человеческом разуме» Отношения Дильтея с неокантианцами дали повод для многочисленных комментариев и хорошо известно, что Дильтей весьма критически относился к логическим теориям баденских неокантианцев. Однако противопоставлять на этом основании Дильтея критической традиции было бы неправомерно, и прав Лессинг, говоря, что Дильтей «с полным правом может быть причислен к неокантианцам».

историк сопричастен)¹.

Конструктивизм Дильтея несомненен². В отличие от Ранке или Дройзена, Дильтей определенно связывает проблему исторического познания с субъективным сознанием историка, а не с говорящим устами историка божественным разумом. Важнейшей чертой его конструктивизма было погружение субъекта познания в мир, попытка преодолеть изоляцию познания от других аспектов существования человека. «В венах познающего субъекта, как его понимали Локк, Юм и Кант, течёт не настоящая кровь, но жидкий сок разума», – писал он, призывая понимать субъекта познания как «человека целиком... человека в разнообразии его способностей, имеющего волю, чувства и способность мышления». Подобное «схождение» исторического разума с неба на землю является важнейшей предпосылкой изучения ментальности историков. Однако для Дильтея (как и других неокантианцев) опасность субъективизма, следующая из такого демарша, делала неизбежным поиск новой формы сверхиндивидуального разума, с которой можно было бы связать идею объективности познания.

Путь Дильтея к обоснованию объективности весьма похож на путь историков школы Ранке. Как и они, Дильтей разделяет понимание истории как науки об индивидуальных явлениях³. Отсюда у него следует важнейший для всего немецкого неокантианства вывод:

«Между социоисторической действительностью и разумом существует гораздо более выигрышное отношение (чем между природой и разумом. – Н. К.). Разуму в нём самом непосредственно дано единство, являющееся образующим элементом самых сложных форм общества, тогда как соответствующее формообразующее начало в науках о природе должно достигаться инференцией в результате исследования»⁴.

На этот счёт у Дильтея встречается множество недвусмысленных высказываний, включая и знаменитую формулу: «Мы объясняем природу, но понимаем психическую жизнь». По справедливому замечанию одного исследователя его творчества, для Дильтея «науки о духе специфичны тем, что в них имеет место **идентичность объекта и субъекта познания**»⁵.

Именно в этой связи Дильтей подчеркивает своеобразие логических форм наук о духе, которое упускают позитивисты, стремящиеся всюду видеть работу индукции. Эта логика неприменима в науках о духе именно вследствие сопричастности познающего к природе познаваемого:

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 229.

² «Любая наука основана на опыте, но любой опыт находит свое исходное единство только в условиях нашего сознания», – писал Дильтей. Критику исторического разума Дильтей понимал, как «критику способности человека познать самого себя, равно как и свои создания – общество и историю».

³ «Цель, преследуемая науками о духе, – схватить социоисторическую реальность в том, что в ней есть единичного, индивидуального»; «понимание уникальных индивидуальных фактов представляет высшую цель этих дисциплин».

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 230-231.

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 231.

«Жизнь, жизненный опыт и науки о духе постоянно находятся в отношениях тесной связи и взаимозависимости. Основу наук о духе составляет не понятийный демарш, но схватывание психического состояния в его целостности и способность воспроизвести его путем переживания. Здесь жизнь познает жизнь... (Отсюда) резкое различие между науками о природе и науками о духе. В первых имеет место разрыв между нашим повседневным отношением к внешнему миру и естественнонаучным способом мышления, в то время как во вторых сохраняется внутренняя близость жизни и науки, благодаря которой совершаемое жизнью образование понятий остается основой научного творчества»¹.

Итак, казалось бы, для Дильтея существует проблема своеобразия исторических понятий. Собственно, именно идея континуума² является у Дильтея наиболее близкой к тому, что могло бы быть рассмотрено как априори исторического разума. Здесь было бы логичным задать вопрос о том, как именно структурирован этот континуум, какие именно факторы сказались на его формах и т. д. Дильтей, однако, не задает этого вопроса. На самом деле его мало интересуют возможные логические особенности исторических понятий. Ему достаточно подчеркнуть их связь с «совершаемым жизнью образованием понятий». Иными словами, его интересует статус, а не структуры исторических понятий, а в их статусе – лишь связь с жизненным опытом, которая и вовсе позволяет снять проблему их структур³ и при этом обосновать их объективность. Тема объективности возникает именно в связи с историчностью субъекта познания⁴, но вместо того, чтобы видеть в историчности ограничение объективности, Дильтей пытается обнаружить в ней его условие. Именно историческая жизнь в обществе является источником общезначимости индивидуального опыта:

«Только понимание преодолевает ограниченность индивидуального пережитого опыта... Взаимное понимание обеспечивается общностью, существующей между индивидами... Общность жизненных единств поэтому – исходный пункт отношений между общим и особенным в науках о духе. Всякое понимание мира духа пронизано базовым опытом общности, в котором совмещаются сознание единства себя с сознанием подобия другим, единства человеческой природы и индивидуальности... В понимании объективация жизни проявляется в противоположность субъективности пережитого опыта.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 231.

² Континуум (лат. continuum непрерывное, сплошное) — мат. непрерывное многообразие, например, совокупность всех точек прямой или какого-либо её отрезка, множество всех действительных чисел или чисел, заключённых между двумя какими-либо действительными числами, например, между 0 и 1.

³ Именно поэтому, по-видимому, Дильтей подчеркивает, что различие естественных и исторических наук лежит в области метода, а не базовых ментальных операций: «Одни и те же формы мысли, одни и те же подчиненные им виды интеллектуальных операций делают возможным научное познание в науках о природе и в науках о духе. Именно на этой основе... развиваются для решения особых проблем наук о духе их особые методы» 36

⁴ «Жизнь и жизненный опыт всегда остаются плодотворным и постоянно обновляющимся источником понимания социоисторического мира... Но путь, ведущий к этому результату (пониманию. – Н. К.), должен проходить через объективность научного познания».

Наряду с пережитым опытом, интуиция объективности жизни, её отчуждения в различные структурные ансамбли становится основой наук о духе».

Опыт фактически оказывается социальным институтом, иными словами, условием объективности как необходимой формы сознания, а тем самым и условием наук о духе¹. История и историческое познание в равной мере принадлежат к сфере объективного духа². При этом Дильтей понимает объективный дух совершенно конкретно как язык, нравы и культуру того или иного общества: «Дух объективирует себя в, и познает себя через, могучие формы искусства, религии и философии»³. Эта формула чрезвычайно близка к неокантианской теории культуры, и именно тонкий анализ форм объективации духа и связанных с ними «систем мирозерцания» обеспечил выдающуюся репутацию Дильтея как философа и историка культуры. Но содержательный анализ систем мирозерцания подменяет у него формальный анализ структур познающего сознания. Именно в конкретном анализе можно рассчитывать практически настолько развить «историческое чувство», чтобы преодолеть ограниченность индивидуального сознания, или, как это формулирует Гадамер, возвыситься до «эпического самозабвения Ранке»⁴. Иными словами, на вопрос об априори⁵ исторического познания отвечает не анализ познающего сознания историка, а анализ исторических форм сознания вообще, к каковым формам, конечно же, причастны и сами историки. Проблема понимания сознания сознанием позволяет снять дуализм и перейти к логике монизма⁶. Именно в этом контексте получает смысл герменевтическая программа Дильтея, гораздо лучше, чем первоначальный проект его описательной психологии, отвечающая снятию эпистемологической проблематики в пользу модели познающей самое себя субстанции.

Чрезвычайно близкую логику мы находим и у Зиммеля. Подобно Дильтею, он видит себя продолжателем Канта, переформулируя применительно к истории знаменитый кантовский вопрос – «как возможна природа?» С этой точки зрения Зиммель подвергает анализу внутренние условия исторического познания, априорные структуры исторического разума⁷. История для Зиммеля –

¹ «Индивид живет, думает и действует в сфере общности, и он приходит к пониманию только в этой сфере. Все то, что понято, несет на себе печать того факта, что понято оно на основе общности... Только благодаря идее объективации жизни мы получаем понимание того, что есть историческое».

² «Науки о духе в качестве своего общего данного имеют объективацию жизни... Все то, в чём объективировался дух, составляет предмет наук о духе».

³ По Дильтею, объективный дух – «множество объективаций, эмпирически открываемых с помощью изучения истории». Объективный дух – термин Гегеля, у которого он обозначал этап развития духа, промежуточный между субъективным и абсолютным духом. Идеей объективного духа Дильтей увлекся, написав «Молодого Гегеля».

⁴ Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1988. – 699 с.

⁵ Априори, нареч. [от латин. а – от и ргіог – предшествующий] (филос.). Независимо от опыта, противоп. апостериори. Судить о чём-н. априори.

⁶ Гадамер справедливо подчеркивает конфликт между «эпистемологическим картезианством» (т. е. дуализмом) и историзацией субъекта у Дильтея. Гадамер здесь критикует Дильтея за недостаточно последовательную историзацию субъекта познания: историзация оставалась для Дильтея фактом индивидуального опыта, что не давало ему возможности преодолеть эпистемологическую проблематику и снять вопрос о способности индивида к объективности.

⁷ По словам Ф. Леже, Зиммель был «неокантианцем в той мере, в какой считал необходимым для современной

«конструкт, сырым материалом которого служит непосредственно данное. Но его форма зависит исключительно от условий нашего познания». Как и Дильтей, под субъектом познания Зиммель имеет в виду эмпирического субъекта: «Все представления о реальном являются функциями физико-психической организации». Условием познания исторической действительности у Зиммеля, как и у Дильтея, выступает способность разума к внутреннему пониманию его произведений. Однако в своей наиболее «кантианской» работе, «Философии денег», Зиммель не ограничивается представлением об естественно данной нам внятности собственной душевной жизни, но говорит (отчасти в русле своих предшествующих позитивистских настроений, отчасти под влиянием Ницше) о том, что процесс самонаблюдения предполагает способность занять по отношению к самому себе позицию трансцендентального наблюдателя, каковая способность является одной из априорных форм разума:

«У нашей души нет субстанционального единства, но лишь то, какое появляется в результате взаимодействия между субъектом и объектом, на которые она разделяется... Быть разумным существом именно и означает переживать внутренний раскол, превращая себя в объект своего собственного познания».

Следовательно, даже процесс самопознания предполагает для Зиммеля элементарный опыт другого и рефлексивное восстановление, как бы извне, собственной душевной жизни. Именно поэтому, по-видимому, Зиммель несколько больше других неокантианцев говорит о конкретных априори исторического познания. В разных работах он приводит несколько разные их списки. Первое априори истории, по Зиммелю, – это постулат о том, что сознание другого похоже на наше собственное, второе сводится к способности конструировать с помощью синтетического воображения личность другого на основании фрагментарных наблюдений как континуум, причем это априори «единства души» относится не только к индивидам, но и к группам. Именно так, из фрагментов, мы конструируем даже самих себя. Социологическим априори Зиммель называет несводимость человека к социальной составляющей, равно как и типизацию, интерес к общему в индивидуальном, предполагаемое нами соответствие «внутреннего индивида» и его роли¹.

Всё это позволяет Зиммелю по-новому поставить проблему континуума, который он, равно как и другие немецкие историки и философы истории, считает одной из базовых черт духовной и, следовательно, исторической жизни. Континуум у него оказывается не элементарной данностью духовной жизни, которая содержится в объекте исследования наук о духе, но формой

мысли использовать до конца возможности, открытые критицизмом с его "коперниковой революцией". Но если он постоянно ссылается на Канта, он постепенно всё же отдаляется от него и приходит к метафизике, весьма далекой от неокантианства в строгом смысле слова». Léger F. La pensée de Georg Simmel: Contribution à l'histoire des idées en Allemagne au début du XX siècle. Paris : KIME, 1989. P. 118, 16.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 235.

субъективного сознания, которому свойственно понимать как единство фрагментарные впечатления, как о внутреннем, так и о внешнем мире. Эта интерпретация континуума является одним из немногих безусловно конкретных наблюдений, сделанных критическими философами истории относительно структур исторического разума. Однако это важное наблюдение не было детально развито Зиммелем, и ничего более конкретного об априори исторического разума он не сказал. Более того, в одном из важнейших текстов Зиммеля содержится попытка вовсе отказаться от того дуалистического кадра, в котором было уместно задаваться вопросом о структурах исторического разума. Речь идет о знаменитой статье «Как возможно общество», где Зиммель подробно развивает мысль о том, что общество создается сознательными субъектами, которые вступают в опосредованные сознанием взаимодействия между собой, из чего заключает:

«В этих условиях (т. е. при наличии сознательных субъектов социальной жизни. – Н. К.) вопрос, как возможно общество, имеет совершенно другой методологический смысл, чем вопрос, как возможна природа. Ответом на второй вопрос являются формы познания, посредством которых субъект осуществляет синтез элементов "природы", ответом же на первый являются априорно содержащиеся в самих элементах условия, благодаря которым они (элементы. – Н. К.) фактически соединяются в синтезе "общества"... Функция осуществления синтетического единства, которая в случае с природой принадлежит созерцающему субъекту, в случае с обществом переходит к его собственным элементам (т. е. к субъектам социальной жизни. – Н. К.)»¹.

Обнаружение сознательности субъектов социальной жизни позволяет Зиммелю снять проблему структур познающего сознания, точнее говоря, перенести её в герменевтическую плоскость понимания сознания сознанием. Это означает, что конструктивистская гипотеза была в конечном итоге понята Зиммелем в том смысле, что социальные факты являются конструктами сознания субъектов социальной жизни. Следовательно, вопрошание о формах сознания исследователя, проецируемых на общество (или историю), лишается всякого смысла. Этот отрывок – наиболее ясный из известных нам текстов, где логика соскальзывания к герменевтике и отказа от эпистемологической проблематики, логика, основанная на идее сознательности субъектов истории, прямо вступает в противоречие с кантовским дуализмом. Но именно такой была логика и других критических философов истории².

Перейдём теперь к Генриху Риккертю. На его взглядах мы остановимся несколько подробнее, поскольку он был единственным логиком среди критических философов истории, и им с наибольшей полнотой разработана теория индивидуализирующих исторических понятий – пожалуй, наиболее заметный (во всяком случае, до появления нарративистских интерпретаций истории) вклад в изучение исторического мышления. В отличие от Дильтея,

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 236.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 236.

баденские неокантианцы стремились объяснить различия между историей и естествознанием особенностями не их предмета, но их методов. Такой подход имеет сильнейшую конструктивистскую интенцию: не методы наук определяются спецификой изучаемых ими объектов, но сами эти объекты по-разному конструируются науками в зависимости от специфики их методов. Развивая сформулированное Виндельбаном противопоставление номотетических и идиографических наук, Риккерт говорит о том, что в отличие от естественных наук, формулирующих законы природы в генерализирующих понятиях, исторические науки интересуются неповторимыми явлениями и конструируют свой предмет в индивидуализирующих понятиях¹. Если генерализирующие понятия образуются путем абстракции из массы «воззрений» (перцептов) общих ряду вещей или явлений черт, то индивидуализирующие понятия возникают путем вычленения из этой массы таких черт, которые имеют значение с точки зрения некоторых общепринятых ценностей (что позволяет отличать главное в истории от второстепенного). Противопоставление истории (под именем которой у Риккерта скрываются все науки, кроме естественных) и естествознания здесь определяется различием не их предметов, но именно их методов, однако само противопоставление двух «царств» сохраняется, пусть (хотя бы внешне) в перенесённом в область метода виде. Естественно, что конструктивистская гипотеза формулируется при этом с предельной недвусмысленностью:

«Эмпирическая действительность... становится природой, коль скоро мы рассматриваем её таким образом, что при этом имеется в виду общее; она становится историей, коль скоро мы рассматриваем её таким образом, что при этом имеется в виду частное»².

И природа, и история выступают у Риккерта как конструкты сознания. Это и неизбежно, поскольку эмпирическая действительность, с точки зрения Риккерта, иррациональна и как таковая недоступна пониманию. Прежде всего, бесконечно разнообразный, экстенсивно и интенсивно неисчерпаемый мир надлежит упростить, чтобы сделать его интеллигибельным для конечного человеческого разума³. Такое упрощение начинается уже в обыденной жизни, когда слова обыденного языка позволяют структурировать хаос эмпирически данного⁴. Дальнейшее упрощение и упорядочение осуществляют науки, однако разные науки осуществляют это по-разному, отбирая из бесконечной действительности релевантные для своих собственных целей элементы.

¹ «Фундаментальное различие между естествознанием и историей заключается в том, что первое образует понятия, имеющие общее содержание, а последняя – понятия, имеющие индивидуальное содержание» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 396).

² Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 225.

³ Там же. С. 80.

⁴ Порой Риккерт, совсем как феноменолог, подчеркивает укорененность науки в обыденном языке: «Прежде, чем наука приступает к своей работе, уже повсюду совершается своего рода произвольное образование понятий, и продукты этого донаучного образования понятий, а не свободную от понимания действительность, находит наука в начале своей работы... **Всякая научная работа не просто основывается на донаучных результатах, но и... может быть понята как планомерное развитие бессознательных начинаний**».

Ключевым вопросом, стало быть, является вопрос о принципах отбора. В этом вопросе у Риккерта и начинается беспорядок. Иногда – прежде всего в его наиболее читаемом тексте, «Науке о природе и науке о культуре» – он рассуждает так, как если бы речь шла об автоматическом преобразовании реальности в соответствии с формами разума, иными словами, о проекции форм разума на внешний мир:

«Именно сочетание гетерогенности и непрерывности придаёт реальности характерную черту иррациональности... Реальность... есть гетерогенная непрерывность, она не может быть познана как таковая с помощью понятий... "Только посредством понятийного разграничения различия и повторяемости реальность может стать рациональной... Мы преобразуем гетерогенную непрерывность... либо в гомогенную¹ непрерывность, либо в гетерогенную прерывность»².

В таком случае история и естествознание есть формы разума, элементарные характеристики которых уже содержатся в приведенной цитате. Гомогенная непрерывность выражается в общих понятиях, гетерогенная прерывность – в индивидуальных. Это – два параллельных, взаимодополняющих и исчерпывающих решения проблемы познания непознаваемой как таковая реальности. Здесь естественно было бы показать различия в структуре генерализирующих и индивидуализирующих понятий, но как раз это, как мы увидим, вызывает у Риккерта затруднения, и он пытается изменить внутреннюю логику схемы так, чтобы подменить вопрос о проецируемых на мир формах разума другим, по видимости похожим вопросом. Заметим, что для того, чтобы эта схема смотрелась убедительно, реальность должна характеризоваться как именно гетерогенный континуум. Характеристики реальности как просто неисчерпаемой недостаточно. Между тем, именно такая характеристика даётся реальности в основном философско-историческом сочинении Риккерта – «Границы естественнонаучного образования понятий», – И это создает основу для нарушения параллелизма его схемы.

Посмотрим теперь, как Риккерт представлял логическую структуру научных понятий. Что касается генерализирующих понятий, то, не говоря этого прямо, Риккерт представлял их в соответствии с логикой необходимых и достаточных условий. Понятия естественных наук производят упрощение эмпирической действительности, подводя экземпляры, которые принимаются за эквивалентные друг другу, под общее понятие. Поэтому они представляют мир атомистически³. В принципе естественнонаучные понятия продолжают логику обыденного языка, но отличаются от его слов большей

¹ Гомогенный [гр.] – однородный, обладающий одними и теми же свойствами, не обнаруживающий воспринимаемых глазом различий строения.

² Отсюда открывается путь к противопоставлению интереса к общему и интереса к индивидуальному как источников двух основных логических форм познания.

³ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 79–81.

определённостью значения. Слова обыденного языка слишком тесно связаны с человеческим опытом мира, следовательно, с воззрительным характером эмпирической действительности. **Функция научных понятий – преодоление воззрительного характера понятий обыденного языка. Такое преодоление достижимо с помощью превращения понятий в набор суждений, каждое из которых утверждает нечто лишь об одном аспекте понятия.** Это позволяет изолировать нужную науке часть значения слова, устранить воззрительное многообразие с «заднего плана» понятий, а в идеале и вообще избавиться от этого заднего плана. Понятие, таким образом, перестает быть нагромождением общих значений, перемешанных с воззрительными впечатлениями, оно становится ограниченной и артикулированной серией суждений, которые имеют вполне определенное содержание и допускают проверку на истинность. В тот же момент понятие перестает быть и «психологическим образованием» (каким является значение слова)¹.

Сфера психологии, иными словами, эмпирического мышления, покинута; Риккерт рассуждает теперь в нормативной сфере логики, которая, собственно, его и интересует. Понятия перестают быть репрезентациями, отрываются от опыта воззрительного мира, и самая идея вещи уступает место идее отношения. Научные понятия логически эквивалентны серии суждений, которые содержатся в них в нереализованном виде, причем в этих суждениях присутствует не имеющий характера представления акт утверждения или отрицания. Именно поэтому логическая форма понятий предполагает стремление к истине и, следовательно, допускает формулировку в них не просто эмпирически действительных, но абсолютно обязательных законов природы. Понятно, что эти рассуждения, звучащие до странности современно (вспомним пропозиционизм), связаны с принципом необходимых и достаточных условий как с основой формирования генерализирующих понятий.

Но такими понятиями не может удовлетвориться наш разум, которому свойственен интерес не только к общему, но и к индивидуальному. **Именно интерес к индивидуальному удовлетворяет историческая наука², которая, по Риккерту, оперирует индивидуализирующими понятиями. Такое утверждение шло вразрез с восходящей к Аристотелю традицией рассматривать понятия как по определению всеобщие. Эту традицию Риккерт эксплицитно отвергает.** Правда, исходные элементы любых понятий (т. е. отдельные значения слов обыденного языка), с его точки зрения, носят всеобщий характер, однако из них различные науки в зависимости от направленности своего логического интереса могут конструировать либо генерализирующие понятия (в пределе – законы), либо индивидуализирующие понятия, соединяя общие элементы таким образом, что под новообразованное понятие подводится лишь единственное историческое явление³. Речь, вероятно, идет о кластере коннотаций, связанных

¹ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 320.

² Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 222, 223.

³ «Последние элементы исторического понятия необходимо общи». «Элементы всех научных понятий являются общими, но лишь естествознание образует из них такие понятия, которые сами оказываются общими, между тем как история комбинирует их в понятия, имеющие индивидуальное содержание» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 335, 396).

с именем собственным и являющихся его значением¹. **Принципом единства такого понятия является, по Риккерт, отношение к ценностям**, ибо «лишь по отношению к ним индивидуальное может становиться существенным»². **Отношение к ценностям, таким образом, выступает в функции, аналогичной функции естественнонаучного закона, позволяющего выделить и связать вместе общие и существенные аспекты природных явлений**³.

Однако отношение к ценности и отношение к закону, формально, казалось бы, вполне параллельные, на самом деле существенно отличаются друг от друга. **Закон предполагает ясность логических отношений: говоря о том, как объекты подводятся под общее понятие**, Риккерт отсылает к хорошо известному логикам механизму. Структура категории, сформированной на основании принципа необходимых и достаточных условий, относительно понятна, и Риккерт может позволить себе лишь отослать к ней, не останавливаясь на этом вопросе подробнее. Напротив того, **как именно объекты подводятся под определённую ценность, совершенно не понятно, равно как не понятно и то, какой внутренней структурой обладает сформированная таким образом категория**⁴. Иными словами, понятие закона содержит в себе определённую логическую структуру категории, и это – категория, построенная в соответствии с принципом необходимых и достаточных условий, в то время как понятие ценности логической структуры категории в себе не содержит. Во всяком случае, эксплицировать таковую – дело Риккерта, и именно от этого дела он пытается уклониться с помощью фактического нарушения, при формальном сохранении, параллелизма своей схемы.

Центральным моментом в фактическом нарушении параллелизма оказывается характеристика реальности и взаимоотношений с ней понятий. Как мы помним, в «Науке о природе» реальность описывается как гетерогенная непрерывность. Напротив, в «Границах» она охарактеризована как бесконечно индивидуальная⁵. Индивидуальность эмпирически данного заменяет гетерогенную непрерывность. В чём же разница формулировок? В исчезновении непрерывности: теперь в реальности подчеркивается только гетерогенность. Но это означает, что **генерализирующие и индивидуализирующие понятия по-разному соотносятся с реальностью**. Равным образом, проходя через этап использования общих значений слов, исторические понятия затем возвращаются к индивидуальности. Если в естественнонаучных понятиях вместе с воззрительным устраняется и индивидуальное⁶, то исторические понятия как раз и воспроизводят

¹ В этом пункте Риккерт неожиданно близок к Фреге: «Собственные имена в историческом изложении могут играть роль лишь в качестве заместителей некоторого комплекса слов, имеющих общее значение, ибо лишь в таком случае изложение понятно для всякого, кто слышит или читает его» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 278). Близость эта, возможно, не случайна.

² Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 445.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 242.

⁴ Характерно, что такое понятие, как логическая структура категории, сводится Риккертом к «принципу единства» категории, т. е. вопрос о внутренней структуре категории для него в принципе не встаёт (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 373).

⁵ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 79–80.

⁶ «Устранение эмпирического воззрения есть в то же время устранение индивидуального характера данной

индивидуальный характер эмпирически данного.

История пускает в дело «род научной обработки, который находится в совершенно ином, так сказать, более близком отношении к эмпирической действительности, чем естествознание», так что «историческая репрезентация более похожа на отражение реальности, чем репрезентация, зависящая от естественных наук». Риккерт даже вынужден доказывать, что история всё же не отображает реальность, а конструирует её, причем наиболее очевидным аргументом здесь, естественно, оказывается идея выбора: историк воспроизводит не всю индивидуальную действительность, а только её часть. Именно здесь и обнаруживается, что асимметрическое отношение естествознания и истории к эмпирической действительности снимает необходимость анализа структур исторических понятий, который был бы неизбежным при сохранении симметрии. Исторические понятия, хотя и упрощают действительность, структурно повторяют её. Изучать структуры исторических понятий в таком случае означает просто описывать в них действительность¹. Поскольку же Риккерт, конечно, не расположен подробно обсуждать структуры действительности, в его работе не остается места и для структур исторических понятий. Если анализ Риккертом генерализирующих понятий заставляет вспомнить современных когнитивистов, то его подход к историческим понятиям напоминает теорию прототипа. Если Рош и Лакофф ссылкой на сходство прототипических категорий с «естественными» категориями реального мира избавляли себя от вопроса о психологическом генезисе прототипических категорий, то Риккерт мысль об изоморфности² исторических понятий с эмпирической действительностью позволяет обойти вопрос об их логической структуре.

Между тем, у Риккерта есть несколько наблюдений, которые при надлежащем развитии могли бы быть полезны для понимания умственной работы историка. Это, во-первых, заимствованное у Б. Эрдмана представление о сохранении в понятии, наряду с находящимися на его переднем плане общими элементами, заднего плана (Hintergrund), состоящего из воззрений. Конечно, Риккерт относит эту характеристику только к начальному этапу образования понятий, иными словами, – к понятиям как психологическим образованиям, совпадающим со значениями слов обыденного языка, в то время как настоящие научные понятия преодолевают этот конфликт. Как мы видели выше, такое преодоление, во всяком случае, в исторических понятиях, отнюдь не осуществлено, и наблюдение Эрдмана могло бы дать Риккертю исходный пункт для анализа мышления историков – если бы это последнее его интересовало. Однако интересовало Риккерта совершенно другое – идеальная модель исторического познания, и характерный для неокантианской

действительности». Поэтому чем совершеннее естественнонаучное понятие, тем в большей степени из него устранено воззрение и тем в большей мере, следовательно, оно противоречит действительности. К действительности же «нас приближает... лишь непосредственная жизнь, но ни в каком случае не естествознание». Именно поэтому индивидуальный характер действительности полагает «предел» естествознанию (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 209, 213-214).

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 243

² Изоморфный [изо... + гр. форма] — сходный по форме.

эпистемологии отрыв от психологии вёл к пренебрежению свойствами понятий как «психологических образований»¹.

По этой же причине Риккерт не довёл до конца анализ того типа исторических понятий, который он называет групповыми или коллективными понятиями (Gruppenbegriffe, Kollektivbegriffe) и которые представляют для нас особый интерес. Риккерт обращается к их анализу в связи с предполагаемыми им возражениями против его теории. Не может ли быть, что при образовании исторических понятий, обозначающих коллективных героев истории посредством подведения физических индивидов под общую ценность, индивиды фактически подводятся под общее понятие, точно так же, как в естествознании? Риккерт и здесь занимает двойственную позицию. С одной стороны, он не отрицает, что такой эффект может иметь место, и в связи с этим говорит о «несовершенных» или «относительно исторических» понятиях, включающих «общие элементы» (т. е. элементы общих понятий), хотя главная их задача – выразить индивидуальную историческую связь, в которую входили все эти индивиды². Используя подобные понятия, историк остается историком, т. е. не перестает интересоваться индивидуальным, поскольку «коллективное всегда принимается историей во внимание лишь как однократная индивидуальная действительность»³. Иными словами, такие несовершенные исторические понятия – вполне нормальное явление, возникающее в результате группировки физических индивидов в индивидуализирующие макроисторические понятия. Порой Риккерт рассуждает о них, если можно так выразиться, вполне лояльно:

«В силу частого соединения содержательных элементов понятий, созданных частично способом генерализации, частично историческим соотношением с ценностью, один и тот же исследователь работает, следуя одновременно историческому методу и методу естественных наук»⁴.

Здесь было бы уместно задаться вопросом о принципах подобной группировки, и, как мы увидим, в одном месте Риккерт близко подходит к этому вопросу. Но с «лояльным» отношением к несовершенным историческим понятиям у него соседствуют высказывания о том, что рассматривать

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 243.

² «Общие групповые понятия истории, хотя и содержат только общее некоторому множеству объектов, все же не являются общими понятиями в том смысле, в котором их создает систематизирующая и генерализирующая наука» (Rickert H. Die Probleme der Geschichtsphilosophie, S. 33). «В случае... когда история объединяет некоторую группу индивидуумов таким образом, что каждый единичный индивидуум принимается за имеющий одинаковое значение, она образует общие по содержанию понятия, но и в этом случае она не применяет естественнонаучного метода, так как эти относительно исторические понятия не имеют целью выражать общую "природу" подводимых под них объектов, но их содержание должно выражать историческую индивидуальность некоторой группы объектов» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 397). В другом месте он говорит: «Лишь части исторического понятия могут быть подведены под относительно исторические понятия» (Там же. С. 382) – но ведь могут, и позволительно задаться вопросом о последствиях соединения разнородных частей в одном понятии. Но Риккерт этого не делает, ибо для него главное – показать, что эти части носят подчиненный характер, а не проанализировать их влияние на историческое понятие в целом.

³ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 314.

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 244.

коллективные исторические понятия как общие значит совершать элементарную логическую ошибку – смешение объёма и содержания понятия или «смешение конкретного рода с общим родовым понятием»¹. Вот в чём, по Риккерт, состоит эта ошибка:

«Раз какой-либо исторический индивидуум как часть рода получает общее родовое имя, кажется, что благодаря этому он оказывается уже и подчинённым общему родовому понятию, следовательно, естественнонаучно понятием. Однако... слово "род" означает не только естественнонаучное понятие, но и конкретное множество индивидуумов, и из того, что что-либо есть часть конкретного рода, не вытекает ещё, чтобы его можно было рассматривать лишь как экземпляр родового понятия»².

Коллективные исторические персонажи столь же индивидуальны, как физические индивиды. Хотя эти персонажи фактически «больше» отдельных индивидов, логически они не более общи, поскольку составляющие их индивиды – члены общности, но не экземпляры рода³. Иными словами, генерализирующий элемент в коллективных исторических понятиях теперь совершенно отрицается:

«Общая историческая связь есть объемлющее «целое», и единичные индивиды суть его части. Напротив того, общее в смысле естествознания всегда есть некоторое понятие с общим содержанием, к которому отдельные индивидуумы относятся как экземпляры»⁴.

Здесь возникает вопрос: у естественнонаучных понятий есть и референция⁵, и значение, но имеются ли они у исторических? Из формулы «смешение конкретного рода с родовым понятием», видимо, следует, что у исторических понятий нет вообще никакого значения. В этом же смысле можно понять и высказывание Риккерта о том, что единство составных частей исторического понятия не основывается на том, что «в элементах понятия (т. е. отдельных коннотациях) заключается общее множеству индивидов»⁶, – а о какой-либо иной форме значения Риккерт ничего не говорит. С другой стороны, он все-таки предполагает, что «душа немецкого народа (а это – его парадигматическое историческое понятие) что-то означает для историка», из чего следует, что значение у исторических понятий все-таки есть.

Для Риккерта вопрос, вероятно, разрешался благодаря следующему рассуждению:

¹ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 313, 332.

² Там же. С. 313.

³ «Макьявелли и Новалис никогда не суть экземпляры, но всегда – члены» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 313).

⁴ Там же. С. 312.

⁵ Референция, референции, ж. [фр. référence]. 1. отношение языкового знака к чему-либо вне себя, к реальной или воображаемой действительности. 2. Рекомендация, отзыв о ком-, чем-н. (офиц., спец.).

⁶ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 280.

«Такие слова, как греческое или немецкое, представляют собой в истории не наименования для родовых понятий, содержащих в себе общее всем грекам или немцам... Фактическое содержание... понятий о народах, периодах, эпохах культуры состоит... из того, что оказывается лишь у сравнительно небольшого числа единичных индивидуумов»¹.

Здесь можно было бы подумать, что Риккерт склоняется к логике прототипа, и некоторые немцы для него больше немцы, чем другие:

«Можно ли подвести такого человека, как Лютер, как всего лишь экземпляр рода, под историческое понятие немца? ... Что же мы имеем в виду, когда мы называем Лютера истым немцем?»².

Однако путь рассуждений Риккерта мог бы привести его к теории прототипа (основы которой, как мы знаем, сформулировали английские логики первой половины XIX в., что не могло остаться неизвестным такому читателю Милля, как Риккерт), если бы его интересовали исторические понятия в их классификационной функции. Но, с точки зрения Риккерта, классификационная функция для любых понятий – подчинённая³, а для исторических вообще не имеет особого смысла, поскольку историческое мышление по природе своей не атомистично («индивидуалистический метод... исключает всякое атомизирование исторических объектов», и «лишь для естественнонаучного понимания человеческое общество обращается в комплекс одинаковых друг с другом, стало быть, подобных атомам существ»)⁴. Именно в силу отсутствия интереса к классификации у Риккерта возможна необъяснимая в иных условиях ошибка – смешение имен собственных и коллективных: «Итальянское возрождение настолько же есть исторический индивидуум, как Макьявелли, романтическая школа – настолько же, как Новалис», – говорит он в контексте вопроса о том, не являются ли итальянское возрождение и романтическая школа родовыми понятиями. Но как можно считать, что логическая природа понятий, обозначаемых соответственно именами собственными и индивидуальными собирательными именами, одинакова? Ответ даёт следующее рассуждение Риккерта:

«Мы привыкли рассматривать известные особенности, принадлежащие индивидууму Лютеру..., как немецкие вообще..., поскольку эти своеобразные черты вошли для нас в идеальное понятие о немце вообще. Впоследствии это

¹ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 367 – 368.

² Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 368 – 369.

³ «Чистая классификация (eine blosse classification) всегда произвольна. Необходимую классификацию всегда можно установить, лишь принимая в соображение теорию» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 102– 103). Подчеркнём различие между той ролью теории в классификации, о которой говорили мы, и той, какую представляет себе Риккерт. Для нас элементы теории неизбежно присутствуют в любой классификации, для Риккерта – должны присутствовать в необходимой (т. е. научно обоснованной).

⁴ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 320.

историческое понятие становилось все богаче и богаче благодаря другим индивидуумам, как, например, благодаря Гёте и затем благодаря Бисмарку... Итак, если общая душа немецкого народа вообще означает что-либо для историка, она есть отнюдь не общее родовое понятие, но индивидуальный процесс развития».

Здесь любой критик, не разделяющий того, что Г. Г. Иггерс называет «немецкой идеей истории», вправе, по-видимому, обратиться Риккерт к такой же упрёк, какой сам Риккерт (и другие неокантианцы) обращал Аристотелю, а именно, упрёк в том, что его логика фактически описывала его метафизику. Именно не разлагаемые на атомы сверхиндивидуальные сущности были — наряду с великими людьми, обычно выражавшими дух этих сущностей, — основными персонажами немецкой историографии XIX в. Тот аспект формирования коллективных исторических персонажей, который был связан с классификацией физических индивидов (и с которым, как мы видели, столкнулась вышедшая из позитивистской традиции французская социальная история), совершенно не занимал места во вселенной немецкого историзма. Самые принципы организации этой вселенной исключали внимание к классификации¹.

Соответственно и обращение к проблематике классификации было чревато опасными для системы взглядов последствиями: проникновением элементов логического атомизма в мир понятийно схватываемых духовных субстанций. Характерно, что именно посредине размышлений о душе немецкого народа Риккерт произносит фразу:

«Однако нас не интересует более обстоятельное рассмотрение логической структуры этих частью чрезвычайно сложных исторических понятий»².

Цель Риккерта — лишь показать, что исторические понятия отличны от понятий естествознания, а ещё точнее — показать роль отнесения к ценностям при образовании исторических понятий. Именно поэтому он держится за схему, позволявшую сосредоточить внимание на вопросе о том, что является руководящим принципом в отборе исторического материала. Благодаря нарушению параллелизма на этой схеме в эквивалентном положении оказываются логический механизм абстракции и отношение к ценностям. Если бы у отнесения к ценностям был параллельный абстракции логический механизм, позволявший в силу такой же автоматической неизбежности, как генерализация, формировать индивидуализирующие понятия, то в схеме не оставалось бы места отнесению к ценностям. Между тем, именно ради отнесения к ценностям сконструирована вся система. Поэтому и природа из иррациональной (и в принципе безразличной к любым способам человеческого освоения) вдруг становится индивидуальной, т. е. совпадающей с тем

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 247.

² Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 368.

принципом организации, который иначе надо было бы объяснять.

Обосновать принцип отнесения к ценностям – главная забота Риккерта¹.

Эту часть его взглядов мы можем рассмотреть более бегло, нам достаточно просто проследить, куда, отвернувшись от логического анализа, устремляется его мысль. Центральным моментом здесь для Риккерта было обоснование объективности отнесения к ценностям, и он неоднократно подчеркивал, что если история хочет считаться столь же научной, как и естествознание, то ценности, которые служат ей руководящим принципом конструирования исторических фактов, должны быть столь же объективны, как законы естественных наук. Но как можно было помыслить абсолютную значимость ценностей, носящих транскультурный, необходимый характер? В конечном итоге и здесь **мы сталкиваемся со старой дилеммой немецкого историзма, который претендовал на объективность исторической науки, настаивая в то же самое время на сугубой индивидуальности исторических явлений и периодов.²**

Как мы знаем, эта дилемма долго оставалась незамеченной благодаря невысказанной пантеистической установке немецкого историзма, уверенности в присутствии духа в мире, и как раз в конце XIX в. проблема объективности стала нуждаться в новом обосновании. Теория отнесения к ценностям Риккерта была задумана как преодоление дилеммы, но это было возможным только в той мере, в какой на смену размытому пантеизму была поставлена уверенность в объективном существовании ценностей. Иными словами, Риккерт приходит к очень похожей на Зиммеля и Дильтея фигуре мысли: **речь идёт о некотором домене абсолютно значимых ценностей, которые представлены одновременно и в сознании историка, и в историческом материале³, что, собственно, и является априорным условием исторического познания. Этот домен ценностей Риккерт называл культурой. Именно к нему относятся ценности сверхиндивидуального научного субъекта познания – «гносеологического субъекта»⁴, в отличие от эмпирического субъекта, погруженного в мир исследователя. В исторических понятиях характер психических образований снимается так же, как и в естественнонаучных, причём снимается именно за счёт отнесения к общезначимым ценностям, поскольку «не единство реальной психической жизни, но единство смысловой структуры играет решающую роль» при их образовании. Именно культура, давая шкалу значимости исторических явлений, позволяет производить объективный отбор:**

«Общность культурных ценностей устраняет индивидуальный произвол

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 248.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 249.

³ Риккерт подчеркивает, что эти ценности могут быть различными и что в таком случае историку предстоит вживаться в ценности изучаемой эпохи, причем его труд будет тем объективнее, чем больше он в этом преуспеет. Однако возможность вживания, естественно, связывается с существованием ядра общекультурных ценностей. «"Объективное" научное изложение всегда должно заимствовать те ценности, которыми руководится образование понятий, из самого исторического материала» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 419, 420, 461).

⁴ Гносеологический субъект, в отличие от физического и психофизического, сверхиндивидуален, поэтому «гносеологический субъективизм... не должен упразднить... объективность» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 175, 481, 486).

образования исторических понятий и является основанием его объективности»

Культура в науках о культуре познаёт, следовательно, самое себя (как у Дильтея «жизнь познает жизнь»)¹. При этом культурой Риккерт называет то, что, по его собственным словам, во времена Гегеля именовалось духом². Именно здесь Риккерт приходится провести сближение формального и предметного понятий истории, т. е. подчеркнуть, что история не просто основана на априорной способности сознания к индивидуализации (за счет отнесения к ценностям), но что это стремление она разделяет со своим предметом, ибо самая суть культуры состоит в восприятии мира с точки зрения ценностей. Именно из опыта (в данном случае, понятно, из опыта культуры) историк может черпать свои «руководящие точки знания» – ибо, в отличие от естествоиспытателя, историк имеет дело с действительностью³. В этом смысле объективность истории есть как бы часть объективности культуры: если культура в достаточной мере связывает свои ценности с абсолютными, то историческое познание объективно. Поэтому Риккерт от логики истории переходит к философии (читай: метафизике) истории, и последнюю часть «Границ» посвящает вопросу об обязательности ценностей. Не случайно Риккерт характеризовал себя, прежде всего как философа ценностей. Его путь здесь ведет от признания прагматических предпосылок любого теоретического интереса (тезис о том, что «всякому акту познания логически предшествует воля»⁴, открывает путь к интерпретации эмпирически объективных ценностей как ориентирующихся на абсолютные) и, следовательно, примата практического разума, к представлению об истории как реализации нравственного долга интересоваться индивидуальным, долга, являющегося основой культурной жизни⁵. Путь через логику истории – достаточно долгий путь к категорическому императиву, но всё же именно таков путь Риккерта⁶.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 250.

² У Гегеля «дх означал то, что мы теперь называем культурой». «Дух народа для нас есть культура народа» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 430, 431). Это словоупотребление Риккерт противопоставляет современному ему сведению духа к психике. О тесной связи между культурой и историей, позволявшей Риккерт говорить то о науках о культуре, то об исторических науках, см.: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 428. «Понятие культуры доставляет образованию исторических понятий принцип отбора существенного». «Единство и объективность наук о культуре определяются единством и объективностью нашего понятия культуры». Характерно и то, что слово «социальное» Риккерт также употребляет как приблизительно синонимичное (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 424–426).

³ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 462.

⁴ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 501.

⁵ «Индивидуальность... требуется от человека... Те формы, в которых история рассматривает действительность, т. е. формы индивидуума..., должны быть в то же время и фундаментальными этическими нормами». «Всякая культурная жизнь в своей индивидуальности имеет необходимое отношение к абсолютным ценностям» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 497, 499, 505, 512). Но не будем заблуждаться: если Риккерт подчеркивает **примат практического разума над теоретическим**, невозможность оторвать познающего субъекта от других проявлений человека, то речь у него идет не столько об интересе к реальному субъекту познания, сколько о легитимизации моральной философии.

⁶ «История нуждается в сверхэмпирическом элементе (т. е. в идее ценности. – Н. К.) для того, чтобы формы её понимания... не оказывались по научному значению ниже тех форм, в которых нуждается естествознание (речь идет об идее закона. – Н. К.)» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. С. 466). Таким образом, тем, кто желает объективности науки, предлагается верить в наличие абсолютных ценностей, в частности, в ценность индивидуальности.

Индивидуализирующие понятия Риккерта имели мало отношения к логике или к эпистемологии, но гораздо больше – к метафизике¹.

Конечно, фраза Риккерта о том, что ценности не существуют, но значат, не спасала положения дел. По-видимому, правы те исследователи его творчества, которые подчеркивают тесную связь мысли Риккерта с философией ценностей Германа Лотце и с неосхоластикой XIX в. Генрих Леви имел все основания записать Риккерта в число деятелей гегелевского возрождения.

Весьма близкие взгляды на природу исторического познания развивал и Макс Вебер, считавший себя в этом вопросе последователем Риккерта. Как и Риккерт, он подчеркивал, что «познание бесконечной действительности конечным человеческим разумом» возможно только благодаря вычленению её существенных аспектов, которое в науках о природе достигается с помощью выражающих законы родовых понятий, а в науках о культуре – с помощью отнесения к ценностям, позволяющим выделять значимые для нас индивидуальные явления из «хаотичного потока событий, проносащегося сквозь время». Именно культура, охватывающая, по Веберу, «те составные части действительности, которые посредством отнесения к ценностям становятся значимыми для нас», даёт нам те «односторонние точки зрения», в соответствии с которыми мы выбираем объекты исследования. Именно поэтому «трансцендентальная предпосылка всякой науки о культуре состоит... в том, что мы сами являемся людьми культуры (Kulturmenschen)». Правда, в отличие от Риккерта, Вебер не говорил об абсолютной значимости ценностей, пытаясь решить проблему объективности познания скорее на пути разграничения того, что позднее было названо контекстом открытия и контекстом верификации².

По ходу этих рассуждений Вебер задаётся и вопросом о логической структуре исторических понятий, которые, по его мнению, совершенно отличны от понятий естественных наук. Вебер так переформулирует этот вопрос: «Каково значение теории и теоретического образования понятий для познания культурной действительности?» Иными словами, речь идёт о месте родовых понятий в интеллектуальной инструментариистике историка. Поскольку науки о культуре суть науки об индивидуальной действительности, родовые понятия могут использоваться в них лишь как инструменты познания индивидуального. Как и Риккерт, Вебер готов допустить нечто вроде кластерного понятия («индивидуальной констелляции³» выражающих каузальные связи родовых понятий). Однако он не останавливается на этом,

¹ С этой точки зрения не случайна та легкость, с какой Трельч положил в основу своей исторической теории очень близкое риккертовой идее индивидуализирующего понятия понятие индивидуальной тотальности, эксплицитно отрицая при этом возможность логического разграничения наук о природе и наук о духе. Индивидуальные тотальности, по Трельчу, – это не проецируемые на исторический мир формы разума, но формы самого исторического мира. В сущности, именно в таком понимании нуждался и сам Риккерт, который, однако, лишь гораздо более опосредованно мог позволить себе основывать свою теорию исторического познания на метафизическом тезисе об устройстве мира (Трельч Э. Историзм и его проблемы: Логическая проблема философии истории. М: Юрист, 1994. С. 29-57).

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 253.

³ Констелляция [тэ], констелляции, ж. [латин. constellatio] (книжн.). Взаимное расположение небесных светил (астр.) // перен. Стечение обстоятельств. Благоприятная констелляция (выражение по своему происхождению — астрологическое).

предлагая теорию идеального типа.

Обычно идеальный тип понимают с акцентом на слове «идеальный», как бы считая слово «тип» само собой понятным. В таком случае и говорят об «исследовательских утопиях», о том, что идеальные типы – это просто модели, которые не существуют в реальности, но которые создаются исследователем для того, чтобы эту реальность рационально понять. Но уместно задаться вопросом, отличаются ли хотя бы чем-то идеальные типы от других понятий с логической стороны – ведь едва ли не любое понятие подходит под такое описание. Напротив, некоторые авторы, например, Томас Бургер, интерпретировали теорию идеальных типов как попытку развить идею индивидуализирующих понятий, иными словами, как ответ на тот вопрос, который так и не задал себе Риккерт, но который следовал из его теории, вопрос о различиях форм обобщения, подлежащих соответственно индивидуализирующим и генерализирующим понятиям. По сути дела Бургер приписывает Веберу попытку создать неаристотелевскую логику и отказаться от принципа необходимых и достаточных условий членства в категории. Вебер, действительно, отрицает пригодность этого принципа для образования идеальных типов: «"Определение" синтетического понятия в историческом мышлении по схеме *genus proximus, differentia specifica* есть, конечно, нонсенс». Идеальные типы создаются посредством «мысленного преувеличения определённых элементов действительности¹». Конечно, утопический характер идеальных типов здесь очевиден, но, видимо, Вебер также имел в виду, что такие понятия позволяют иначе группировать исторические факты – «охватить исторические индивидуумы или их отдельные составные части генетическими понятиями». Вдумаемся в следующие строки Вебера:

«Оно (понятие городского хозяйства. – Н. К.) получается благодаря одностороннему преувеличению одной или нескольких точек зрения и благодаря соединению во внутренне целостный мыслительный образ черт, встречающихся диффузно² и дискретно³, иногда в большей, иногда же в меньшей степени (а иногда и вовсе отсутствующих) у множества единичных явлений, черт, соответствующих этим односторонне выделенным точкам зрения... Естественно, те родовые понятия, которые мы постоянно встречаем в качестве составных частей исторических изложений и конкретных исторических понятий, также могут быть посредством абстракции и усиления, определённых понятийно существенных для них черт превращены в идеальные типы... Каждый индивидуальный идеальный тип складывается из родовых понятийных элементов, преобразованных в идеальные типы⁴».

Иными словами, если у Риккерта исторические понятия суть

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 254.

² Диффузный [лат.] – физ. рассеянный (о свете)

³ Дискретный [лат. *discretus*] – прерывистый; состоящий из отдельных частей; мат. раздельный; прерывный; дискретные величины – такие величины, отдельные значения которых отделены друг от друга конечными промежутками

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 254.

конstellации родовых понятий¹, позволяющие благодаря уникальному сочетанию этих последних схватывать индивидуальные явления, то Вебер, вполне принимающий, как мы видели, эту логику, усложняет её, показывая трансформацию родовых элементов в логически отличные образования. Конечно, противопоставление идеального типа родовому понятию происходит здесь, прежде всего на уровне коннотаций: усиливаются те из них, которые позволяют показать внутреннее единство культурного явления и вместе с тем исходят из точек зрения ценности, а не те, которые служат целям классификации². Но усиление некоторых коннотаций имеет последствия и для структуры образованных таким образом категорий: Вебер произносит здесь ключевое слово «степень». Уместно предположить, что к идеальным типам, как и к прототипическим категориям, можно принадлежать в той или иной степени – что невозможно для аристотелевских категорий. Иными словами, включенные в идеально-типическое понятие черты лишь типичны (причем не статистически, а именно культурно), но не обязательны для членов обозначаемой соответствующим понятием категории. Вместе с самим словом «тип» это позволяет предполагать у Вебера тенденцию к логике прототипа³. Однако такая тенденция осталась лишь намеченной в его теоретических статьях и прошла мимо внимания большинства исследователей его творчества⁴.

Итак, немецкие критические философы истории, теоретически исходя из

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 254.

² «Чем больше мы имеем дело с простой классификацией событий..., тем больше мы имеем дело с родовыми понятиями, чем больше, напротив, понятийно оформляются сложные исторические взаимосвязи тех составных частей событий, на которых покоится их специфическое культурное значение, тем больше понятие – или понятийная система – принимают характер идеального типа».

³ Слово «тип», сегодня от частого употребления банализированное, для Вебера, вполне вероятно, ассоциировалось с ныне забытыми спорами английских логиков первой половины XIX в. (таких, как Д. Стюарт, У. Уивел и Дж. С. Милль) спорами, в которых оно отсылало к классу, сформированному не на основе необходимых и достаточных условий, но с помощью транзитивного словоупотребления (см. выше, гл. 2). Вебер должен был знать об этих дебатах, поскольку Милль был одним из «пожизненных современников» Вебера.

⁴ Зиммель также писал о наличии особых понятий, средних между генерализирующими и индивидуализирующими и позволяющими понимать и обозначать индивидуальные явления. Можно указать еще на двух авторов, мысль которых развивалась в близком направлении. Это, прежде всего, Кассирер, который обращается к типологии научных понятий в «Логике гуманитарных наук» и выделяет особый тип понятий (понятия формы и стиля), которые связаны, с его точки зрения, прежде всего с работой эстетической интуиции (и поэтому применяются главным образом в истории искусства). Как пример он приводит буркхардовское понятие «человек Возрождения», которое, конечно же, невозможно определить в терминах необходимых и достаточных условий. Правда, с этого момента рассуждения Кассирера развиваются уже не в направлении логики прототипа: он говорит не о том, что между деятелями Возрождения существовало «семейное сходство», но скорее о том, что они все вместе составляли то, что можно охарактеризовать как человека Возрождения, внося каждый какую-либо новую черту в этот коллективный портрет. Конечно, это рассуждение (чрезвычайно напоминающее Риккерта) несложно перевести в логику прототипа, но сам Кассирер не делает этого, что характерным образом показывает «брошенность на полпути» его логического анализа исторических понятий. Еще один важный здесь для нас автор – Жан-Клод Пассерон, который, уже, будучи в курсе современных дебатов о логике прототипа, также склонен связывать с ней теорию идеального типа. Пассерон, однако, делает еще одно важное замечание, которое тоже идет в развитие мысли Вебера, а именно, что имена нарицательные (выражающие общие понятия) в дискурсе социальных наук всегда остаются несовершенными нарицательными именами, иными словами, сохраняют связь с конкретными историческими контекстами, в которых они обозначают уникальные культурные явления (Passeron J.-C. *La raisonement sociologique: L'espace non-popperien du raisonement naturel*. Paris: Natan, 1991. P. 60–61). Данное наблюдение представляется чрезвычайно важным, поскольку оно реально открывает путь к пониманию тесной взаимосвязи разных способов образования понятий в нашем мышлении, и наш анализ логических структур используемых историками социальных категорий подтверждает это.

конструктивистской гипотезы, сказали мало конкретного о формах разума, проецируемых на историю, и, более того, не создали теоретических условий для начала эмпирической разработки этой темы. Главной причиной этого было стремление обосновать объективность исторического познания, а главным способом ухода от изучения конкретных форм исторического разума – отказ от дуалистического кадра и соскальзывание к монизму, иными словами, отказ от критической философии истории в пользу исторической науки о культуре. Дальнейшее развитие философии истории в Германии не случайно пошло по пути герменевтики и более радикального преодоления дуализма, когда даже по-кантиански звучащая проблематика оказывается изгнанной, ибо уже в самом неокантианстве вполне заложен такой поворот событий. **Радикальная историзация человеческого бытия выступает у Хайдеггера как способ снятия субъектно-объектной дихотомии**¹. Выводы из этого для философии истории делает Гадамер²:

«Подлинное историческое мышление должно учитывать свою собственную историчность. Только тогда оно перестанет гоняться за фантомом исторического объекта, являющегося объектом постепенного познания, но научится рассматривать его как дополнение к себе самому, а отсюда и научится понимать и то, и другое. **Подлинно исторический объект вообще не является объектом, но единством объекта и субъекта,** отношением, в котором существуют как реальность истории, так и реальность исторического понимания»³.

При таком подходе полностью выносятся за скобки эпистемологическая проблематика, рассматриваемая как скандал философии, но при этом **совершенно не учитывается, что дуалистическая установка есть одна из свойственных разуму форм полагания мира.**

Итак, практически всё, что немецкие критические философы истории сказали конкретного об априори исторического разума, – это теория индивидуализирующих понятий Риккерта–Вебера и идея Зиммеля о континууме как форме разума, позволяющей связывать воедино разрозненные впечатления. По сравнению с теми усилиями, которые были затрачены для обоснования конструктивистской гипотезы, это, конечно, не очень много. Аналогичным образом обстояли дела и за пределами Германии. С этой точки зрения характерны примеры основателей соответственно французской и итальянской традиций социальных наук – Эмиля Дюркгейма и Бенедетто Кроче.

Несмотря на основательное знакомство многих французских историков и социологов конца XIX – начала XX вв. с немецкой мыслью, в том числе и с неокантианством, «немецкая идея истории», от которой так зависела

¹ Дихотомия, дихотомии, ж. [греч. dichotomia — расщепление надвое] (книжн. науч.). Последовательное деление на два. // Разветвление ствола на две ветви, каждой ветви опять на две и т. д. (бот.).

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 256.

³ Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1988. – 699 с.

критическая философия истории в Германии, естественно, не могла быть воспринята во Франции. Французская интеллектуальная традиция в это время определялась прежде всего влиянием позитивизма и универсализма, против которых как раз и был направлен критический пафос немецкого историзма. С Дюркгеймом мы попадаем в другой мир, однако странным образом часть механизмов, определявших логику рассуждений критических философов истории, в этом мире продолжает работать.

Тому было несколько причин¹. Во-первых, сказывалась профессиональная культура Дюркгейма и его учеников, которые в большинстве своем получили философское образование. Дело не просто в том, что французская философия XIX в., пусть в своеобразной форме, освоила наследие немецкого идеализма, но и в том, что проект дюркгеймовской социологии являлся, как мы уже подчеркивали, прежде всего, философским проектом. Иными словами, социология как «новая точка зрения на природу человека» была ответом на вопросы, которые диктовались логикой философского вопрошания, но на которые, как считалось, философия не смогла дать адекватных ответов. В этом смысле социология во Франции играла отчасти ту же роль, что история в Германии: она служила обоснованию новой теории познания. Отсюда их сходство, несмотря на все различия национальных интеллектуальных традиций.

Вторая причина сходства размышлений Дюркгейма и немецких критических философов истории связана с общим для них влиянием Канта. Если фундаментальное значение критицизма для формирования немецкой «науки о культуре» является общеизвестным фактом, применительно к французской «социальной науке» оно гораздо менее исследовано. Но и во Франции в конце XIX в. неокантианство играло в интеллектуальной жизни весьма заметную роль. Правда, критическая философия выступала здесь далеко не в чистом виде, но и немецкое неокантианство было, как мы видели, весьма гетерогенным движением, в котором критика разума весьма причудливо соединялась с позитивизмом, философией ценностей, неогегельянством, герменевтикой и философией жизни, причём далеко не в каждом таком соединении её роль была ведущей. Подобным же образом во Франции влияние Канта совмещалось с другими интеллектуальными ориентациями, например, со спиритуализмом и позитивизмом. Сотрудник Дюркгейма Селестен Бутле был прав, говоря об учителе: «Дюркгеймианство остаётся кантианством, исправленным и дополненным в свете контианства»².

Впрочем, союз критической философии с позитивизмом, странный на первый взгляд, не был вовсе алогичным. Идея трансцендентального эго вполне совместима с идеалом науки и была важнейшим элементом её обоснования. Это стало, по-видимому, важной составляющей успеха Канта в университетской философии второй половины XIX в. И всё же в альянсе кантианства и позитивизма был заложен внутренний конфликт, отчасти вызывавший плодотворное напряжение мысли, отчасти чреватый

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 258.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 259.

перверзивными¹ реакциями.

Интерес Дюркгейма – достаточно, впрочем, критический – к немецкой интеллектуальной традиции хорошо известен. Но и во Франции эта традиция мысли, в которой воспитывался Дюркгейм, была пропитана кантианством. Речь идет прежде всего о неокритицизме Шарля Ренувье, лидера французских неокантианцев и в определенной мере предшественника Дюркгейма в неформальной роли главного идеолога Третьей республики. Критическая философия была, таким образом, важнейшим элементом интеллектуального багажа Дюркгейма. Очевидно, что центральность для Дюркгейма проблем морали и его постоянное возвращение к проблеме категорий можно связать с кантианской традицией. Безусловно, Кантом вдохновлялся и конструктивизм Дюркгейма.

Наконец, третьим элементом сходства немецкого и французского «интеллектуального контекста» были общие черты религиозной эволюции. Дюркгейм видел в религии, и в особенности в клерикализме, своего едва ли не главного врага, но для него самого религиозная проблематика играла капитальную роль. Речь идет не только об интересе Дюркгейма к проблемам морали и религии, но и о важнейшем для всего его творчества убеждении в определяющей роли сознания в жизни человека, убеждении, порой заставляющем вспомнить гетевское представление об одухотворенности всего сущего. Это убеждение питалось присущим интеллектуалам XIX в., независимо от их вероисповедания, неопределенным гуманистическим теизмом. Мы уже подчеркивали роль религиозного фона для немецкого историзма и критической философии истории. Но, возможно, прав Эванс-Причард, отмечавший и у Дюркгейма, при всем его воинственном атеизме, влияние аналогичного умонастроения². Именно в этом контексте приобретает смысл идея социального как превосходящей индивида духовной субстанции. Поэтому даже позитивизм, оказавший огромное влияние на мысль Дюркгейма, перетолковывался у него достаточно специфическим образом: это был позитивизм, пытавшийся увидеть за атомарной «материальной» структурой общества реальность духовную, более сложную и в известном смысле более существенную, первичную по отношению к физическим индивидам.

Все эти обстоятельства сближали столь, казалось бы, различные между собой школы мысли – немецкий историзм и дюркгеймовскую социологию. Отсюда и конструктивизм Дюркгейма одновременно и похож, и не похож на конструктивизм критических философов истории³.

Конструктивизм появляется у Дюркгейма в одном из важнейших для него контекстов – в контексте обоснования проекта социальной науки – уже в

¹ Перверсия [лат. perversio] – извращение, особенно в половой области.

² «Учитывая, что социологи (группы Дюркгейма. – Н. К.) были агностиками или атеистами, принимавшими своеобразную светскую религию человечности в неокантианском стиле., можно было бы ожидать, что религия не казалась им вещью, достойной первоочередного внимания. Но они слишком глубоко понимали религию и были рационалистами, слишком скептически относившимися к рационализму, чтобы принять такой взгляд. Более того, в силу их высокого понимания своей миссии и огромной роли, которую они приписывали идеалам в коллективной жизни, они неизбежно испытывали симпатию и даже восхищение по отношению к религиозному идеализму и в особенности к христианской и иудейской вере и учению».

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 260.

«Правилах социологического метода». Разум, по Дюркгейму, определённым образом полагает эмпирическую действительность, превращая её в предмет той или иной науки. В самом деле, социальные факты могут быть идентифицированы только тогда, когда социолог погружится в определенное «состояние духа» и займет «определенную мыслительную позицию» по отношению к делам человеческим¹. Как и у Риккерта, именно от позиции наблюдателя решающим образом зависит выделение объекта науки. Различие между Дюркгеймом и Риккертом появляется тогда, когда Дюркгейм говорит, что свойственный социологии способ полагать эмпирическую действительность заключается в том, чтобы «рассматривать социальные факты как вещи»², т. е. как внешние по отношению к сознанию исследователя объекты познания. Этот тезис непосредственно направлен против антипозитивистской установки немецкого историзма, которую полностью принимала критическая философия истории, настаивавшая на возможности внутреннего понимания социальных явлений.

Однако при всей своей кажущейся однозначности эта фраза – «рассматривать социальные факты как вещи» – скрывает внутренний конфликт, характерный для всей дюркгеймовской социологии и, шире, для социальных наук в целом. Как следует её понимать: социальные факты суть вещи или социальные факты следует рассматривать, как если бы они были вещами? Комментарии самого Дюркгейма склоняют скорее ко второй интерпретации³, хотя ему случалось высказываться и в первом смысле⁴, и именно так его нередко понимали⁵. По-видимому, прав Ален Дерозьер, утверждая, что позиция Дюркгейма находилась где-то посередине между двумя смыслами⁶. И особенно прав Дерозьер, когда он подчеркивает, что социальные науки до сих пор не могут избавиться от этого внутреннего противоречия между объективистской иллюзией, верой в определённую независимость научных фактов от нашего сознания и пониманием их как конструкторов разума⁷.

Если бы Дюркгейм последовательно исходил из представления о фактах как о конструкторах разума, был бы открыт путь к проблематизации тех ментальных механизмов, которые могут быть ответственны за такое конструирование. В самом деле, если считать, что социологи рассматривают социальные факты как вещи, естественно задаться вопросом о том, как именно их опыт вещей сказывается на конструировании ими социальных фактов. Сказать, что «как вещи» значит «извне», далеко не исчерпывает возможностей анализа. Интересное, как мы видели, начинается как раз тогда, когда мы задаем вопрос о генезисе этой умственной установки. Здесь открывается широкое поле для размышлений, но Дюркгейм полностью оставляет его в стороне. Это, однако, не означает, что для него не существует проблемы происхождения

¹ Дюркгейм Э. Социология. М.: Канон, 1995. С. 11.

² Дюркгейм Э. Социология. М.: Канон, 1995. С. 40.

³ Дюркгейм Э. Социология. М.: Канон, 1995. С. 8 – 9.

⁴ Дюркгейм Э. Социология. М.: Канон, 1995. С. 51.

⁵ Monnerot J. Les faits sociaux ne sont pas des choses. Paris : Gallimard, 1946.

⁶ Desrosiers A. La politique des grands nombres: Histoire de la raisons statistique. Paris : La Decouvert, 1993. P. 4 – 5.

⁷ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 261.

когнитивного аппарата исследователей. Многие пассажи, в частности, в «Примитивных формах классификации», показывают, что он хорошо понимал относительность «научного разума»:

«Методы научного мышления – это подлинные социальные институты, возникновение которых может описать и объяснить только социология... Наше нынешнее понятие классификации имеет историю... Все логические понятия – внелогического происхождения... Первые логические категории были социальными категориями... Первобытные классификации... непосредственно примыкают к первым научным классификациям»¹.

Однако анализ Дюркгейма сосредоточен на мысли австралийских аборигенов, хотя он и подчёркивает, что в примитивных классификациях древних – источник наших собственных научных классификаций. Но если примитивные – и, следовательно, все вообще – классификации суть проекции на мир форм социальной организации, то вот прекрасный повод деконструировать понятия научного разума – те, например, в которых описывается разделение труда, – с точки зрения воспроизводства в них некоторых основополагающих структур мысли. Дюркгейм этого не делает. Понимая социальность всякого, в том числе и научного, разума, Дюркгейм пытается «взять» это явление непосредственно у его истоков, в мысли дикарей, а не в гораздо более опосредованных формах современной науки. Иными словами, происходит перенос критического вопрошания с мышления исследователей на мышление субъектов социальной жизни – точно так же, как и у немецких историков. Мы видели, что обнаружение сознательности субъектов социальной жизни позволяет Зиммелю снять проблему структур познающего сознания, точнее говоря, перенести её в герменевтическую плоскость понимания сознания сознанием. Аналогичную логику мы наблюдали и у других критических философов истории. Именно в этом контексте приобретает смысл центральное понятие немецкого неокантианства, идея культуры как самопознающего коллективного разума. Что касается Дюркгейма, то подобный путь был для него закрыт, поскольку идея внутреннего постижения социальных явлений как раз и была объектом его критики. Однако своим собственным путем он приходит к очень похожей логической конструкции. Функцию немецкой идеи культуры у Дюркгейма выполняет концепция социального.

Мы уже останавливались на «рождении социального» из политических противостояний Третьей республики. Однако при всей важности данного аспекта возникновения современной концепции общества на грани XIX–XX вв. существеннее было другое: идея социального стала новой формулой сознания, с помощью которой была сделана попытка избежать как «натурализации» разума, низведения духа до психики, так и возврата к трансцендентальному эго². И Дюркгейм, и немецкие критические философы делали в этом смысле

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 262.

² Mucchielli L. Sociologie et psychologie en France, l'appel à un territoire commun: vers une psychologie collective (1890 –

одну работу. Характерно, что в немецком языке конца XIX в. слово «культура» денотировало примерно тот же круг явлений, что и слово «общество», так что французская «социальная наука» и немецкая «наука о культуре» имели один и тот же предмет. И понимали они его примерно одинаково: главным содержанием социальной или культурной жизни было для них сознание. Конечно, **идея культуры, как и идея социального**, не была изобретением конца XIX в. Обе они восходят к XVII–XVIII вв., однако в эпоху Дюркгейма и Вебера они **приобретают новое значение**, становятся новыми именами разума и, следовательно, ключевыми понятиями формирующейся системы наук о человеке.

Идея социального происхождения разума – главная тема творчества Дюркгейма. Этот тезис, однако, в полной мере касается и научного сознания, понятия которого непосредственно восходят к формам мысли (; дикарей. Социальное постигает социальное – точно так же, как у немцев культура постигает культуру. Речь идет об одной и той же логической фигуре, именно, о преодолении дуализма, заложенного в идее трансцендентального эго, с помощью монистической идеи познающей себя субстанции. По-видимому, и Дюркгейма тоже можно записать в число деятелей гегелевского ренессанса. По словам Д. Ла Капра, для Дюркгейма «общество стало суррогатом Бога в современной жизни». Но гегельянство Дюркгейма состояло не только в «социальной метафизике» и в сакрализации общества. Общество для Дюркгейма было, прежде всего, именем разума¹.

Если присутствие Гегеля можно найти в мысли философов, считавших себя позитивистами или неокантианцами, то ничего удивительного нет в том, что мы встречаем его у тех авторов, которых привычно квалифицировать как неогегельянцев, а именно, у Кроче и Коллингвуда. Впрочем, если у неокантианцев мы подчеркивали присутствие гегельянского субстрата в мысли, то у неогегельянцев следует, напротив, подчеркнуть роль критической традиции. Влияние Канта на Коллингвуда несомненно (вплоть до использования кантианского понятия априорного воображения), но и Кроче, критикуя (как и Коллингвуд) неокантианцев, также не в последнюю очередь озабочен проблемой эпистемологического обоснования наук о духе.

Выступая против позитивистского культа фактов («чистых фактов не существует»)², Кроче утверждает, что **воспринятые извне, «как вещи», исторические факты лишены всякого смысла, который придаётся им только разумом.** Именно хроника – «мертвая история», составленная из воспринятых извне фактов, отождествляется Кроче с позитивистским идеалом науки. Напротив, **живая, всегда «современная» история возможна только как внутреннее постижение прошлого, руководимое духовными потребностями сегодняшнего дня.** Иными словами, различие между хроникой и историей основывается на «различных духовных установках», причём возможность

1940 // Revue de Synthèse. 1994. № 3 – 4. P. 453 – 458.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 264.

² Кроче Б. Теория и история историографии / Пер. с ит. И. М. Заславской. Послесл. Т. В. Павловой. Науч. редактирование М. Л. Андреева. - М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – С. 41.

истории обосновывается, как и у Дильтея, с помощью радикальной историзации субъекта исторического познания. Однако проблема объективности и здесь решается вполне оптимистически. Ведь разум – это не изолированный разум субъекта, но объективный дух, порождающий историю и познающий себя как мысль в сознании историка:

«Никогда ничего невозможно будет понять в действительном процессе исторической мысли, если мы не будем исходить из принципа, что дух сам является историей, создателем истории в каждый момент своего существования, но также и результатом всей предшествующей истории. Дух несёт в себе всю свою историю, которая совпадает с ним».

Именно **благодаря историографии дух «заново переживает свою историю»**, он становится «понятным самому себе» только как мысль в сознании историка. Но при совпадении духа и истории нет смысла говорить о структурах разума, проецируемых на историю: эти структуры манифестируют себя в истории, так что рассказ о внутренней связи исторических событий как раз и будет их описанием. Как и во всех монистических моделях, для структур разума исследователя здесь просто не остается места.

Со своей стороны Коллингвуд также подчеркивал, что получить из источников «факты, "готовые" к моменту начала исторического исследования», – обычная иллюзия практикующих историков, тогда как на деле «историческая мысль получает их (исторические факты. – Н. К.) от самой себя»¹. Образ прошлого не может быть взят непосредственно из источников, поскольку их данные фрагментарны, и историк вынужден с помощью инференции гипотетически заполнять лакуны, выстраивая связный рассказ там, где ему даны лишь фрагменты. Именно в этой связи Коллингвуд различает два вида воображения – орнаментальное, позволяющее историку, по словам Маколея, «сделать свое повествование эмоциональным и живописным», и структурное, которое позволяет ему устанавливать логические связи между историческими фактами. Поэтому «картина предмета исследования, создаваемая историком..., представляет собой некую сеть, сконструированную в воображении, сеть, натянутую между определенными зафиксированными точками», основанными на свидетельствах источников².

Однако даже и «эти якобы закрепленные точки, которые историческое воображение связывает своей сетью, не даны нам в готовой форме, но являются результатом критического мышления». Иными словами, историк признает истинными и включает в свой рассказ только те факты, которые необходимы для когерентности сконструированной им сети. Именно поэтому «априорное воображение, создающее исторические конструкции, несет с собой и средства исторической критики», и вместе с тем создаваемая историком «картина прошлого» есть «продукт его априорного воображения» и «в каждой её

¹ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. С. 232.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 265.

(картины. – Н. К.) точке представляет собой необходимость априорного»¹. Коллингвуд пытается тем самым связать кантовские темы априорного воображения и необходимого характера синтетических суждений с практикой исторического исследования, следуя при этом дуалистической логике критической философии. Субъект познания, которого имеет в виду Коллингвуд, конечно, уже не трансцендентальный субъект, но вполне реальный эмпирический историк. Тем не менее воображение этого историка отнюдь не субъективно: оно действует «отнюдь не произвольно, как фантазия, а в своей априорной форме» .

До сих пор тема обоснования объективности исторического познания звучит предельно по-кантиански, а заявление о том, что априорное воображение «осуществляет всю конструктивную работу в историческом исследовании», позволяет ожидать, что следом должен начаться анализ конкретных структур разума, проецируемых на историю. Но такой анализ не начинается. Коллингвуд ограничивается тем, что показывает роль априорного воображения. Затем противопоставленный объекту субъект исторического познания незаметно подменяется у него познающей самое себя субстанцией. То, что он говорит об условиях исторического познания, целиком основано на идее о консубстанции-нальности познающего и познаваемого, что и позволяет историку «воспроизвести прошлое в собственном сознании». Мы вновь имеем дело с герменевтической версией монизма, снимающей вопрошание о структурах познающего сознания, возможное только в дуалистическом кадре².

Мы видим, что отмеченный выше феномен вовсе не был особенностью немецких неокантианцев. Основатели всех важнейших течений социальных наук исходили из конструктивистской гипотезы при эпистемологическом обосновании наук о человеке. Они затрачивали немало усилий на доказательство того, что общество и история конструируются разумом, но совершенно не интересовались конкретными формами разума, которые сказывались на наших представлениях об обществе и истории. Главная причина этого заключалась, на наш взгляд, в следующем. Основатели социальных наук находились в общем русле того интеллектуального движения, которое на грани веков в самых различных областях мысли стремилось преодолеть дуализм, ибо в его рамках уже более не казалось возможным удовлетворительным образом объяснить, в чем гарантия достоверности нашего познания, иначе говоря, обосновать объективность науки. Стремление выйти из дуалистического кадра проявляется, в частности, в идее особого уровня символических операций, разрабатываемой как в новой логике, так и в семиологии, но оно проявляется также в феноменологии и даже в бихевиоризме. Дюркгейм своей интерпретацией социального, равно как и немецкие неокантианцы своей программой исторической науки о культуре, тоже вносят вклад в формирование этой базовой для парадигмы социальных наук модели разума.

Однако для большинства мыслителей этого поколения преодоление дуализма оставалось неполным. В их логике обычно имплицитно

¹ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. С. 231.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 266 – 267.

присутствовал дуалистический кадр, заложенный в самой идее науки, которой они были безусловно преданы. Видимо, такое сочетание дуализма с монизмом стало возможным благодаря характерной особенности мысли конца XIX в.: для неё погружение сознания в социальное (или в культуру) было в какой-то мере залогом объективности познания или, во всяком случае, шансом с помощью родового релятивизма избежать разрушения разума, с полной неизбежностью следующего, с их точки зрения, из релятивизма индивидуального. Исключения из этого правила (например, Гуссерль) были редки. Характерно, что одним из выходов из этого сложного положения и для Дюркгейма, и для Вебера стала идея эволюции или модернизации, т. е. фактически метафизическая концепция рационализации общества, которая подводила к мысли о неизбежности итогового торжества научного разума. Конечно, и такое решение проблемы, подобно другим попыткам обосновать объективность на базе родового релятивизма, оставалось сомнительным, но для нас оно важно как свидетельство напряжения, существовавшего тогда между идеей науки и идеей социальной природы разума и побуждавшего основателей социальных наук испытывать различные, в том числе и весьма противоречивые интеллектуальные ходы. В результате дуалистический кадр оставался на полулегальном положении, удерживаемый сильнейшей объективистской установкой, верой в науку. В него можно было при случае незаметно «соскользнуть», выведя из-под критики научный разум, даже если «легальные» концепции разума как социального или культурного явления стремились покончить с дуализмом. Балансирование между монизмом и дуализмом, между концепцией сознания как социального явления и подсознательной трансцендентальной установкой в полной мере остается характерной чертой социальных наук.

Отказ от такого балансирования равносителен самоликвидации социальных наук: ведь если разум не социален, то, что остаётся от их предмета, а если разум не объективен, то на чём основаны их претензии? Неудивительно, что и такое важнейшее течение исторической мысли XX в., как школа «Анналов», не смогло преодолеть это внутреннее противоречие¹.

2. Школа «Анналов»

Часто утверждают, что конструктивистские тенденции были не свойственны французской историографии, знакомство которой с критической философией истории и с конструктивистской гипотезой едва ли не впервые произошло благодаря Р. Арону, а позднее – благодаря А.-И. Марру². Это, однако, не совсем точно. Прежде всего, недавние исследования показали, что программа школы «Анналов» во многом опиралась на конструктивистскую

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 268.

² О распространении конструктивистской гипотезы во французской исторической мысли см.: Marrou H.-I. De la connaissance historique. Paris: Sueil, 1954. P. 21 – 22; Certeau M. de. L'opération historique // Faire de l'histoire. Vol. 1. / Pub. par J. Le Goff, P. Nora. Paris: Gallimard, 1974. P. 5 – 7; Boutry Ph. Assurance et errances de la raison historique // Autrement. 1995. №150-151. P. 59.

гипотезу¹. Но и до «Анналов» основательное, хотя и не очень афишируемое, знакомство большинства французских историков с немецкой историографией также способствовало проникновению конструктивистской гипотезы в принятую ими методологическую риторiku. Сказалось на историках и влияние релятивистского интеллектуального климата начала столетия. **Крупнейшие французские исследователи в области естественных наук были в высшей степени склонны подчёркивать относительность научного познания, тогда как в философии заметным влиянием пользовались спиритуалистические тенденции**². Эмиль Бугру, главный оппонент сциентизма во Франции (и профессор философии в Высшей нормальной школе, где училось большинство историков), полагал, что **синтез есть важнейшая историографическая операция и что он возможен исключительно благодаря активной роли исторического воображения**³. Эти идеи позднее развил его ученик Анри Берр, который в «Обзрении синтеза» (как и Дюркгейм в «Социологическом ежегоднике») пытался знакомить французскую публику с немецкой критической философией истории⁴. Мы видели, что кантианские мотивы были характерны и для Дюркгейма, а социологи и историки, как мы имели случай подчеркнуть, составляли во Франции этого периода едва ли не единую среду. В частности, **конструктивистскую гипотезу отстаивал ученик Дюркгейма Франсуа Симиан, сыгравший значительную роль в формировании методологической ориентации школы «Анналов»**⁵.

Симиан развивал, прежде всего, позитивистскую составляющую дюркгеймианского конструктивизма. Отвергая тезис о том, будто бы историки имеют дело с изолированными фактами, которые они находят в источниках, **Симиан писал, что в свете данных новейшей психологии любые, даже самые материальные объекты суть абстракции, поскольку не существует чистой перцепции**⁶, свободной от понимания⁷. Тем более любой научный факт – всегда абстракция, и даже индивид есть абстрактный конструкт нашего сознания⁸. Следовательно, историк сам создает исторические факты. Затем эти факты подлежат отбору и группировке, причем перспектива той или иной группировки оказывает влияние на конструирование фактов:

«Она (история. – Н. К.) объединяет, группирует и представляет в

¹ Burguière A. De la compréhension en histoire // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1990. Vol. 45. №1. P. 124. Бургьер с полным основанием подчеркивает связь между конструктивизмом Блока и Февра и эпистемологической купурой, т. е. отказом от непосредственного следования подсказкам обыденного сознания в историческом анализе. Идея эпистемологической купуры была широко распространена в начале XX в. Конструктивизм Дюркгейма также в значительной мере опирался на эту идею.

² Ведущие французские философы конца века – Бугру, Пуанкаре, Пьер Дюэм – подчеркивали ограниченность научного разума.

³ Boutroux E. Etudes de l'histoire de la philosophie. Paris : Alcan, 1897. P. 8 – 9.

⁴ Marrou H.-I. De la connaissance historique. Paris: Sueil, 1954. P. 19.

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 269.

⁶ Перцепция [лат. perceptio] (филос.). Восприятие.

⁷ Simiand F. Méthode historique et science sociale // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1960. Vol. 15. № 1. P. 113.

⁸ Simiand F. Méthode historique et science sociale // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1960. Vol. 15. № 1. P. 89.

определенной комбинации факты, которые выявило аналитическое исследование. Она создаёт, более или менее вдумчиво и критично, некоторые кадры, по которым она распределяет отдельные факты, и именно имея в виду эти кадры, она осуществляет всю свою работу по подготовке данных... Если верно, что кадры создаются для того, чтобы группировать факты, то разве не менее верно, что факты воспринимаются так, чтобы суметь войти в эти кадры?»¹

Именно с этих позиций **Симиан** критикует предрассудки «исторического племени», и, прежде всего – ту принятую в позитивистской историографии схему классификации исторических фактов Ланглуа и Сеньобоса, о которой мы говорили в предыдущей главе. Симиан указывает на искусственность её внешне столь естественных категорий. Казалось бы, удачная возможность подвергнуть анализу внутреннюю логику позитивистской рубрикации истории, заложенные в ней принуждения мысли, но Симиан вместо этого пытается наметить скорее пути её совершенствования, показывая её слабости как инструмента социального анализа. Он обвиняет историков в использовании для упорядочивания своих материалов «идей и гипотез, происходящих из обыденного фонда готовых к употреблению понятий. Это – идеи и понятия науки пятидесятилетней, если не столетней давности, которые, войдя в обыденное сознание, кажутся уже не созданными разумом понятиями, но "естественными данными"»². Проекция на историю структур разума представляется ему если и не всегда контролируемым, то, во всяком случае, доступным контролю процессом: «Не бывает такой группировки фактов, которая не предполагала бы у её создателя (сознает он это или нет) некоторой конструктивной гипотезы»³. Весь вопрос, следовательно, в рациональности гипотез. Неудивительно, что никакого внимания структурам сознания, проецируемым на историю, Симиан не уделяет: негодные кадры надо не изучать, а заменять годными. Иными словами, Симиан исходит из идеи «эпистемологической купюры», и его конструктивизм – глубоко оптимистический, «конструктивный» конструктивизм. Забегая вперед, отметим, что именно эта версия конструктивизма особенно заметно сказалась на мысли Блока и Февра.

Но и историки, в том числе оппоненты Симиана, за редким исключением (например, Ланглуа или Лансона) подчеркивали роль исторического синтеза и воображения. Так, **Шарль Сеньобос**, впоследствии благодаря недоброжелательству Люсьена Февра ставший для поколений историков воплощением «историзирующей истории», в своих многочисленных методологических трудах решительно отрицал точку зрения, согласно которой историку надлежит элиминировать собственную личность, поскольку факты в

¹ Simiand F. Méthode historique et science sociale // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1960. Vol. 15. № 1. P. 100.

² Simiand F. Méthode historique et science sociale // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1960. Vol. 15. № 1. P. 113.

³ Simiand F. Méthode historique et science sociale // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1960. Vol. 15. № 1. P. 113.

чистом виде содержатся в документах¹. Напротив, по Сеньобосу, факты историк добывает путём инференции². Иными словами, уже на этапе установления фактов дело не обходится без участия воображения, роль, которого ещё более возрастает на этапе синтеза, который является главной (причём недооцениваемой немецкими историками) стадией исторического понимания³. При этом воображение опирается на жизненный опыт историка: «Мы не наблюдаем реальность прошлого. Мы познаем её благодаря её сходству с реальностью настоящего»⁴. Только на основе жизненного опыта мы способны придать смысл данным источников. Ещё в ранних статьях 1880-х гг. Сеньобос писал, что те единства, с которыми работает историк, например, исторические периоды, – не реальности, но «воображаемые деления», в конструирование которых мы привносим структуры нашего разума:

«Законы разума отличны от законов реальности. Реальность непрерывна. Разум схватывает только её фрагменты... Чтобы разум познавал реальность, необходимо адаптировать реальность к потребностям разума»⁵.

Полтора десятилетия спустя ровно так же будет высказываться Риккерт. Аналогичные мысли мы найдем и у других французских историков-позитивистов⁶. Конструктивизм, следовательно, был далеко не чужд французской историографии. Однако это был вполне оптимистический конструктивизм, и, даже подчёркивая субъективизм исследователя,

¹ Seignobos Ch. La méthode historique appliquée aux sciences sociales. Paris: F. Alcan, 1901. P. 116.

² Inference – заключение (от частного к частному).

³ Seignobos Ch. La methode historique appliquée aux sciences sociales. Paris: F. Alcan, 1901. P. 1 – 3.

⁴ Langlois Ch.-V, Seignobos Ch. Introduction aux études historiques. Paris: Hachette, 1897. P. 200-203.

⁵ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 272.

⁶ Так, Поль Лакомб, один из оппонентов Симиана в знаменитом споре историков и социологов, говорил о бессмысленности узкой эрудиции, о невозможности изучать неисчерпаемую реальность прошлого в целом, о необходимости отбора фактов и установления между ними определенной иерархии. Историк, по его мнению, должен не восстанавливать прошлое, каким оно было на самом деле, а идти дальше отдельных индивидуальных фактов и выявлять их повторяющиеся аспекты, иными словами, социальные институты, которые и есть подлинный предмет истории, причем институты эти историк конструирует с помощью воображения, поскольку они не даны эмпирически и их можно только вообразить. Патриарх позитивистской историографии Габриель Моно в своих поздних работах утверждает, что история должна классифицировать повторяющиеся факты, что пишет её живущий здесь и сейчас историк, что факты прошлого историк понимает благодаря опыту настоящего, выстраивая образ прошлого из оставшихся в источниках следов по аналогии с образом настоящего.. Здесь, конечно, уместно задать вопрос о причинах столь резкого столкновения социологов и историков (Reberieux M. Le débat de 1903: Historiens et sociologue // Au berceau des «Annales» / Pub. par Ch. O. Carbonnel, G. Livet. Toulouse: I. E. P., 1983. P. 219-230; Delacroix Chr., Dosse F., Garcia P. Les courants historique en France. 19-e – 20-e siècles: Paris: A. Colin, 1999. P. 99–103). Видимо, оно отчасти преувеличено легендой, и Дюркгейм, например, после своих первых выступлений против историков в конце 1890-х гг. и после появления работ ответивших ему Лакомба и Сеньобоса стал относиться к историкам скорее как к союзникам, тем более что опыт совместной борьбы в деле Дрейфуса облегчал это (Mucchielli L. La decouverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870-1914). Paris: La Decouverte, 1998. P. 415–452). Но столкновение все же было, и его не следует недооценивать. Оно было вызвано, прежде всего, академическими стратегиями: Дюркгейм боролся за лидерство социологии в социальных науках, т. е. претендовал на то место, которое до этого занимала история. Имел место и конфликт профессиональных культур философов (из числа которых вышло огромное большинство социологов) и историков – тот же Сеньобос в споре с Симианом не столько отрицал роль синтеза, сколько подчеркивал роль техники установления фактов. Наконец, сказалась и идеологическая эволюция: на смену патриотическим лозунгам историков-позитивистов старшего поколения приходили молодые интернационалистски и социалистически ориентированные социологи и историки, стремившиеся скомпрометировать старую форму исторического дискурса.

французские историки не склонны были на этом основании ставить под сомнение научность своей дисциплины. Более того, уже в этот период заметно ставшее впоследствии характерным для французской традиции отождествление конструктивизма и открытия законов. В этих условиях неудивительно, что работы Р. Арона, поставившего вопрос о пределах достижимой в историческом исследовании объективности, производили впечатление едва ли не кощунства. В самом деле, Арон ставит под сомнение исторический реализм, говоря об «исчезновении объекта» истории в результате философского анализа:

«Не существует исторической реальности, которая была бы дана науке в готовом виде и которую ей надлежало бы просто с точностью воспроизвести. Историческая реальность, будучи реальностью человеческой, полисемантическая и неисчерпаема»¹.

С первой частью этой фразы вполне могли бы согласиться конструктивисты позитивистского склада. Однако акцент на полисемантической «человеческой реальности» приводит Арона к его главному тезису – о «множественности систем интерпретации» в истории. Герменевтический конструктивизм Арона кажется гораздо более последовательным, нежели конструктивистская риторика историков-позитивистов. Именно поэтому перед Аронем всерьёз возникает вопрос об обосновании объективности (пусть ограниченной) исторического познания, который мало занимал историков. Зная, как решали этот вопрос его немецкие предшественники, мы в состоянии предсказать и путь Арона: он подчёркивает, что сознание несводимо к субъективному психическому элементу, что оно объективируется в человеческих творениях и коллективных репрезентациях, которые являются объективным, т. е. универсальным, разумом. Легко догадаться, что слово, которым он обозначает такой разум, – это культура². Историческая наука, рассматриваемая как сверхсубъективное «самосознание общества»³, не лишена, поэтому некоторой объективности⁴.

Конечно, Арон не мог повлиять на Блока и Февра. Однако сравнение его взглядов с высказываниями французских историков начала века позволяет констатировать наличие двух вариантов конструктивистской гипотезы во французской исторической мысли первой половины столетия, условно говоря, позитивистского и герменевтического, и уместно задаться вопросом, к какому из них были ближе основатели «Анналов».

В перспективе развития конструктивизма, как и в перспективе развития социальной истории, 1929 г. (год основания «Анналов») был лишь отчасти годом разрыва, а отчасти годом продолжения предшествующего

¹ Aron R. Introduction à la philosophie de l'histoire: Essai sur les limites de l'objectivité historique. Paris: Gallimard, 1986. P. 146.

² Aron R. Introduction à la philosophie de l'histoire: Essai sur les limites de l'objectivité historique. Paris: Gallimard, 1986. P. 89 – 90.

³ Aron R. Introduction à la philosophie de l'histoire: Essai sur les limites de l'objectivité historique. Paris: Gallimard, 1986. P. 105.

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 273.

историографического процесса. Основатели «Анналов» естественным образом восприняли традицию французского конструктивизма. Впрочем, несмотря на свою антипатию фронтовиков 1914 г. ко всему немецкому, Блок и Февр хорошо знали немецкую историографию, так что, пусть опосредованно, круг размышлений немецких критических философов был им хорошо известен¹. В самом деле, уже знакомые нам идеи о том, что реальность социальной жизни опосредована сознанием, и что исторические факты не даны историку в источниках в готовом виде, определяют методологические размышления Блока и Февра. Центральное понятие немецкого историзма, континуум, было важнейшим интеллектуальным инструментом Блока и Февра, и именно культурное, психологическое своеобразие отдельных эпох, столь ярко показываемое ими, являлось главным предметом их исследований. В этом смысле эпистемологическая революция «Анналов» не только не была абсолютным разрывом с собственно французской историографической традицией, но и может рассматриваться как намеренное переориентирование историографией той глубоко неокантианской «переориентации социальной мысли», которую другие науки о человеке пережили на грани XIX–XX вв. Как мы уже отмечали, программа «Анналов» и генетически и типологически весьма близка к дюркгеймовской социологии.

Трудно впрочем, не признать, что основатели «Анналов» являлись более последовательными конструктивистами, чем историки начала столетия, и, в частности, гораздо более непосредственно связывали с конструктивизмом возможность обновления практики исторического исследования. Конструктивизм «Анналов» был для них, безусловно, одним из важнейших аспектов самоидентификации². Поэтому и «наивный реализм в стиле Ранке» приписывался ими их оппонентам с излишней настойчивостью.

Как и немецкие историки, основатели «Анналов» были убеждены в исторической ограниченности историка, замкнутого в горизонте своего времени. Люсьен Февр в особенности постоянно подчеркивал связь науки с жизнью: «Наука не создается в башнях из слоновой кости... усилиями бесплотных учёных, живущих вне времени и пространства», она «не есть государство в государстве» и «неотделима от социальной среды, в которой разрабатывается»³. Февр писал:

«Она (наука. – Н. К.) творится в самой жизни, живыми людьми, погруженными в свой век. Тысячами тонких и сложных нитей она связана с человеческой деятельностью во всем её многообразии»⁴.

Именно в этом – источник жизненных сил истории, именно поэтому она представляет собой «не сумрачное и пыльное хранилище мертвых теорий и

¹ Антипатия Блока и Февра к Германии очевидна из их переписки с Пиренном.

² Характерно, что статья Февра с критикой позитивиста Луи Альфана называется «О чуждой нам форме истории». Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 114 – 118.

³ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 56.

⁴ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 15.

ответшалых понятий», но «живую главу общей истории человеческой мысли»¹. Отсюда неизбежно, что «каждая эпоха создает в своем воображении собственное представление об историческом прошлом. Свой Рим и свои Афины, свое средневековье и свой Ренессанс»². Поэтому Февр призывает молодых историков:

«Чтобы заниматься историей, решительно повернитесь спиной к прошлому и, прежде всего, живите. Глубже погружайтесь в жизнь. В интеллектуальную жизнь, конечно же, и во всем её многообразии. Но живите и практической жизнью. **Между действием и мыслью нет разрыва, нет непреодолимого барьера. Следует работать в согласии с целостным движением своего времени...** Одним словом, надо уметь думать. Именно этого чудовищно не хватает историкам»³.

Конечно, погружение историка в исторический мир уместно связать с присущим Февру чувством историзма, однако можно указать и на другие интеллектуальные источники такой позиции. Вот показательная фраза:

«Освободимся от иллюзий. Человек не помнит прошлого. Он всегда реконструирует его – и абстрактный изолированный человек, и реальный человек в группе. Он не хранит прошлое в памяти... Он исходит из настоящего – и только через него истолковывает прошлое»⁴.

Здесь очевидно влияние взглядов Мориса Альбвакса, согласно которым память есть существенно социальный феномен, так что реконструирование прошлого человеческим сообществом основывается на его коллективных потребностях, а не на автоматической фиксации прошлого в индивидуальном сознании⁵. Но Альбвакс – ученик Дюркгейма, и, конечно же, его теория «социальных кадров памяти» – частный случай дюркгеймовского тезиса о социальности сознания. Характерно, что этот экскурс в теорию памяти в тексте Февра вклинивается в рассуждение об истории как о науке. **Социальную память он противопоставляет научной истории, которая должна осознанно конструировать свои объекты.** Но, несмотря на это противопоставление, параллель истории и памяти присутствует у Февра. Обречённость истории на конструктивизм лишь подчеркивается конструктивистским характером столь, казалось бы, «естественной» социальной памяти. Акцент на социальную

¹ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 56.

² Febvre L. Le problème de l'incroyance au XVI-e siècle: La religion de Rable. Paris: A. Michele, 1962. P. 12.

³ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 32–33. Нельзя не отметить странное звучание призыва «работать в согласии с целостным движением времени» в оккупированном немцами Париже: цитированная фраза Февра взята из его обращения к студентам Высшей нормальной школы осенью 1941 г. О небезупречном поведении Февра в годы оккупации см.: Burrin Ph. La France à l'heure allemande. 1940 – 1944. Paris: Seuil, 1995. P. 322 – 328.

⁴ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 15.

⁵ Halbwachs M. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: F. Alcan, 1925. Альбвакс был тесно связан с кругом «Анналов».

функцию истории, – «организовывать прошлое в зависимости от настоящего»¹ – видимо, происходит именно отсюда. Отсюда же и знаменитый «проблемный метод» Февра, составлявший главную особенность его «практической эпистемологии» – «идти прямо к проблемам», которые диктуются сегодняшним днем, – метод, возможный только на почве конструктивизма.

Вместе с тем, с противопоставлением истории и памяти мы приходим ко второму, и важнейшему, аспекту февровского конструктивизма – к его связи с **идеей эпистемологической купюры**. Эта идея, обычно связываемая, прежде всего с именем Гастона Башляра, была свойственна многим основателям социальных наук, стремившимся порвать с обыденным сознанием и возвысить познание дел человеческих до уровня науки. Таков был в значительной мере пафос Дюркгейма, конструктивизм которого предполагал разрыв с предрассудками обыденного сознания, зачастую непосредственно переносимыми в социологические объяснения. Именно ради этого Дюркгейм призывал рассматривать социальные факты извне, «как вещи», и объяснять их другими взятыми извне фактами². Но это означало, что факт не дан науке столь же непосредственно, как обыденному сознанию. Напротив, научные факты должны быть сконструированы. Именно эта тема постоянно звучит и у Люсьена Февра:

«Что вы называете фактами?.. Думаете ли вы, что факты даются истории как некие субстанции, как сущности?.. Именно историк вызывает к жизни даже самые незначительные исторические факты... **Наблюдение никогда не берёт готовых фактов. Наблюдение – это конструирование**... Где взять факт как таковой, пресловутый атом истории?.. Освободимся, наконец, от наивного реализма в стиле Ранке, который воображал, что можно познавать факты сами по себе, какими они происходили. Историческую реальность, как и реальность физическую, мы воспринимаем через посредство форм нашего разума... Всякая наука создает свои объекты»³.

Достаточно часто эти идеи появляются у Февра со ссылкой на пример естественных наук, в частности, на слова Вертело о том, что **химия создаёт свои объекты**⁴. Именно с конструктивизмом Февр связывает революцию в естествознании. Поэтому он и задаёт вопрос о том, до каких пор историки будут держаться за устаревшие концепции научного познания. Кризис современной ему исторической науки, кризис «историзирующей истории» Февр связывал, прежде всего, с отказом этой последней принять логику конструктивизма и тем самым открыть для себя возможность стать, говоря словами Блока, «более широкой и более человеческой», т. е. существенно обновить и расширить свою проблематику и свой интеллектуальный аппарат.

¹ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 438.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 277.

³ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 116, 23, 57, 7, 58, 115, 30.

⁴ «Наши учёные все больше склонны определять науку как творчество, они представляют её как "создательницу своих объектов" и отмечают в ней постоянное вмешательство учёного, его воли и его действий». Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 30.

Именно с освоением историей уроков конструктивизма Февр связывает надежду на обновление исторической науки, и именно поэтому конструктивизм для него – важнейший аспект его интеллектуальной идентичности (и академической стратегии). Иными словами, **конструктивизм Февра связан с эпистемологическим оптимизмом в позитивистском вкусе, ему чуждо «трагическое сознание» немецких историков**. Поэтому Февр прав, говоря о своих конструктивистских взглядах: «Здесь нет ничего скандализирующего, никакого посягательства на приписываемое науке величие»¹.

Конструктивизм у Февра, как и у Дюркгейма и в особенности у Симиана, связан со сциентизмом и позитивизмом. Правда, **это уже не «наивный реализм» позитивистов середины XIX в. с их крайней доверчивостью к данным органов чувств**. Это, скорее, неопозитивизм с характерной для него интуицией реальности как системы сложных отношений, задача выявления которых легко интерпретировалась как конструирование объектов исследования. В этих условиях вопрос о том, совместим ли конструктивизм с объективным познанием, едва ли вообще имеет смысл, и неудивительно, что Февр склонен задумываться над ним не больше, чем историки начала века. Отсюда, в частности, понимание Февром избирательного характера исторического интереса: **«История – это выбор. Произвольный – нет. Предварительно продуманный – да»**². Историк «не блуждает наугад по прошлому», но «отправляется в путь, имея в голове определённый замысел, проблему, требующую разрешения, рабочую гипотезу, которую необходимо проверить»³. Иными словами, следует лучше продумывать рабочие гипотезы, теории, вопросы к прошлому. Поэтому неудивительно, что **ничего конкретного о структурах познающего сознания Февр не говорит. Из конструктивистской посылки для него следовал вывод не о том, что надо изучать сознание историка, но о том, что нужно лучше пользоваться этим сознанием. Его эпистемология и в самом деле была «практической»**⁴.

Равным образом и Марк Блок, пронизательно обращая внимание на ряд свойственных позитивистской историографии принуждений мысли (например, на принятые ею искусственные хронологические деления)⁵, совершенно не интересуется их происхождением, как и вообще ментальностью историков. Вот, например, его характерное рассуждение о социальной иерархии (мы выбрали именно эту цитату, поскольку предметом нашего исследования как раз и было то, как историки описывают общество):

¹ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 15.

² Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 117.

³ Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 7.

⁴ За исключением критики механистических метафор позитивистской историографии и свойственной ей рубрикации истории единственным подступом Февра к конкретному изучению функционирования исторического разума является следующая фраза: «Она (история. – Н. К.) есть выбор в силу особенностей человеческого мышления: как только документы накапливаются в избыточном количестве, исследователь начинает сокращать и упрощать, подчеркивать одно и сглаживать другое» (Febvre L. Combats pour l'histoire. Paris: A. Colin, 1965. P. 7). Здесь было бы уместно проследить, как именно происходят эти сокращения и упрощения, но Февр этого не делает.

⁵ Блок М. Апология истории. С. 97–101.

«А что такое социальная классификация, если не изменчивое и с огромным трудом передаваемое словами представление, создаваемое членами данного общества об иерархических отношениях между ними?»¹.

Блок, безусловно, понимает центральную роль сознания в конституировании социальных фактов, но для него это – сознание субъектов истории, а отнюдь не сознание историков, которое, как мы могли убедиться, налагает на наши реконструкции общества отпечаток своих собственных структур. Но создается впечатление, что, как и у Дюркгейма, изучение ментальности людей прошлого как бы замещало для основателей «Анналов» изучение ментальности историков². Однако в целом конструктивизм основателей «Анналов» носил преимущественно не герменевтический, но позитивистский характер³.

Конструктивизм и в дальнейшем оставался важным элементом традиции «Анналов». Правда, в следующем поколении школы, у Броделя и в особенности у Лабрусса, как мы видели, резко преобладало реалистическое умонастроение, однако они, в особенности Бродель, по крайней мере, в теории, сохраняли конструктивистские взгляды⁴. По мере «поворота к ментальностям» во французской историографии в 1960–1970-е гг. конструктивистские высказывания начинают встречаться чаще. Конструктивизму отводят роль программного принципа школы «Анналов» и едва ли не её «идентификационного признака». Так, Франсуа Фюре говорил о конструктивизме как о главном отличии «новой истории»⁵, а Жак Ле Гофф и Пьер Нора в предисловии к программному коллективному труду «Как занимаются историей» следующим образом характеризовали школу «Анналов»:

«Новая история... утверждается... в сознании своей зависимости от условий своего собственного производства. Далеко не случайно она все более интересуется самой собой и отводит всё более заметное и важное место истории исторической науки. Будучи продуктом, она начинает интересоваться своим производителем – историком»⁶.

¹ Oexle O.G. Marc Bloch et la critique de la raison historique. P. 419.

² В этом смысле Ж. Нуарьель прав, говоря о Февре как о предтече «герменевтического века французской историографии» (Noiriel G. Pour une approche subjectiviste du social // Annales: Economies, Sociétés, Civilisations. 1989. Vol. 44. № 6. P. 1441).

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 279.

⁴ Полемизуя с Ланглуа и Сеньобосом, «для которых идеалом было бы устранение наблюдателя (т. е. историка. – Н. К.)», Бродель подчеркивал: «История – дочь своего времени». В другом месте Бродель характеризует как устаревшую иллюзию мысль Луи Альфана, считавшего, что источники в идеале сами должны выстраивать для нас ряд событий (Braudel F. Ecrils sur l'histoire. Paris: Flammarion, 1969. P. 15, 18, 47). Об элементах конструктивистской логики в программе социальной истории Э. Лабрусса см. гл. 1. Жорж Лефевр также подчеркивал, что история «отражает» не только источники, но и «ментальность самих историков» (Lefebvre G. Réflexions sur l'histoire. Paris: Maspéro, 1978. P. 109). Впрочем, немедленно за этим Лефевр оговаривается, что не следует предаваться чрезмерному релятивизму.

⁵ Furet F. L'atelier de l'histoire. Paris : Flammarion, 1982. P. 15.

⁶ Le Goff J., Nora P. Présentation // Faire de l'histoire / Pub. par J. Le Goff, P. Nora. Vol. 1. Paris: Gallimard, 1974. P. XIII.

В том же издании эту тему развивает Мишель де Серто: «Прежде чем смотреть, что говорит история об обществе, важно проанализировать, как она в нём функционирует»¹. В аналогичном смысле высказывался Жорж Дюби, подчеркивавший зависимость исторической проблематики от не вполне осознанных психологических установок историка и призывавший «подвергнуть наблюдению самого наблюдателя, узнать, что он думает, чего боится, написать историю историков, социологию социологов, выявить роль ментального в функционировании уже не обществ, но социальных наук»². Подобного рода высказывания отражали дух времени. Структурализм с его «деспотизмом интеллектуалов» и расцветом «школы подозрения» не мог не способствовать упадку «наивного реализма». Интеллектуальный климат эпохи не без иронии характеризовал Раймон Арон: «В парижских кругах формула "фактов не существует" встречалась с полной благосклонностью»³. На этом климате сказались, в частности, связь структурализма с традицией критической философии и сохранение дюркгеймовской традиции «социальной истории категорий разума», которая продолжала практиковаться в антропологии (например, Луи Дюмоном)⁴. Но и впоследствии, по мере распада структуралистской парадигмы, влияние символического интеракционизма, феноменологической социологии и других подобных теорий благоприятствовало поддержанию релятивистских настроений. Заметное влияние оказала на французских историков и социология науки, и, прежде всего исследования Пьера Бурдьё, в которых постоянно звучат кантианские мотивы⁵. Наконец, постмодернистские тенденции также в какой-то степени затронули французскую историографию (хотя в целом лингвистический поворот был встречен ею скорее враждебно)⁶.

В этих условиях предпринимаются попытки критического исследования историографии. После исполненной, пусть осторожного, эпистемологического оптимизма (но все же сыгравшей важную роль в ознакомлении исторической профессии с идеями Раймона Арона и с критической философией) книги Анри-Ирине Марру появляется работа Поля Вэна, под влиянием Фуко уже гораздо скептичнее настроенного по отношению к возможностям исторического познания⁷:

«История не наука и никогда не станет наукой... Она ничего не объясняет и у неё нет метода. Более того, Истории с большой буквы, о которой

¹ Certeau M. de. L'operation historique // Faire de t'histoire / Pub. par J. Le Goff, P. Nora. Vol. 1. Paris: Gallimard, 1974. P. 15.

² Duby G. Le mentale et le fonctionnement des sciences humaines // L'Arc. 1979. № 72. P. 92.

³ Mesure S. Note sur la présente edition // Aron R. Introduction à la philosophie de l'histoire. P. VIII.

⁴ Dumont L. Homo hierarchus: Le système des castes et ses implications. Paris : Gallimard, 1966.

⁵ Бурдьё, Пьер. Начала: (Сборник: Пер. с франц.) М.: Socio-Logos:Фирма «Адолт», 1994.-287 с.; Бурдьё, Пьер. Практический смысл / Пер. с франц. / П. Бурдьё. С изд.1980 г.-СПб.: Алетейя, 2001.-562 с.

⁶ В крайней форме идеал историка, произвольно манипулирующего фактами, присутствует в проекте экспериментальной истории Д. Мило: Milo D. S. Pour une histoire expérimentele , ou le gai savoir // Alter Histoire: Essai d'histoire expérimentele / Pub. D.S. Milo, A. Boureu. Paris: Les belles Lettres, 1991. Анализ взглядов Мило см.: Boutry Ph. Assurance et errances de la raison historienne // Autrement. 1995. №150-151. P. 56 – 58.

⁷ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 282.

столько говорят последние два века, вообще не существует»¹.

Для Вэна история – это «правдивый роман», и её сущностью является повествование. В этом отношении Вэн примыкает к теориям исторического повествования (которых мы коснемся несколько ниже). Наряду с идеями Фуко (пусть в специфическом прочтении) взгляды Вэна в 1970-е гг. были в значительной мере восприняты «Анналами» и способствовали конструктивистским настроениям. Одновременно Мишель де Серто предложил рассматривать историю, прежде всего как определённую культурную практику, интерпретировать которую следует с учётом социальных и культурных условий работы историка.

Однако работами Вэна и де Серто, пожалуй, и исчерпывается список попыток исследования ментальности историков, вышедших из более или менее близких к «Анналам» кругов. Призывы подвергнуть исследованию ментальность историков остались без последствий, а намеченная де Серто программа изучения историографии не была претворена в жизнь. Периодически раздававшиеся в адрес школы «Анналов» упреки в релятивизме были сильно преувеличенными: по меркам эпохи, релятивизм «Анналов» был, скорее умеренным. Конструктивистская гипотеза по-прежнему понималась «Анналами» прежде всего в позитивистском ключе. Это легко заметить, например, в рассуждениях Фюре, который противопоставлял осознанное конструирование «новой историей» своих объектов традиционному повествованию, т. е. неосознанной проекции на мир нарративных структур². Совершенно аналогичные мотивы звучат и в редакционной статье «Анналов» 1989 г., в которой была сделана попытка обозначить новую ориентацию журнала, состоявшую в отказе от стратифицированной модели «экономик, обществ и цивилизаций» и в призыве к новому историческому синтезу:

«История конструирует свои объекты. Статья или книга по истории – не уменьшенная копия реальности, но проявление структуры, которая преодолевает непрозрачность реальности с помощью исходных гипотез и предварительно установленных правил эксперимента»³.

Конструктивизм носит здесь контролируемый характер, а конструирование реальности с помощью бессознательной реификации аналитических категорий рассматривается как свойство отвергнутой модели⁴. Совершенно так же рассуждали ранее Симиан, Февр или Фюре. При таком подходе, как мы знаем, не остаётся места для изучения сознания историка, и в

¹ Veyn P. Comment on écrit l'histoire: Essai d'épistémologie. Paris : Seuil, 1971. P. 9 – 10.

² Furet F. L'atelier de l'histoire. Paris : Flammarion, 1982. P. 14 – 15.

³ Tentons l'expérience // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1989. Vol. 44. № 6 P. 1321.

⁴ Именно по поводу традиционной социальной истории авторы редакционной статьи 1989 г. пишут: «Если основу истории составляло описание в цифрах, то, чтобы придать такому описанию силу очевидности, следовало постулировать, что полученный результат соответствует чему-то реальному... Реификация категорий логически заложена в таком демарше» (Tentons l'expérience // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1989. Vol. 44. № 6 P. 1319). Но едва ли реификация категорий может считаться особенностью лишь традиционной социальной истории.

той мере, в какой сознанию все же приписывается активная роль в конструировании истории, речь может идти только о сознании субъектов истории. Иными словами, **сознание историка в качестве объекта исследования замещается сознанием субъектов истории**. Не удивительно, что одновременно с распространением конструктивистских высказываний во французской историографии имеет место обращение к истории ментальностей, истории воображаемого и исторической антропологии, иными словами, **подъём направлений, в центре внимания которых находится сознание субъектов истории**.

Итак, от Блока и Февра до самого последнего времени интерпретация школой «Анналов» конструктивистской гипотезы характеризуется двумя чертами: **во-первых, под конструирующей историей сознанием имеется в виду, прежде всего сознание субъектов истории, а не историков, во-вторых, когда речь всё же заходит о конструировании исторических фактов историком, понимается оно как процесс сознательного выдвижения гипотез**. Первая черта сближает школу «Анналов» с немецким историзмом, вторая же скорее связана с позитивистской методологией. Такое понимание конструктивистской гипотезы оказалось не более благоприятным для перехода от теоретического обоснования конструктивистской гипотезы к эмпирическому исследованию мышления историков, нежели её герменевтическая версия, развивавшаяся немецким историзмом¹.

3. Лингвистический поворот

Лингвистический поворот в историографии интересует нас только в той мере, в какой речь идёт об утверждении, что язык оказывает решающее влияние на работу историков. Это – наиболее нашумевший, но, возможно, не главный тезис лингвистического поворота. Наряду с осознанием роли языка в производстве исторического дискурса в историографии XX в. (особенно начиная с 1960–1970-х гг.) имело место **осознание роли языка в жизни общества**. Понятый в этом смысле лингвистический поворот может быть связан, прежде всего, с творчеством таких историков, как **Р. Козеллек**, К. Скиннер, М. Покок. Однако если бы лингвистический поворот состоял только в применении лингвистического анализа для понимания прошлого, он был бы лишь частным случаем того уже известного нам общего правила, что историки, как и другие исследователи в области социальных наук, свои концепции сознания распространяют только на сознание субъектов истории, но никак не на свое собственное. Напротив, уникальность лингвистического поворота состоит как раз в том, что это общее правило здесь оказалось нарушенным. Понятый в смысле проблематизации исторического дискурса лингвистический поворот обычно (хотя и не совсем точно) отождествляют с «постмодернистским вызовом» в историографии. Главными его

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 283.

представителями называют тогда **Ролана Барта, Хайдена Уайта, Фрэнка Анкерсмита и др.** По-видимому, можно говорить об упадке постмодернизма в историографии во второй половине 1990-х гг., упадке, который отмечают и сами его представители, признающие, что **лингвистический поворот не затронул основы исторической профессии и даже уже перестает восприниматься как последняя теоретическая мода**¹. Но хотя у большинства историков призыв критически обратиться к собственному интеллектуальному аппарату не вызвал понимания, Рубикон был перейден и сознание самих исследователей едва ли не впервые было подвергнуто анализу наряду с сознанием субъектов исторического процесса. Начало новому движению положил **Ролан Барт, показавший возможность рассматривать историю с помощью тех же инструментов литературной критики, что и любой другой текст.** С его точки зрения, «исторический дискурс по своей сути идеологичен», поскольку исторический «факт имеет лишь лингвистическое существование». В этой связи Барт задается вопросом, почему история воспринимается так, «как если бы лингвистическое существование факта было лишь копией другого существования – реальности»². Отсюда главной проблемой исторического дискурса для Барта становится **«эффект реальности», с помощью которого история пытается предстать как дискурс о внешнем мире.** При такой постановке вопроса история оказывается одним из реалистических дискурсов и ближайшим аналогом реалистической литературы. Отличительным свойством этих дискурсов, объясняющим эффект реальности, в является, по Барту, иллюзорное слияние означаемого с референцией, так что трехчастная семантическая структура в реалистическом дискурсе как бы нарушается в пользу двухчастной, где «слова истории» отсылают к фактам, несущим свое значение в самих себе, а отнюдь не получающим его из языка³. Иными словами, внимание Барта было направлено прежде всего на **совокупность риторических приёмов, с помощью которых история, будучи лингвистической формой и, следовательно, идеологическим конструктом, в состоянии «подавать себя» как копию реальности.** Но у Барта намечен и другой путь анализа – каким образом

¹ Вот несколько характерных высказываний: «Несмотря на то, что философы, да и сами историки на протяжении десятилетий доказывают, что история – конструкт, вера в то, что она является непосредственным воспроизведением реальности, остается удивительно прочной». «Дестабилизация истории в теории с помощью лингвистически ориентированной критики не имела практических последствий для академической практики, поскольку ученые ничего не могли выиграть, но все могли потерять, демонтировав свой код основанного на доказательствах рассуждения и открывая себя неизбежным упрекам в мошенничестве». «Историки гордятся своей неуязвимостью для червоточины сомнений». В последние годы оппонентами были высказаны уничтожительные интерпретации лингвистического поворота как лишённого серьёзных интеллектуальных оснований чисто стратегического союза группы американских исследователей, во имя личного успеха нанесших большой вред основанной на социальной сплоченности практики исторической профессии. Конечно, такого рода критика, даже если она правильно анализирует академические стратегии, грешит редукцией к ним интеллектуальной жизни в целом, что заставляет вспомнить теории заговора в политике, также оставляющие без внимания более глубокие причины исторических явлений.

² Barthes R. Le discours de l'histoire // Sociale Science Information. 1967. Vol. 6. № 4. P. 73.

³ Barthes R. Le discours de l'histoire // Sociale Science Information. 1967. Vol. 6. № 4. P. 74. Бартовскую тему эффекта реальности развил Ж. Рансьер, говоривший об изобретении историками «нового режима истины, полученного комбинацией объективности рассказа и убедительности дискурса». Изучение подобных «режимов истины» является, с его точки зрения, целью «поэтики знания» (Ranciere J. Les mots de l'histoire: Essai de poétique du savoir. Paris : Seuil, 1992. P. 34).

язык не просто придаёт истории статус правдивого рассказа, но порождает самое содержание этого последнего. По этому пути пошел главный представитель лингвистического поворота в историографии – американский историк Хайден Уайт. Призывая подходить к «историческому произведению как к тому, чем оно с полной очевидностью является, – как к вербальной структуре в форме повествования в прозе»¹, Уайт на примере ряда видных историков прошлого века анализирует те механизмы, которые ответственны за производство исторического дискурса. Речь идет о механизмах, относящихся к «глубокому уровню сознания», на котором предопределяется построение исторического повествования²:

«Прежде, чем историк сможет подчинить исторические данные понятиям, используемым для их репрезентации и объяснения, он должен "предфигурировать" соответствующее поле исследований – иными словами, конституировать его в качестве объекта ментального восприятия»³.

Этот по сути своей поэтический акт является, по Уайту, источником значения исторического текста. При этом, следуя К. Леви-Строссу и Р. Якобсону, Уайт считает, что предфигурирование состоит в выборе между поэтическими тропами (метафорой, метонимией, синекдохе и иронией), которые порождают соответствующие типы сюжета и «стратегии объяснений», в сочетании с той или иной идеологической формой объясняющие индивидуальные исторические стили. Определяемый эстетическими и моральными соображениями и часто бессознательный, выбор «лингвистического протокола» обуславливает, тем не менее, логику исторического повествования. Поэтому история, по Уайту, есть проекция на мир форм нашего разума (отождествляемых им с «лингвистическими протоколами»), которые определяют не только статус, но и самое содержание наших представлений о прошлом. Исследования Барта и Уайта привели к широкому распространению конструктивистской риторики в историографии⁴.

Книга Уайта была ещё вполне структуралистской, однако широкая популярность лингвистического поворота приходится на постструктуралистский период, когда уже не делалось столь грандиозных попыток объяснения всего содержания истории лингвистическими протоколами. Факт, что мир дан нам только в языке и благодаря языку, считался установленным, а модель постструктуралистской критики требовала скорее мозаичных, фрагментарных интерпретаций значения исторических текстов, нежели целостных концепций того, как работает сознание историка. Отсюда – сосредоточение внимания на индивидуальном стиле того или иного историка (или даже отдельного произведения), на различного рода

¹ Уайт, Хейден. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 528 с.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 287.

³ Уайт, Хейден. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 528 с.

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 288.

стилистических механизмах создания авторского «я» и т. д.¹

Сравнительно редкие работы пытались показать влияние лингвистических механизмов на содержание исторических концепций. Так, Ханс Кельнер подчеркивал роль «регулятивных метафор среднего уровня» для формирования исторических концепций и анализировал поэтику Броделя с точки зрения метафоры вечного возвращения, определяющей, с его точки зрения, не только построение «Средиземноморья», но и понимание Броделем логики истории². Особый интерес представляет теория нарративных субстанций Фрэнка Анкерсмита, который в последние годы стал, по-видимому, наиболее заметным защитником постмодернизма в историографии. Нарративные субстанции в понимании Анкерсмита – это образы прошлого, которые складываются в сознании историка и являются единственными референтами исторического повествования. Именно их внутренняя структура диктует то, что историк говорит о своем предмете. Например, рассказ о Ренессансе или о Французской революции уже содержится в этих понятиях, или, точнее, в связанных с ними ментальных образах. Такие нарративные субстанции рассматриваются Анкерсмитом как проявление лейбницевого постулата *predicatum inest subjecto*³. Как мы видели, этот принцип вполне применим к историческим понятиям, во всяком случае, к социальным терминам. Вопрос, однако, заключается в том, каковы структурные характеристики нарративных субстанций (или исторических образов). Именно об этом ничего конкретного Анкерсмит не сказал, лишь в недавней работе подчеркнув, что, возможно, некоторую роль в формировании нарративных субстанций играет визуальное воображение⁴.

В сущности, указанные выше теории – это и вся жатва лингвистического поворота, если, конечно, не считать теорий исторического повествования, созданных в 1960–1970-е гг. аналитическими философами истории и оказавших заметное влияние на постмодернистскую критику⁵. Детальный анализ этих теорий содержится в книге Поля Рикера⁶, и мы остановимся здесь лишь на их месте в истории конструктивистской гипотезы.

Аналитическая философия истории по своему происхождению была тесно связана с традицией критицизма⁷. Проблематика исторического повествования рождается из попыток философов истории вернуться к тезису о своеобразии исторического познания, который был поставлен под сомнение в

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 289.

² «Гораздо важнее (чисто стилистических метафор. – Н. К.) регулятивные метафоры среднего уровня, которые скорее порождают объяснения, нежели украшают их: органические фигуры роста, жизненных циклов, корней, семян и так далее». Тема метафор привлекала и других исследователей: Вжозек В. Историография как игра метафор: Судьбы "новой исторической науки" // Одиссей 1991. М.: Наука, 1991. С. 60-74.

³ Е. Топольски также говорит об исторических образах, выполняющих примерно те же функции, что нарративные субстанции Анкерсмита, однако отказывается обсуждать вопрос о том, имеют ли эти образы визуальную или иную природу.

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 290.

⁵ «Изучение истории – это скорее изображение, нежели вербальное описание прошлого», отсюда – параллелизм исторических описаний с живописью. Ankersmit F.R. Statements. Texts and Pictures // A New Philosophy of History / Ed. by F.R. Ankersmit, H. Kellner. P. 239.

⁶ Ricoeur P. Temps et récit. Vol. 1 – 3. Paris : Seuil, 1983 – 1985.

⁷ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 291.

знаменитой статье Карла Гемпеля. Выступая против «исторического идеализма» (т. е. критической философии истории) с его противопоставлением истории и науки, Гемпель утверждал, что «общие законы имеют в истории функцию, совершенно аналогичную их функции в естественных науках», и что, следовательно, у истории нет никакой альтернативной логической модели, а своеобразие её заключается в плохом применении общенаучного принципа «номотетического» объяснения, точнее, в использовании сокращенных форм такого объяснения. Эти утверждения Гемпеля вызвали протест философов истории, не склонных отказываться от представления об её интеллектуальном своеобразии. Проблематика аналитической философии была определена именно стремлением показать, что история – самобытная интеллектуальная практика¹.

Большую роль в формировании этой проблематики сыграло наследие Коллингвуда. Именно вслед за Коллингвудом Уильям Дрей усматривал интеллектуальное своеобразие истории в том, что историк объясняет события прошлого, не столько подводя их под тот или иной закон, сколько внутренне постигая их, т. е. воспроизводя в своем сознании в принципе доступные воспроизведению – в силу сопричастности субъекта и объекта познания единой человеческой природе – мысли и чувства других людей. Но постепенно – в развитие другой мысли Коллингвуда – особенность истории стали находить скорее в её зависимости от механизмов повествования, и это вызвало подъём конструктивистской гипотезы. В самом деле, повествование упорядочивает разнообразие фактов, поскольку налагает на них некоторые схемы, которые за счёт последовательности изложения создают элементарную интеллигибельность прошлого, причем эти схемы не содержатся в фактах, а являются продуктом нашего сознания. Конструктивизм такого подхода налицо, причем аналитическая философия ставит вопрос о конкретных особенностях повествования как языковой практики, тем самым вплотную подходя к эмпирическому анализу ментальных (в данном случае, лингвистических) структур, проецируемых на историю². Специфика истории как интеллектуальной практики могла ещё рассматриваться как проявление специфики её субстанции (а именно, того факта, что она есть продукт сознательного действия людей) в рамках теории Коллингвуда–Дрея. Но для приверженцев теории исторического повествования история уже оказывалась, прежде всего, проекцией на прошлое некоторой лингвистической формы, иными словами, конструктом сознания не столько субъектов истории, сколько самого историка. Правда, по поводу того, что именно проецировалось на

¹ Подчеркнем, что «оптимистическая» версия конструктивизма, изображающая конструирование историком исторических фактов как процесс научного исследования, представлена и в аналитической традиции.

² «Использование организационных схем – родовая черта всякого эмпирического знания», поскольку для эмпирически данного характерна принципиальная неполнота. Поэтому «мы не можем помыслить историю без организационных схем... Различие между историей и наукой состоит не в том, что история использует, а наука не использует организационные схемы, которые выходят за пределы эмпирически данного. Они обе делают это. Разница состоит в типе организационных схем, которые они используют. История повествует... Любое повествование есть структура, наложенная на события», и именно в ней содержится интерпретация, причем через отсылку к общему. Далее Данто занимается лингвистической характеристикой так называемых нарративных предложений, упорядочивающих историю).

прошлое, сказано было сравнительно мало. История и в этом случае (как и в случае с критической философией истории – вспомним Риккерта) рассматривалась не в действительном разнообразии её интеллектуальной практики, но исключительно как линейно разворачивающееся повествование, что отодвигало на второй план задачу подробного анализа занятых в исторической работе интеллектуальных процедур. Лишь сравнительно редкие авторы подчеркивали разнообразие схем повествования в истории, но и они не слишком далеко заходили по пути анализа столкнувшихся в этих формах ментальных механизмов¹. Зависимость от эссенциалистской модели мира, унаследованная аналитической философией истории вместе с проблематикой критической философии, делала этот путь если не исключенным, то, во всяком случае, малопривлекательным².

Развитием созданной аналитической философией теории исторического повествования стала книга Поля Рикёра – безусловно, главное философско-историческое произведение последних десятилетий, синтезировавшее традиции критической философии истории, герменевтики, аналитической философии и лингвистического поворота³. Именно потому, что эта книга может рассматриваться как своего рода завершение философско-исторической рефлексии истекшего столетия, мы подробно говорили о ней во Введении. Сейчас повторим только то, что главным достижением Рикёра в перспективе развития конструктивистской гипотезы может считаться демонстрация сложных психологических механизмов, подлежащих столь, казалось бы, простой форме линейного рассказа. Однако слабостью книги является, на наш взгляд, следующее из постулатов концепции разума-культуры сведение интеллектуальной практики истории к базовой операции *mise-en-intrigue*, а психологических механизмов, объясняющих эту операцию, – к парадоксу прерывности-непрерывности, основополагающего, с точки зрения Рикера, для человеческого опыта времени⁴.

Итак, мы видим, что после довольно длительного периода, когда теоретическое обоснование конструктивистской гипотезы не сопровождалось даже попытками эмпирического изучения проецируемых на прошлое структур разума, такой переход, наконец, осуществился, однако в достаточно ограниченных формах. Сознание историков стало предметом почти исключительно лингвистического анализа, причём лишь в весьма немногочисленных работах вставал вопрос о влиянии языка на логику исторических концепций. Характерно, что теория исторического повествования породила и попытки приписать нарративные структуры уже не познающему сознанию историков, но сознанию субъектов истории, переживавших – и

¹ Так, М. Мандельбаум подчеркивал сложность исторических текстов и вариабельность моделей упорядочивания: «Я считаю, что в исторических текстах история никогда не является простым рассказом... История гораздо разнообразнее, чем обычно считают». Отсюда для Мандельбаума следовал, в частности, вывод о невозможности единого ответа на вопрос об объективности исторического знания. Со своей стороны, Ф. Ньюман полагал, что значение истории возникает не из серийного упорядочения событий, а из соотношения частей целого в описании события: «Историки часто объясняют действие, предлагая описание этого действия».

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 292.

³ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 293.

⁴ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 293.

творивших – историю в соответствии с формами нарратива. Повествование в таком случае оказывалось формой организации самого материала истории, а история рассматривалась как доступная пониманию в силу консубстанциональности субъекта и объекта исторического познания. Герменевтическое снятие эпистемологической проблематики для аналитической философии истории также оказалось более лёгким выходом, нежели отказ от лингвистической модели мышления, к которому могло привести эмпирическое исследование того, как думают историки. О причинах этого мы поговорим в Заключение¹.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 294.

Вместо заключения. От культуры к субъекту

Мы не знаем себя, мы, познающие,
не знаем самих себя: тому должны
быть веские причины.
Ф. Ницше

«Это – абсолютный идеализм! Вы – иезуит! Диалог с Вами невозможен», – с такими словами обратился однажды к автору коллегамедиевист. Такова крайняя из встречавшихся нам форма неприятия положенного в основу этой книги подхода к ментальности историков.

Что стоит за подобным неприятием, с которым, безусловно, сталкивался всякий, кто пытался усомниться в объективности научного разума? Почему проблематизация сознания исследователей способна вызвать столь эмоциональный протест? Среди многих объяснений самым распространенным является, по-видимому, страх. Восходящее к Ницше¹, это объяснение пользовалось особой популярностью в 1960-е гг. – годы дерзких посягательств на авторитет знания. Так, по словам А. Маслоу, нам свойственно «сопротивление познанию», причём сопротивление это тем сильнее, чем ближе предмет познания к ценностному ядру личности познающего². «Более других форм знания мы боимся знания самих себя, того знания, которое может изменить нашу самооценку», – утверждал он. В свою очередь Ролан Барт восклицал: «Разве стерпит пишуший, чтобы его письмо подвергли психоанализу?»³ Если видеть в знании форму власти, то профанация познавательной деятельности ставит под угрозу разрушения «властное ядро» личности ученого. В другой традиции мысли Д. Блур объяснял страх перед проблематизацией познающего субъекта тем фактом, что наука воспринимается как нечто сакральное, поскольку она есть образ общества, а именно общество имеет тенденцию быть сакральным, табуированным предметом. Такого рода объяснения, при всей их психологической достоверности и непосредственной убедительности, носят, пожалуй, слишком абстрактный характер. Их следует развивать, показав роль конкретных фигур мысли, которые делают изучение ментальности ученых не просто пугающим, но интеллектуально трудным предприятием.

По-видимому, интеллектуальная история может пролить свет на такие

¹ Ницше писал о страхе перед истиной как о психологической предпосылке науки: «Что означает вообще всякая наука, рассмотренная как симптом жизни? ... Не есть ли научность только страх и увертка от пессимизма? Тонкая самооборона против – истины? И, говоря морально, нечто вроде трусости и лживости? Говоря неморально, хитрость?». Неудивительно, что и «проблема самой науки», «сама наука, понятая как нечто, достойное вопроса», оказывалась у Ницше чем-то «страшным и опасным» (Ницше Ф. Рождение трагедии: Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 49).

² «Человек стремится к знанию – он любопытен, – но и боится его. И чем ближе знание к его личности, тем больше он его боится. Так что человеческое знание – своего рода диалектика любви и страха. Итак, познание включает защиту от самого себя». Maslow A. The Psychology of Science: A Reconnaissance. New York; London: Harper and Row, 1966. P. 16.

³ Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 138.

фигуры мысли, свойственные конкретным системам мировоззрения, в частности, социальным наукам. Нам предстоит сейчас проанализировать те черты парадигмы социальных наук, которые являются интеллектуальным препятствием для изучения субъекта исторического познания. Тем самым мы продолжим тему предыдущей главы и вернемся к вопросу о том, почему мышление историков оказалось столь трудной темой для критики исторического разума. В общем виде наш ответ на этот вопрос таков: потому, что страх перед субъективизмом неизменно порождает попытки «соскальзывания к монизму» даже там, где изначальная проблематика поставлена в рамках дуалистической модели. Именно такие колебания между дуализмом, позволяющим поставить проблему критики познающего сознания, и монизмом, позволяющим снять ее, перенеся вопрошание с познающего сознания на сознание субъектов социальной жизни, являются, на наш взгляд, неотъемлемой чертой парадигмы социальных наук¹.

«Парадигма социального» (она же – лингвистическая парадигма или идея разума–культуры), господствующая в науках о человеке

XX в., явилась теоретическим инструментом, легитимизирующим подобный «перенос вопрошания». Именно теория разума–культуры на протяжении десятилетий затрудняла проблематизацию сознания исследователей, направляя внимание критиков исторического разума с ментальности историков на ментальность субъектов истории, а затем, когда эмпирические исследования мышления историков всё же начались, задавала для этих исследований чрезвычайно узкую рамку почти исключительно лингвистического анализа. К характеристике лингвистической парадигмы мы сейчас и обратимся.

Мы уже затрагивали вопрос о том, как общество стало именем разума, говоря о совершившемся на грани веков отождествлении социального с природой человека. Однако истоки этого тезиса следует искать не только в политических и социальных теориях, о которых мы говорили в гл. 4, но и в эволюции теорий разума.

В середине XIX в. после распада гегелевской философии и кризиса трансцендентального идеализма в европейской мысли намечается тенденция к натурализации сознания. В то время как вульгарный материализм сводит мышление к физиологическим процессам в мозгу, в ряде наук, которые позднее станут социальными, утверждается господство натуралистической парадигмы, в значительной мере связанное с успехами естественных наук и стремлением сделать познание дел человеческих столь же научным, как познание природы². В этих условиях идеальный образ позитивной науки кажется привлекательным

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 297.

² Именно в это время распространяются теории рас как основанных на наследовании биологически предопределенных психических, моральных и интеллектуальных качеств (историки даже истоки классов находили в расах), а криминалистика покоится на идее наследственной биологической тяги к преступлению. Одновременно развиваются разного рода евгенические концепции, а рождающаяся социология стремится воспроизвести структуру биологии человека, говоря о социальной анатомии, физиологии, патологии, гигиене и пр. (Mucchielli L. La decouverte du social: Naissance de la sociologie en France (1870-1914). Paris: La Decouverte, 1998).

как в Англии и во Франции, так и в Германии. Естествоиспытатели и, в частности, врачи символизируют в глазах общества не только науку вообще, но и науки о человеке в частности. Именно от учёных ожидают излечения общественных недугов¹. Неудивительно и то, что рождающаяся в этот период экспериментальная психология несет отпечаток «стихийного материализма естествоиспытателей» с присущей ему теорией отражения, её доминирующей концепцией мышления оказывается тесно связанный с эмпиризмом ассоцианизм. Ассоцианисты представляли мышление как свободное сцепление ментальных образов, в первую очередь визуальных, отражающих вещи и положения вещей во внешнем мире. Языку при этом отводилась роль простого носителя мысли, способного более или менее адекватно передать её содержание².

Ассоцианизм был в целом довольно оптимистической теорией мышления и хорошо уживался с доминирующим тогда в политической экономии (напомним, наиболее развитой из социальных наук, аппарат которой оказывал колоссальное влияние на образ общества в целом) представлением об атомарном, ответственном и рациональном субъекте. Связь мышления с мозгом, отрывая разум от сферы трансцендентного, превращала его в свойство индивида. Убеждение в естественной способности людей адекватно воспринимать мир и рационально действовать в нём лежало в основе подобной модели. Понимание перцепции как вполне физиологического процесса отражения позволяло надеяться и на лёгкое разрешение проблемы референции³: ментальные образы в мозгу отсылали к предметам внешнего мира в силу своего сходства с ними, что служило гарантом способности разума адекватно познавать мир.

Именно в борьбе против базовых установок натуралистической парадигмы сложилась «парадигма социального», иначе говоря – идея разума-культуры. Возникновение социальных наук в конце XIX в. вписывается, таким образом, в неоидеалистическую реакцию на натуралистические тенденции мысли середины столетия. Понятие социального формируется на скрещении двух логик – логики поиска промежуточного уровня между атомарными индивидами и государством, о которой мы говорили в гл. 4, и логики отрыва сознания от индивидуального организма и рассмотрения его как коллективного феномена. Именно сознание рассматривается теперь в качестве той промежуточной инстанции, которую не удавалось найти теоретикам общества. Для того чтобы помыслить социальные институты как превосходящие индивида, надо было помыслить индивида как несводимого к физическому лицу. Сознание как главное свойство человеческого в человеке оказывается такой новой коллективностью, которая неразложима на индивидов, ибо разумный индивид не мыслим вне общества. Вместе с тем социальные

¹ Не случайны навязчивые медицинские метафоры в социологических текстах (например, у Дюркгейма), равно как и тот факт, что среди первых социологов и антропологов немало врачей.

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 298.

³ Референция, референции, ж. [фр. référence]. 1. отношение языкового знака к чему-либо вне себя, к реальной или воображаемой действительности. 2. Рекомендация, отзыв о ком-, чем-н. (офиц., спец.). 3. Справка, ссылка, отношение.

институты приобретают при этом тот же статус внеположенного индивиду, но проникающего в него бытия, что и сознание. Общество, таким образом, сводимо к сознанию, оно не существует вне сознания индивидов, но само это сознание является социальным фактом.

Мы здесь только упомянем некоторые интеллектуальные и социально-психологические факторы, определившие такую эволюцию концепций разума в конце прошлого века¹. Важную роль в отказе от натуралистической парадигмы сыграло открытие новых глубин сознания, а именно, подсознания в разных его видах, будь то классовый интерес, воля к власти или подавленные желания. В результате работ Маркса, Ницше и Фрейда произошло грехопадение разума, который перестал казаться инструментом, самой природой предназначенным для объективного познания. Но поскольку заблуждения оказались укорененными в сознании гораздо прочнее, как бы составляя его неотъемлемую часть, именно в сознании казалось естественным усмотреть и главное препятствие на пути к совершенному обществу. Сознание, следовательно, должно было стать предметом науки, претендующей на излечение общества. Наука об обществе едва ли могла найти для себя иной, более значительный – и вместе с тем более благородный – предмет. Именно в качестве наук о сознании социальные науки наследуют интеллектуальные и социальные функции, как религии, так и философии. Поэтому их рождение следует рассматривать, прежде всего, в контексте религиозной и философской эволюции конца прошлого века².

Дехристианизация второй половины столетия со всей остротой поставила проблему общественной морали, в то время как свойственное натуралистической парадигме объяснение социальных бед биологическими недостатками части людей, их природным несовершенством шло вразрез с политической эволюцией европейского общества к демократии и потребностью в социальной политике светского характера. К концу столетия выявилась ограниченность либеральной политики, опирающейся на образ атомарного множества индивидов, а новая радикальная и социалистическая политика, ставившая в центр внимания социальный вопрос, требовала уже другого видения общества. Сторонники новой политики должны были показать, каков предлагаемый ими путь к совершенному обществу, иными словами, объяснить свой способ борьбы за общественную мораль. Они должны были указать источник социальной сплоченности и убедить общество в возможности избежать конфронтации непримиримых интересов, новой войны всех против всех. Логический атомизм натуралистической парадигмы и классической политической экономии, при всей его важности для европейской мысли XIX в., в этих условиях с неизбежностью должен был быть ограничен³. Идея социального происхождения разума стала легитимизацией социальной

¹ Подробнее о них см.: Ханаева Д. Р. Время космополитизма: Очерки интеллектуальной истории (в печати).

² Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 299.

³ Лишь несколько позднее в новых условиях, когда над индивидуальными свободами нависла угроза со стороны тоталитарных режимов, логический атомизм снова на некоторое время стал важнейшим интеллектуальным оружием демократических сил.

политики, целью которой было исправление общественной морали, а тем самым и общества¹.

Особую роль в формировании и возвышении социальных наук сыграло и связанное со становлением радикальной политики возникновение среднего класса и в особенности социальной группы его идеологов – интеллектуалов, среди которых исследователи в области социальных наук постепенно заняли центральное место, оттеснив на задний план «коллективного воображаемого» предшествующие фигуры-символы духовных пастырей общества – священника, поэта или естествоиспытателя². Для профессиональных представителей разума та или иная концепция сознания была своего рода символическим капиталом, важнейшим элементом группового самосознания. Для них речь шла не просто о легитимизации политики «среднего пути» между либерализмом и марксизмом, но и об обосновании роли культуры (и её носителей) в обществе. Пожалуй, особенно заметен этот процесс был в Германии, где стремительная модернизация поставила под вопрос былые привилегии «образованной буржуазии» и привела к культурному пессимизму и «кризису мандарината». Между позитивизмом и натурализмом, с одной стороны, и современным кризисом культуры, с другой, проводились устойчивые связи. Освободить разум от материи означало заявить о ценности культуры и высокой социальной функции её слугителей.

За всем этим стоял культурный и политический проект XX в., проект светского демократического общества, порождение интеллектуалов и среднего класса. Главной идеологической санкцией этого проекта выступали социальные науки³. Именно поэтому новая концепция разума, положенная в основу социальных наук, должна была обосновать способность человека добывать истинное знание. Новая идеология нуждалась в идее истины не меньше, чем религиозный спиритуализм, обычно связывавшийся с более консервативной политикой, или чем теория отражения, теория разума-перцепции, на которой основывалась как либеральная, так и революционная политика. Иными словами, в условиях кризиса религиозного сознания и рождения современной демократии проблема объективности познания вновь с неизбежностью

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 300.

² Bénichou P. Le sacre de l'écrivain: 1750 – 1830: Essais sur l'avènement d'un pouvoir spirituelle laïque dans la France modern. Paris : Corti, 1973. О формировании концепции интеллектуала и социальной группы интеллектуалов во Франции см.: Charles C. Naissance des «intellectuelle» 1880–1900. Paris: Minui, 1990. По-видимому, образ исследователя в области социальных наук лишь в 1950-е гг. окончательно оттесняет образ поэта в качестве парадигматического образа интеллектуала. Во Франции знаковым событием в этом смысле был стремительный упадок популярности Сартра и столь же стремительный рост известности Леви-Стросса (Dosse F. Histoire du structuralisme. Paris: La Decouvert, 1991), но начало этого перехода относится к грани веков и символически отмечено фигурой Дюркгейма.

³ Характерно, что многие основоположники социальных наук были тесно связаны с той политикой, которая на грани веков являлась предвосхищением современной демократической политики левого толка. Дюркгейм выступал виднейшим идеологом радикальной партии, многие его ученики проявляли склонность к социализму. Структурным аналогом этой позиции в Германии могут считаться левые либералы. Их идейными лидерами была группа реформаторов-университариев (в том числе Макс Вебер), которые с очевидным интересом относились к попыткам политических решений социального вопроса и были близки к Фридриху Науману. Но в неокантианстве (особенно марбургском) имелись и более радикальные политические тенденции. И даже наиболее правые из числа основателей социальных наук, баденские неокантианцы, были все же всего лишь либералами.

оказывалась центральной. Более того, одной из причин отказа, как от трансцендентального идеализма, так и от натуралистической парадигмы был неуспех этих интеллектуальных течений в деле обоснования объективности познания¹.

Как известно, этот неуспех привёл к разочарованию в дуалистической модели. Казалось, что конфликт между опытом и разумом мог быть решен только при условии преодоления дуализма. Именно этим путем пошёл в свое время Гегель. Несмотря на распад гегелевской философии, её урок не был забыт. Ведущие философские течения начала XX в. в поисках ответа на вопрос о достоверности наших знаний пытаются в той или иной форме повторить гегелевский демарш, и даже ставя проблему познания в кантовских терминах, отвечают на неё, соскальзывая от дуалистической к монистической модели². Идея сопричастности познающего и познаваемого к единой природе получает смысл, прежде всего в контексте эпистемологической проблематики, а отнюдь не в контексте наук об обществе. Эти последние потому и приобретают особое значение для философии, что на их примере казалось естественнее продемонстрировать новую модель познающей самое себя субстанции, к которой теперь склоняется европейская мысль. Без социальных наук, показывающих сопричастность познаваемого и познающего одной природе, было едва ли возможно обосновать новую теорию познания, которая должна была отказаться от дуализма, хотя по происхождению сама была неразрывно связана с дуалистической проблематикой объективности познания. Именно в рамках этого движения получает свое завершение проект социальных наук. Интеллектуальная модель, положенная в их основу, неизбежно была поэтому внутренне противоречивой.

Концепция разума–культуры в полной мере воплощает указанное противоречие, которое отчасти и объясняет трудность изучения в рамках социальных наук интеллектуального аппарата исследователей. Представление о социальном или культурном характере мышления, как мы видели, связано со стремлением обосновать объективность разума, который выступает как познающая самое себя субстанция, что делает бессмысленным вопрос о структурах познающего сознания и направляет наше внимание от сознания исследователей к сознанию субъектов исторического процесса.

Именно в этом контексте, на наш взгляд, следует интерпретировать и лингвистический поворот в историографии. Его часто отождествляют с постмодернистским вызовом, что, однако, несколько искажает перспективу анализа, отвлекая внимание от того факта, что лингвистический поворот есть, прежде всего, *reductio ad absurdum* проекта социальных наук, их логическое завершение, сопровождающееся обнаружением их внутренних противоречий, следовательно, их самоотрицание. Дело в том, что редукция сознания к языку оказалась наиболее последовательным, и поэтому неотвратимым, решением

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 301.

² Неокантианство интерпретирует опыт как конструкт разума, утверждая достоверность познания с помощью идеи о том, что разум познает свое собственное произведение. Феноменология стремится найти такой уровень опыта, который не будет внеположен сознанию и сможет стать основанием абсолютно достоверной науки.

проблемы механики мышления, которое допускала концепция разума-культуры. Язык был идеальным претендентом на роль субстрата мышления, понимаемого как социальный факт: средство коммуникации *par excellence*, преодолевающий индивида социальный институт, он снимает дуализм благодаря двойственности своего существования, внешнего и материального, с одной стороны, внутреннего и психического, с другой. **Отождествление мышления с языком было логическим пределом теории разума-культуры.**

Рассмотрим вкратце основные течения мысли, в которых проявились различные аспекты лингвистической парадигмы. Согласно Brentano и Husserl, значение ментальной репрезентации создается особым актом сознания (означивающей интенцией)¹. Из этого следует, что ментальные образы участвуют в мышлении только в качестве символов, чувственная форма которых безразлична для их значения. Ссылаясь на Husserl (но, опираясь на независимые от него интеллектуальные источники), вюрцбургская школа в психологии попыталась доказать, что **мышление не сводимо к ментальным образам, но состоит именно в установках сознания, которые позволяют схватывать логические отношения.** В ходе знаменитого спора о «мышлении без образов» вюрцбургская школа столкнулась с ассоцианизмом. С другой стороны, возникновение и развитие символической логики и логического позитивизма способствовало пониманию мышления как символической операции: в противовес ассоциациям ментальных образов пропозиции символической логики могли претендовать на роль субстрата мышления. Таким образом, сложилось отрицающее ассоцианизм представление о самой механике мышления.

Именно в это интеллектуальное движение вписывается и рождение семиологии². Принцип произвольности лингвистического знака являлся альтернативой представлению о мышлении как о сцеплении «подобий» вещей внешнего мира, в то время как взгляд на язык как на систему отношений ставил под сомнение постулат произвольности ассоциаций образов (в том числе и звуковых образов слов). Наконец, из **условного характера лингвистического знака можно было сделать вывод о зависимости индивидуального сознания от социальных отношений, поскольку «психологическая индивидуальность» не имеет других средств выражения (и, в конечном счете, мышления), кроме тех, которые созданы конвенцией в рамках лингвистического сообщества.**

Конечно, логический позитивизм и семиология имели дело с различными уровнями реальности: первый интересовался формами, приписываемыми правильному мышлению, и, захваченный мечтой об идеальном философском языке, видел в реальных языках только препятствие для правильного мышления, тогда как семиология изучала реальные коммуникативные системы. Однако вместе эти два течения давали не лишённую логики картину некой гомогенной среды символических операций.

Почти одновременно с названными интеллектуальными течениями ассоцианизм был атакован бихевиористской психологией. Именно эта атака

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 303.

² Saussure F. de. Cours de linguistique générale. Lausanne : Payot, 1916.

оказалась решающей, поскольку ассоцианизм потерпел поражение на территории метода. Бихевиористы стремились сделать психологию точной наукой о поведении, рассматриваемом как реакция на стимулы, происходящие из внешнего мира. Эта гипотеза позволяла им избегать объяснения поведения ментальными явлениями, в том числе и образами, знание которых оказывалось возможным только благодаря интроспекции, более чем подозрительной как научный метод. Точно так же, как и гипотеза особой среды знаков, этот подход вел в конечном итоге к радикальному преодолению дуализма, что и было осуществлено Джилбертом Райлом, который объявил самую гипотезу сознания не только бесполезной, но и логически несостоятельной¹. Можно было бы предположить, что подобная позиция в равной степени опасна для всякой концепции сознания, будь то ассоцианистская модель или модель, представляющая мышление как символическую операцию. Но на самом деле опасность для двух моделей была совершенно различной: ментальные образы в той интерпретации, которую давал им ассоцианизм, предполагали дуализм как кадр анализа, равно как и понятие субъективного сознания, тогда как идея символических операций была скорее совместима с преодолевающей индивида средой знаков, нежели с субстанцией субъективного сознания. Благодаря двойственности своего существования, внутреннего и внешнего одновременно, среда знаков позволяла преодолеть оппозицию мира и субъекта, не принося в жертву мышление, на условии, конечно, сведения его к символической операции. Недостающее звено было доставлено бихевиористской лингвистикой, которая стала рассматривать мышление как интериоризированное языковое поведение. В этой теории социальная критика разума достигает апогея: мышление оказывается ничем иным, как интериоризированным социальным процессом, подчиняющимся законам социальной коммуникации. Впрочем, и другие течения лингвистики межвоенного периода отражают ту же линию рассуждений: акцент структурной лингвистики на фонологии² свидетельствует о склонности к «материализации» и «десубъективизации» языка, тогда как Э. Сэпир и Б. Л. Уорф настаивают на основополагающей роли языка для структурирования мышления.

Очевидно, что эти столь разные школы мысли не могут быть рассмотрены как элементы целостной научной теории. Скорее, на них повлиял общий интеллектуальный климат. С этой точки зрения показательно, что даже такое удалённое от предыдущих течение, как герменевтика (в особенности радикальная герменевтика Хайдеггера и философия культуры М. М. Бахтина), было отмечено той же тенденцией: принятый ею путь погружения субъекта в мир пролегал, прежде всего, через погружение субъекта в языковую среду³.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 304.

² Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М.: Аспект Пресс, 2000.

³ Вопреки обычному мнению, связывающему акцент на роли языка с мыслью позднего Хайдеггера и его учеников, прежде всего Г.-Г. Гадамера. Идея лингвистической и социальной природы мышления с особой яркостью сформулирована в ранних работах М. М. Бахтина: «Сознание слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива» (Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929. С. 20).

Впрочем, осознание вездесущности языка вовсе не было наваждением одних только философов и лингвистов. Литература модернизма также уже более не рассматривает язык как средство описания «предсуществующей» реальности: для неё он представляет скорее особую среду, которая, следуя своей собственной природе, создает особую реальность. Одновременно в общественном сознании распространяется мысль о капитальной роли языка для идеологий и социально-политических конфликтов. Некоторые даже возлагают на несовершенство языка ответственность за социальное зло. Коротко говоря, во всех областях интеллектуальной жизни осознается новая плотность языка, которая больше не позволяет рассматривать его как простого переносчика мыслей ответственных рациональных субъектов. Скорее, он сам становится субстанцией, которая преодолевает дихотомию субъекта и мира, единственной субстанцией, вне которой не остается ничего.

С точки зрения концепций сознания XX в. кажется разрезанным надвое когнитивной революцией 1950-х гг., которая отвергла бихевиоризм и возродила ментализм – вплоть до гипотезы врождённого характера разума, противостоящей тезису о его социальном происхождении. Но, отвергнув бихевиоризм, неоментализм второй половины XX в. испытал влияние общих с ним интеллектуальных источников, точнее, тех течений мысли, которые наряду с бихевиоризмом атаковали в начале века ассоционистскую модель сознания. Идея компьютерного разума, вдохновляющая когнитивную революцию, основывается на гипотезе особого уровня символических операций, которая в известном смысле скорее совместима с бихевиоризмом, чем с классическим ментализмом¹.

К 1950-м гг. интеллектуальный пафос бихевиоризма, вынужденного отрицать сознание, чтобы сделать его познаваемым, отчасти устаревает: уподобление мышления языку уже настолько общепринято, что постулировать даже врождённый разум не означает более постулировать субъекта. Неоментализм оказывается особой формой дуализма, преодолевающей дихотомию субъекта и объекта, с которой не сумела совладать позитивистская наука, для которой по-настоящему неприемлемым тезисом является субъективность сознания².

Когнитивизм представляется несомненной аналогией «постмодернистскому вызову». В этих параллельных, но совершенно различных традициях мысли науки о сознании пришли во второй половине XX

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 306.

² Конечно, неоментализм не отождествляет мышление с языком. На уровне центральных процессов мышление представляется как оперирование с символами иного типа, нежели символы языка, допущенные только на уровень локальных процессов сознания. Однако когнитивистский подход к языку отмечен двойственностью: «инкапсулированный» в одном из модулей локальных процессов, но понимаемый как символическая система раг ехсеЧепсе, язык более, чем любая другая человеческая способность, сопрячен природе мышления благодаря исключительному месту, которое он занимает в системе обработки и коммуникации информации, которая рассматривается как сущность мышления. Происходящее из односторонней концепции, как языка, так и мышления, рассматриваемых исключительно в терминах теории информации, это сближение языка и мышления проявляется у когнитивистов в навязчивых лингвистических метафорах, к которым постоянно прибегают для описания «языка мысли», так что отчасти вопреки собственному желанию когнитивизм несет печать врожденной лингвистичности. Подробнее см. Введение.

в. к созданию таких систем, в которых разум подобен замкнутой вселенной символов, а проблемы референциальной семантики, ради разрешения которых в значительной степени и были созданы социальные науки, остаются нерешенными. Однако складывается впечатление, что, дойдя до крайних пределов своего логического развития, идея разума-культуры исчерпала свой потенциал. Вероятно, отчасти с этим и можно связать переживаемый сегодня социальными науками кризис¹.

Мы наблюдали этот кризис на примере социальной истории. Выход из него нам видится в отказе от идеи разума-культуры и в систематическом изучении того, как и почему историки пишут историю. Если прошлое мы изучаем не ради него, а ради настоящего, ради самих себя, то включение историка в историю есть, вероятно, более естественный путь самопознания, нежели сохранение верности «коду трансцендентности» и конструирование истории *sub specie aeternitatis*. И, во всяком случае, это – более интеллектуально честный путь, а интеллектуальной честности нам не хватает сегодня никак не меньше, чем во времена Ницше. «Самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта», история едва ли вскоре исчезнет из наших умственных обычаев. Поэтому задача историка сегодня состоит в том, чтобы понять, как история создается и функционирует в настоящем. Иными словами, историк, организующее начало истории, есть вместе с тем и её подлинный предмет. Не означает ли это новое «соскальзывание к монизму»? Скорее, речь идет о том, чтобы в полной мере оценить способность субъекта превратить самого себя в объект анализа, иными словами – о признании трансцендентности имманентным свойством сознания. Вместе с тем идея субъекта представляется естественной логической альтернативой по отношению к идее культуры - равно как и по отношению к любой другой версии представления о надындивидуальном характере мышления. В рамках теории разума-культуры идея субъекта по сути дела является избыточной: язык (или же культура) "мыслит и говорит" (как сказал поэт) "через" субъекта и за него. Напротив, гипотеза о множественности форм мышления, лишь частично переводимых друг в друга, гипотеза, положенная в основу этой работы, с неизбежностью предполагает идею субъекта, поскольку только субъект может служить "принципом единства" различных форм мышления. Именно поэтому, перефразируя Бенедетто Кроче, мы говорим: обратимся же с полной уверенностью к субъекту, который есть начало всех начал.

¹ Копосов Н. Е. Как думают историки. С. 307.